

Зарубежная

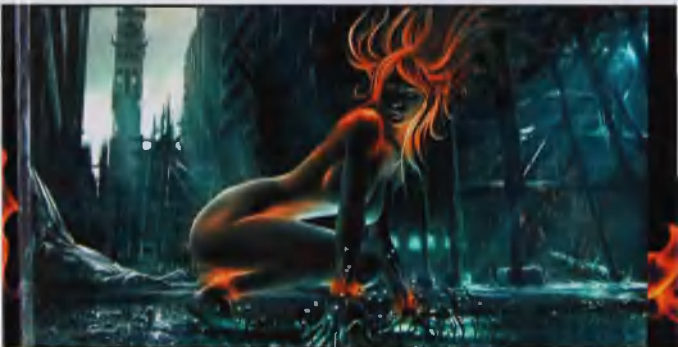


фантастика

Олаф Стэплдон

Пламя

Сборник повестей и рассказов
с предисловием Сэма Москoviца



В переводах Льва Самуйлова



W.O.S.

Зарубежная



фантастика

Олаф Стэплдон

Пламя

Перевод Льва Самуйлова

Иллюстрации Алексея Филиппова



Лейпциг, «Жемчужина», 2015

УДК 1 14
ББК 87 2
С 88

На стр. 2 автограф образца 1946 года

Стэполдон, Олаф

С 88 **Пламя:** Повесть и рассказы. Перевод с английского Л.Самуйлова. – Лейпциг, «Жемчужина», 2015. 360 стр. – (SF/Зарубежная фантастика).

В книге 495 368 знаков

Сэм Московиц

Олаф Стэплдон: жизнь и творчество

Когда умирает автор, достигший определенной степени величия, и следует подвести какой-то итог его творческой деятельности, значимость его достижений всегда увеличивается, если удастся показать, что все те годы, на протяжении которых он старался заработать репутацию, критики не признавали его достоинств. Никому из тех, кто видел тщательно организованные альбомы для наклеивания газетных вырезок, сохранившиеся в доме по Милл-Хей-лейн в Саймонз-Филд (деревушка Калди, Западный Кёрби, полуостров Виррал, Англия), где прошли последние годы жизни Олафа Стэплдона, такая мысль даже не приходила в голову. В этих альбомах — буквально сотни рецензий из практически всех СМИ англоязычного мира, выходящих с критическими обзорами книг и газетных публикаций. Большинство отзывов относятся к ранним работам Стэплдона: «Последним и первым людям», «Странному Джону», «Создателю звезд»; многие из рецензий — необычайной длины, зачастую написанные критиками, чьи имена и сейчас еще на слуху и вызывают уважение.

Богатые поэтическими образами, глубоко философские труды Стэплдона затрагивают социологические и политические проблемы; поражающие ум концепции ниспадают с их страниц бурным каскадом. Они постоянно бросают вызов рассудку среднестатистического читателя. Тем не менее критики и обозреватели (быть может, не веря своим глазам), прочитывали их от начала до конца, основательно осмысливали и оставались от них под неизгладимым впечатлением. Одно ревью за другим воздают должное завораживающему, рисующему вселенские картины воображению автора, значительности его философского подхода, пониманию им общества и умению смешивать все это воедино в работах, которые являются примерами научно-фантастических опусов. Некоторые рецензенты называют его гением — и не случайно. Неблагоприятные отзывы встречаются редко. Если признание критиков действительно является неоспоримым знаком литературного успеха, то можно считать, что Стэплдон быстро достиг вершин оного.

Похоже, именно из-за этих рецензий Олаф Стэплдон решил стать писателем на постоянной, если можно так выразиться, основе и начиная с 1932 года жить в основном за счет дохода от фамильного наследства. Выручки от опубликованных работ ему никогда не хватало для оплаты даже минимальных потребностей, но, очевидно, он полагал, что нашел свое призвание, и что преимущества этой карьеры переешивают недостатки.

С началом Второй мировой войны дефицит бумаги сократил число изданий работ Стэплдона и отвлек общественное внимание от того типа книг, которые он

писал. В 1939 году были опубликованы два его труда: выпущенное двумя томами издательством «Пеликан» произведение под названием «Философия и жизнь: новая надежда для Британии», дополненное уже после написания данной работы предисловием, в котором автор признавался, что некоторые его мысли уже нашли подтверждение в текущих событиях; и «Святые и революционеры», вышедшие в серии «I believe» («Я полагаю») издательского дома «Уильям Хайнеманн». В последующие годы войны были опубликованы: «По ту сторону доктрин» (мягкая обложка, изд-во «Сёрчлайт», 1942); «Тьма и свет» (1942), чем-то напоминающая «Первых и последних людей», но написанная в минорной тональности, и «Сириус» (1942), возможно, самый вдохновенный роман Стэплдона. Роман «Из смерти в жизнь», выпущенный в свет в 1946 году, вне сомнения, также был написан в военные годы.

Результатом этих изданий с лимитированным тиражом (ни одно из которых не было издано до окончания войны вне Англии — если вообще было) стал тот факт, что они практически не обсуждались широкими массами (и потому быстро устарели); к тому же, вследствие резко уменьшившегося спроса на литературу научного содержания, количество и длина критических рецензий на нее также заметно сократились, да и сами рецензии сделались значительно менее качественными. Что, однако же, не помешало некоторым критикам признать великолепие «Сириуса», лучшего из произведений, написанных Стэплдоном в военное время.

Тем не менее репутация Стэплдона в Англии продолжала расти, и масштабность его ума и воображения бы-

ла широко признана. После его смерти тот философский мир, который представлял собой сущность его жизни, и с газетами которого он часто сотрудничал, быстро начал его забывать. Фактически, я не обнаружил ни одного значительного труда по истории философии, написанного в Англии после Второй мировой войны, в котором приводился хотя бы минимальный объем сведений о его персоне.

С другой стороны, его влияние на мир научной фантастики было глубоким и способным продолжаться бесконечно. Концепция галактических империй нашла отражение в работах Э.Э. Смита, А.Э. Ван Вогта, Айзека Азимова и даже в телевизионных сценариях «Звездного пути», происходящих непосредственно от «Последних и первых людей». Иностранная симбиотическая жизнь, искусственные изменения человеческой формы, экология, перенаселенность, долголетие, история будущих цивилизаций, рассказ истории других миров скорее с философской, нежели с поведенческой позиции — это лишь немногие из основных тематических «взносов» Стэплдона в научную фантастику как современной ему эпохи, так и последующих.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда, 23 марта 1949 года, он вылетел в США на организованную коммунистами Научно-культурную конференцию за мир во всем мире, нашлось немало любителей научной фантастики, вроде меня, пожелавших услышать его. В обществе людей, для которых само понятие времени определенно являлось чем-то, как я его квалифицировал, «презренным», он почти ничего не сказал на конференции, судя по всему, использованной для при-

дания этому сборищу некой нотки респектабельности. За непродолжительный период пребывания в этой стране Стэплдон исхитрился выбраться на один из вечеров в клуб «Гидра», где обычно собирались профессиональные научные фантасты, но не смог принять приглашение на собрание Восточной ассоциации научной фантастики.

В следующее десятилетие Стэплдону уделялось довольно-таки мало внимания, если не считать выхода сборника «До скончания веков» (1953) под редакцией Бэзила Дэвенпорта — объемистого однотомника в 400 000 слов, включающего пять основных работ: «Последние и первые люди», «Создатель звезд», «Странный Джон», «Сириус» и «Пламя», притом что вторая, четвертая и последняя издавались в Соединенных Штатах впервые. Однако вследствие невероятного изобилия научной фантастики, вышедшей в том году, книге так и не удалось вызвать новый прилив интереса к Стэплдону.

Здесь мы вынуждены сделать паузу, дабы отметить такой специфичный (и возможно, удивительный) факт: помимо рецензий книги, всего о Стэплдоне за все это время было написано менее дюжины статей, которые, при соответствующем полете воображения, можно было бы назвать значительными. С момента его смерти прошло уже около десяти лет, когда наконец появился первый обстоятельный критический анализ — мой собственный: «Олаф Стэплдон: космический философ». Работая над этим исследованием, я остро ощутил, что мне требуется гораздо больше информации о нем, чем наличествует во вторичных источниках. Любому авто-

ру, делающему основной упор на философию и гуманность, творчество Стэплдона предстало бы в наиболее ярком свете, будучи рассмотренным в контексте его биографических данных и типа личности.

В апреле 1976 года я нанес визит его жене Агнес, а также Вольфгангу Брюку, человеку, многие годы жившему в доме Стэплдона практически в качестве его приемного сына. Их воспоминания о писателе, наряду с информацией, почерпнутой мной из других источников, помогли мне составить более полную картину жизни, семьи, личности и мотиваций Олафа Стэплдона и придать более релевантный смысл всему тому, что описывалось в его работах.

Семья имеет самую благородную и изысканную генеалогию, корни которой уходят в начало четырнадцатого столетия (тогда их фамилия произносилась как «Стэпельдон»). Эти сведения были обнаружены в епископском журнале записей диоцеза Эксестер, в частности в «Регистре Уолтера де Стэпельдона, епископа Эксестерского», составленном его преподобием Ф.К. Хинджстоном Рэндольфом, магистром искусств Оксфордского университета, пастором Рингморской церкви и Пребендарием Эксестерским (книга была выпущена в 1892 году лондонским издательским домом «Джордж Белл и сыновья»). В предисловии Рэндольф информирует нас о том, что «... епископ Стэпельдон являлся одним из выдающихся государственных мужей его времени, советником короля Эдуарда II». Среди услуг, которые он оказал королю, фигурировала некая особая дипломатическая миссия во Францию. Полагают, что Эксестерский колледж, изначально называв-

шийся «Стэпельдон Холл», был так наименован в память о епископе. Книга Рэндольфа также содержит список всех подписчиков и количество полученных ими копий. Среди подписчиков значится некто Уильям Стэплдон Лэйкенхэм, Ландо-Холл, близ Байдфорда (две копии). Всеобъемлющая таблица-схема фамильного древа Стэплдонов хранится у Агнес Стэплдон.

Уильям Олаф Стэплдон родился 10 мая 1886 года в Уоласси (ныне Мерсисайд), графство Чешир, Англия. Это не очень далеко от Ливерпуля. Его отцом был Уильям Клибетт Стэплдон, матерью — Эмилиин Миллер Стэплдон; дед являлся основателем компании «Уильям Стэплдон и сыновья» — агентства с офисами в Порт-Саиде и Суэце, которое снабжало водой и углем корабли, проходящие через Суэцкий канал. Работа отца Олафа как раз таки и состояла в том, чтобы у судов не возникало проблем с прохождением через Канал. «Альфред Холт энд Ко», ливерпульские владельцы «Блю Фаннел Лайн», крайне впечатленные его опытом и компетентностью в морских вопросах, предложили ему высокую административную должность в головном офисе этой фирмы.

Первые шесть лет своей жизни Олаф Стэплдон провел в Порт-Саиде, несмотря на то что его мать вернулась в Англию для родов, которые оказались крайне тяжелыми. Как следствие, Олаф рос довольно-таки одиноким ребенком. Его ближайшим другом был Рип, терьер с всколоченной шерстью, которого он так никогда и не забыл, и чье литературное эхо, несомненно, звучит в некоторых животных из книг Стэплдона.

Он очень хорошо ладил с отцом, который оказался прекрасным воспитателем и располагал великолепной библиотекой классической литературы. Многие тома из нее перешли затем к Олафу и по сей день находятся во владении Агнес Стэплдон. Не столь хорошо Олаф ладил с матерью, которая, будучи невероятной собственницей, чрезвычайно опасалась за его здоровье, хотя по природе своей была женщиной доброй и приветливой. Как и ее супруг, она также имела литературные предпочтения; ее кумиром был Джон Рёскин, с которым она вела интенсивную переписку.

Рёскин — через мать Стэплдона — похоже, был одним из тех, кто оказал наибольшее влияние на подростковую жизнь Олафа. Рёскин, сын состоятельных родителей, очень рано заявил о себе как о выдающемся поэте и в конечном счете стал одним из ведущих теоретиков искусства и социальных критиков девятнадцатого века. Он значительно опережал свое время, поддерживая национальное образование, осуждая промышленность за растрачивание природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, борясь за пенсии по старости и выступая за приведение в порядок самого процесса труда. Он пропагандировал возврат к более простой, менее искусственной жизни, и этот аспект его философии вызывал искреннее почитание. Эмилиин Стэплдон настолько доверяла мнению Рёскина, что когда тот заявил: «Старые ремесла ни в коем случае не следует забывать», тут же обзавелась прялкой. Ее кузины разделяли это исступление и нередко совершали паломничества в расположенный близ озера Конистон-Уотер Брентвуд, где проживал Рёскин. Труды Рёскина всегда

находились под рукой и постоянно обсуждались в доме, так что отстаивание Олафом прав рабочих и его энтузиазм к социализму в целом вполне объяснимы.

Тогда как Эмилин насыщала сына общественными науками, Уильям делал упор на зачатки наук естественных. Мальчик впитывал и одни, и другие ровно в той мере, чтобы создать то исключительное сочетание философии, социологии и науки, баланс которых понимает его работы до их уровня величия.

Агностицизм Олафа также происходит от его родителей. Его отец, судя по всему, не состоял ни в какой секте, так что любое прямое религиозное влияние могло исходить разве что от его матери. Она была унитарием. Унитариянство — это движение в протестантизме, которое отвергает Троицу и божественную природу Иисуса Христа и исповедует — как и евреи — веру в единого Бога. Унитарии, однако же, принимают учения Иисуса, придавая особое значение его морали и нравственности. Они подчеркивают важность характера и известны своей толерантностью к другим религиям.

В свои зрелые годы Стэплдон отрицал, что является христианином, несмотря на усиливающуюся в его работах, начиная с 1940 года, склонность к мистицизму в глубоко укоренившемся чувстве религиозности. В «Открытии глаз» он стоит на позициях «человека, неверующего в Бога» вследствие отчаяния, вызванного невозможностью найти какие-либо окончательные ответы через приобретаемые людьми знания. Более того, похоже, он открыто присоединяется к мнению о том, что где-то существует более высокая сфера мирской жизни:

Таким образом, уже самому научному нраву приходится полагать, что запутанная вселенная существующей в настоящее время науки является всего лишь одной из областей более обширной и неизвестной вселенной. И потому вы вынуждены снова со всей серьезностью отнестись к мысли о том, что этот временной и пространственный мир есть всего лишь преддверие некоего другого мира. Мы, которые некогда ... отвергли все нелепые слухи о ненаблюдаемой реальности, похоже, должны теперь внимательно прислушаться к тем, кто заявляют о доступе к этой сфере, уверяя нас, что всем душам предстоит пройти через нее.

Начальное образование (шесть классов) Олаф Стэплдон получал в Эбботсхолме, передовой школе-интернате, расположенной в Уттоксетере, графство Дербшир. Основателем школы был доктор Сесил Редди, который полагал, что некоторых молодых людей следует обучать лидерству и ответственности. Олаф учился там очень хорошо, но одной из вещей, которые наиболее отчетливо отложились в его памяти, стал первый личный опыт помывки овец.

Из Эбботсхолма он проследовал в оксфордский Байольский колледж, где обзавелся степенью бакалавра, а затем и магистра истории, завершив обучение незадолго до Первой мировой войны (уже после войны он защитит диссертацию по философии в Ливерпульском университете). В Оксфорде он учился средне. Именно в этот период он достиг своего полного физического развития: рост его равнялся пяти футам, восьми дюймам (172 см), вес — 140 фунтам (63,5 кг), причем данные ве-

совые показатели практически не менялись до конца жизни. Будучи мускулистым парнем, в колледже он входил в состав гребной распашной «восьмерки».

Соглашаясь полагать «Разделенного человека» автобиографическим романом, мы можем заключить, что как раз таки в Оксфорде Стэплдон и приобрел свой первый любовный опыт. В этой книге говорится о том, что главный герой, Виктор, умом понимает, что его сексуальная стыдливость — штука неправильная, но в эмоциональном плане он связан ей по рукам и ногам. Виктор рассказывает о своих мимолетных школьных связях с двумя женщинами, одна из которых старше него. Оглядываясь на эти связи с перспективы возраста, он полагает (со всей убежденностью), что Фрейд ошибался, и что, возможно, в условиях викторианского общества они имели гораздо бо льшую ценность, чем он готов тогда был это признать. Виктор находит этот опыт приносящим физическое удовлетворение, но во всем прочем стерильным, и решает не продолжать эти отношения.

Вышеизложенное является прелюдией к заявлению, что в романах Стэплдона много дискуссий о сексе и сексуальных нравах. Сегодня, когда читатели уже привыкли принимать самый непристойный материал, не моргнув глазом, легко можно упустить из виду тот факт, что для того времени слог и формация всех его работ были необычайно откровенными и прямыми. Сексуальные привычки выдуманных им цивилизаций описаны столь же полно, как и их, этих цивилизаций, наука, искусство и философия. В «Странном Джоне» очень явно выражен инцест. Сюжет «Сириуса» возвраща-

ется вокруг сексуальных отношений между женщиной и собакой, наделенной человеческим разумом. В «Последних людях в Лондоне» встречается одалживание жены. Когда персонажи Стэплдона описывают свое сексуальное образование, встает обоснованный вопрос: сколь многое из описываемого основано на собственном опыте автора? Если оставить в стороне фрейдистский анализ, то секс в художественной прозе Стэплдона скорее прибавляет, нежели отнимает, придавая иную размерность живости и яркости его лучшим произведениям.

После того как Олаф покинул Оксфорд, его отец добыл для него работу в ливерпульском офисе «Блю Фаннел Лайн», где недавний студент без особого энтузиазма выполнял различные мелкие административные обязанности. Отец надеялся, что Олаф хорошо себя проявит и со временем унаследует его собственную превосходную, хорошо оплачиваемую должность. Олафу нравились корабли, но не та конторская работа, которая шла в одной с ними связке. Как-то раз он не смог отчитаться за 20 фунтов расхода, что, возможно, и стало причиной его последующего увольнения.

Вслед за этим он согласился на должность учителя в одной из средних школ Манчестера. Его излюбленной обучающей методикой была подача исторических событий в виде игр, в которых участвует весь класс. Шум, стоявший на таких уроках, действовал на нервы другим преподавателям, поэтому спустя год из школы Олафу пришлось уйти. Затем, какое-то непродолжительное время, он работал на компанию «Уильям Стэплдон и сыновья» в Порт-Саиде — подплывал к судам на мотор-

ной лодке до или после прохода ими канала, чтобы узнать, не нуждаются ли они в угле. (Контролируемая одним из кузенов Олафа, фирма сохранила свой бизнес, даже когда Египет закрыл канал после войны 1967 года с Израилем) Семья Олафа — особенно его мать — хотела, чтобы он находился поближе к дому, и потому родными его работа в Порт-Саиде отнюдь не поощрялась. Обрадовались они, и когда Олафу не досталось место (весьма им желанное) в Уэльском университете.

Еще работая на «Блю Фаннел Лайн» и в манчестерской школе, Стэплдон по вечерам читал в предместьях Ливерпуля лекции по литературе, психологии и индустриальной истории для членов Образовательной ассоциации рабочих. В ходе этих лекций зачастую делался упор на левые взгляды, так как к тому времени он уже с головой погрузился в социалистическую философию. Вероятнее всего, подобные взгляды встретили критику со стороны работодателей Стэплдона: в «Разделенном человеке» его персонаж Виктор сталкивается с продолжительными и серьезными проблемами подобного рода и аргументированно рассказывает о них своему влиятельному отцу. Вполне вероятно, что главной трудностью Олафа Стэплдона в получении постоянной академической должности были именно его политические убеждения. Это подтверждалось на протяжении всей его жизни. Он нередко вел вечерние курсы повышения квалификации, но никогда не получал штатной работы.

Он логически обосновывает это в «Разделенном человеке», называя себя лишь «второсортным преподавателем», и то же самое делает в «Последних людях в Лондоне», где должность для него «добывает» влия-

тельный отец — как будто человек с его суммарными знаниями и способностью писать, говорить и систематизировать свои мысли в чем-то уступает большинству штатных профессоров.

Несмотря на то, что он состоял в социалистических группах и предоставлял кое-какие статьи для изданиях в левых газетах, ранние литературные устремления Стэплдона были поэтичными. Его первая книга, называвшаяся «Новые псалмы», была опубликована в 1914 году ливерпульским издательским домом «Генри Янг и сыновья». Полагают, что издание оплатил отец Олафа; он был постоянным клиентом Янга, владевшего в Ливерпуле книжным магазином. Опять же: предположительно, было напечатано 500 экземпляров, большинство из которых, как считается, были утеряны, когда магазин и небольшая типография Янга сгорели в результате немецкой бомбежки во время Первой мировой войны.

В этой редкой книге белых стихов отчетливо чувствуются нотки атеизма, социальной революции и бедственного положения рабочего класса. Присутствуют в ней и две антивоенные поэмы, возможно, свидетельствуя о том, что книга была издана уже после начала войны, и наверняка указывая на то, что пацифизм Стэплдона не проистекал (как предполагалось) из его собственного военного опыта, приобретенного позднее. Мы находим здесь также материал, поразительно схожий с темой его последней работы, «Открытия глаз». В первом стихотворении «Новых псалмов», которое называется «Город», Стэплдон говорит: «Я поехал в город посмотреть, есть ли там Бог». Он видит растерянных, обе-

зумевших от горя людей, среди которых встречаются и совершенно истощенные, осознающие возможность своей гибели. «Мужчины и женщины казались отвратительными, так как забыли любовь». Он продолжает: «И сказал я гордо: «Если Бог действительно существует, мне такой Бог не нужен. Я пойду своим путем и буду поступать так, как велит мне душа». Затем, уже в следующем стихотворении, под названием «Дух», он видит дрожащие огни города, красоту небес, слышит «приглушенный шум голосов, звучащий, словно музыка». Некий дух внутри него якобы говорит, что Бог есть. «Но я посмотрел вверх, над городом, и безутешно промолвил: «Наверно, ты есть лишь тот Бог, что живет в моем сердце. И ты управляешь звездами».

«Открытие глаз», изданное сорок лет спустя, показывает Стэплдона ломающим голову над той же дилеммой.

Быть может, в этом и заключается изысканная утонченность ада — когда тебя постоянно преследует призрак Бога, в существование которого ты не веришь?

Нет! Потому что есть еще более страшный ад, полный не лишений, но нынешнего ужаса. Сам вакуум — это и есть ад, неприятное и бессловесное присутствие абсолютного небытия, полнейшего ничто. Оно окружает нас со всех сторон. Вползает нам в душу. Облизывает, расшатывает, растворяет самые прочные ткани души...

Я решаюсь после долгого копания в самом себе — долгого, но тщетного, так как ты, моя божественная галлюцинация, умолкаешь в моем сердце. Так что

в конечном счете я делаю выбор, просто пожимаю плечами.

Он, этот выбор, невелик: либо я мчусь вперед в мнимости твоего существования и совершаю поступок уже более значительный, чреватый уже гораздо более серьезными и тяжелыми последствиями; либо я выбираю свободу, отбрасываю мою иллюзию о тебе и, крадучись, возвращаюсь в свою берлогу, безопасную, но одинокую...

А вернуться — значит предать одну только иллюзию.

И однако же я даю полный вперед. [Но лишь «в мнимости твоего существования»]

Поэзия как творчество интересовала Стэплдона на протяжении всей его жизни, хотя, похоже, с годами все меньше и меньше. Поэзию можно обнаружить во всех его работах, и она сильно их облагораживает. Написанные Стэплдоном стихотворения появлялись в целом ряде изданий, включая «Поэзию», «Журнал стихов», «Комментарий и критика». Редактором этого британского журнала (последнего из приведенных выше), выпускавшегося с 1917 по 1930, был другой мастер научной фантастики, С. Фаулер Райт. (Уже сам факт знакомства Стэплдона с Райтом наводит на мысль, что эти двое интересовались научно-фантастическим творчеством друг друга.) Райт включал стихотворения Стэплдона в две из своих антологий: «Поэты Мерсисайда» (1923) и «Голоса ветра» (1924). Множество неопубликованных стихов Стэплдона также сохранилось.

16 июля 1919 года Олаф Стэплдон женился на Агнес Зине Миллер, своей двоюродной сестре из Австралии.

Церемония бракосочетания проходила в Доме «Общества Друзей» квакерского поселения в Рейгейте (графство Суррей). Агнес, родившаяся в Новой Зеландии 25 мая 1894 года, была старшей из четырех детей Фрэнка Эдварда и Маргарет Барнард Миллер. Фрэнк был братом матери Олафа, Маргарет — дочерью Чарльза Барнарда, директора квакерской школы в Йоркшире. Оба родителя являлись британскими эмигрантами.

Фрэнк Миллер работал на «Бут энд Ко.», сиднейскую фирму, экспортировавшую из Австралии в Англию шкуры животных. По делам фирмы ему приходилось бывать в Англии каждые несколько лет, а жена и семья, как правило, сопровождали его во время этих визитов. Агнес совершила четыре подобных поездки; третью из них — в 1902 году, когда её было всего восемь лет. Тогда-то она и познакомилась с Олафом, шестнадцатилетним на тот момент юношей. В ту их встречу он запомнился ей главным образом своей поразительной добротой. Несмотря на тот факт, что разница в возрасте оставляла им мало общего, он приложил все усилия для того, чтобы пребывание в чужой стране оказалось для нее приятным, и проводил с ней массу времени, знакомя с окрестностями и повсюду ее сопровождая. В следующий раз она посетила Англию уже в четырнадцатилетнем возрасте и нашла Олафа таким же внимательным и заботливым, как и предыдущий визит.

Незадолго до Первой мировой войны семья послала ее в Европу для изучения французского и немецкого языков и обучения музыке. Эти предметы считались в то время подходящими для образования молодой женщины, но Агнес впоследствии сожалела, что не прошла

более серьезный курс теоретической подготовке где-нибудь вроде Сиднейского университета. Она находилась во Франции, когда разразилась война, вследствие чего сочла благоразумным незамедлительно вернуться в Австралию в компании новозеландской кузины. Будучи в Европе, она имела возможность — на сей раз уже как юная леди семнадцати и восемнадцати лет соответственно — несколько раз видеться с Олафа. Как нетрудно догадаться, теперь уже его внимание из благосклонного сделалось несколько иным.

О помолвке и собственно свадьбе договорились посредством переписки — с гармоничного согласия всех заинтересованных лиц. После свадьбы молодожены начали было жить с родителями Стэйплдона, у которых в Калди имелся просторный и красивый дом, но снова дал о себе знать собственнический инстинкт матери Олафа, и они перебрались в расположенное неподалеку съемное жилище. Отец Олафа разрешил эту проблему, купив им дом в Западном Кёрби — номер седьмой по Гросвенор-авеню, в котором супруги жили с 1920 по 1940 год.

Олаф согласился на несколько продолжительных лекционных туров для Образовательной ассоциации рабочих, остававшейся основным источником дохода, в связи с чем ему пришлось изрядно поколесить по близлежащим городам и поселкам. 31 мая 1920 года родилась девочка, Мэри Сидни Стэйплдон; 6 ноября 1923 года на свет появился мальчик, Джон Дэвид Стэйплдон. Как и ожидалось, Олаф оказался чудесным отцом. С ним было легко всем; покладистый и уживчивый, он всегда был готов помочь детям с задачками, а позднее

— и научными работами. Обладая очень ловкими руками и живо интересуясь всем, что имело отношение к морскому делу, он пристрастился к судомоделированию, причем убеждал себя, что изготавливает модели кораблей исключительно для того, чтобы порадовать детишек. Он был быстрый едок и мог проглотить пищу не разжевывая, отставить в сторону тарелку и начать собирать эти модели судов прямо за столом, пока все еще кушают. Все были счастливы, и никому не было скучно. Пользу из этого морского мастерства извлекали даже соседские дети.

В 1920-е годы он прочитал сотни лекций по психологии и индустриальной истории, провел множество курсов повышения квалификации, начал писать статьи по социологии, психологии и философии для целого ряда газет. Серьезных книг на его полках становилось все больше, и он принялся составлять свои собственные философские теории. К концу 1928 года он так поднапорел в этом, что решил бросить вызов одному из ведущих философов того времени, Альфреду Норту Уайтхеду, на тот момент профессору Гарвардского университета.

В своем эссе «Расположение физических предметов» Стэплдон предложил интерпретацию, а затем — опровержение одной из теорий Уайтхеда.

... Профессор Уайтхед утверждает, что природа есть то, что мы ощущаем посредством чувственного восприятия. Все, что любой из нас ощущает посредством чувственного восприятия, заключается в физической природе — так или иначе. И хотя из нашего чувственного восприятия мы можем сделать вывод о

невосприимчивых и даже о невоспринимаемых чертах природы, эти черты должны всегда быть из того же материала, как и те, которые мы воспринимаем. О том, что находится «за завесой восприятия», мы ничего не знаем. Фактически, относиться к нашему ощущаемому полю как к завесе, скрывающей нечто иное, нежели саму себя, - все равно, что выдвинуть нереальную проблему.

Представив свои комментарии, Стэплдон заявил, что труды Уайтхеда, возможно, «были скорее содержательными, нежели ясными и последовательными». В этой статье он и сам допустил ту же ошибку. Помимо трудности следования за нитью собственных аргументов Стэплдона, иногда почти невозможно определить, что он приписывает Уайтхеду, а что — себе, или даже понять, с чем именно из позиции Уайтхеда он согласен, а с чем — готов поспорить. Похоже, Стэплдон хочет сказать, что всё есть не то, чем кажется, что даже самые определенные предметы могут оказаться субъектом иллюзии. Предмет, к примеру, может не быть твердым только потому, что сопротивляется давлению. Он может не быть круглым потому, что он круглый лишь по нашим ощущениям. Он не находится в определенном месте, потому что физическая «улика», как нам кажется, определяет его туда. Он делает вывод:

Событие, если понимать его как всего лишь положение или объем в пространственно-временной системе, локализуется просто. Но такая локальность в высшей степени абстрактна. Если иметь в виду фактор в реально существующей активности, каковая и есть природа, имеющий продолжительность,

привносящий во вселенную совокупность неких характеристик и сохраняющий их, то такое событие локализовать непросто. Его локальность и форма – лишь отвлеченное понятие, абстракция.

«Журнал философских исследований» был хорошим форумом, так как с ним сотрудничали такие всемирно известные личности, как Джулиан Хаксли, Бертран Рассел и Гарольд Ласки. Тем не менее Олафу Стэплдону не было предначертано проводить много времени в спорах с другими философами. Вскоре после выхода следующей книги, «Современной теории этики» («Метуэн», 1929), которая была выпущена очень маленьким тиражом и осталась практически незамеченной, он нашел новую область выражения. Ею оказалась беллетристика. Результатом стали «Последние и первые люди», изданные «Метуэн» 23 октября 1930 года. «Джонатан Кейп энд Харрисон Смит, инкорпорейтед», вероятно, уже предвкушая собственный скорый выход американского издания, приобрели *ad interim*, в том же 1930 году, право перепечатки книги. Американское издание появилось на прилавках книжных магазинов 23 марта 1931 года; оно содержит краткое вступительное слово автора, не обнаруженное в британском издании. Здесь Стэплдон признает: «Я представлял себе триумф более грубой формы американизма над всем тем, что является лучшим и многообещающим в американской культуре. Пусть же этого никогда не произойдет в реальном мире!» Фирма «Кейп энд Смит» была известна качеством своих авторов, будучи одними из первых издателей Уильяма Фолкнера и имея в своих списках такие имена, как Д.Г. Лоуренс, Роберт Грейвс, Зигмунд Фрейд и Ив-

лин Во, и их книги всегда привлекали пристальное внимание.

В Англии роман продавался лучше, чем в Соединенных Штатах (пережил четыре тиража), но отзывы некоторых из наиболее значительных литературных критиков США были самыми что ни на есть восторженными. Можно со всей определенностью утверждать, что именно рецензии на «Последних и первых людей» определили будущее направление жизни Стэплдона. Ему предстояло стать настоящим писателем, проводящим за письменным столом большую часть дня, и лишь по совместительству лектором. К счастью, ему не нужно было думать о том, как бы заработать этим, писательским, трудом побольше денег - средства к существованию у него имелись.

Как родился сюжет «Последних и первых людей»? В одном из последних интервью Стэплдон сказал: «Общий план пришел мне в голову совершенно внезапно, когда я наблюдал за тюленями с клифов Энглсеи. Впоследствии я просто выведал у моих друзей-ученых всю информацию, какая мне была нужна, и устроился поудобнее, чтобы написать историю с точки зрения человека, живущего в отдаленном будущем». Этими друзьями, естественно, были профессора Ливерпульского университета.

Несмотря на то, что у меня нет причин сомневаться: идея написания книги родилась именно так, как и сказал Стэплдон, формат изложения, полагаю, все же был выбран под влиянием других источников. Я хотел бы предложить несколько названий, которые по предмету

изложения и доступности вполне могли угодить в эту категорию.

Самая ранняя из этих книг — «Эврика» Эдгара Аллана По (1848). Этот научный, философский и мистический труд зачастую игнорируют как безумную аберрацию окончательного падения По в пьянство, полусумасшествие и смерть. Чтение его требует огромной концентрации, но если вам сосредоточиться, то вы получите массу удовольствия. Стэплдону, привычному к опе-нению и скуке большинства философских работ, должно было хватить терпения прочитать его внимательно.

Концепция По заключается в том, что вся вселенная есть Бог, и каждое живое существо — часть Его. Если сразу тут и нет большого центрального тела, вокруг которого вращается наша вселенная, то в конечном счете такое появится, так как произойдет стягивание в вереницы центральных тел. По полагает, что вселенная имела центральное происхождение, и что было много «больших взрывов» и много вселенных. Жизнь, намекает он, существует во многих мирах, присутствие которых мы можем не заметить, даже если только что побывали в них. Но самое важное состоит в следующем: По поддерживает мысль о том, что когда вселенная сожмется, все различные существа в миллиардах миров постепенно утратят свое чувство самосознания и достигнут всеобщего сознания в космическом разуме. Именно это, конечно, станет впоследствии основной темой «Создателя звезд» и повторится (да и уже повторялось) во многих произведениях Стэплдона, как художественных, так и документальных.

Двумя более поздними романами возможного влияния являются «Дом в порубежье» Уильяма Хоупа Ходжсона (1908; переиздан в 1921) и «Амфибии» С. Фаулера Райта (1924; в 1929 расширен в «Нижний мир»). Первый постулирует *разумное* центральное солнце во вселенной, состоящей из обладающих чувствительностью космических предметов. Второй воскрешает в памяти гуманоидных созданий, которые, эволюционировав, возвысились над человеком ровно настолько, насколько он сам возвышается над обезьянами. О том, что Райт и Стэплдон были знакомы, здесь уже говорилось.

Возможно, даже большее влияние, чем любой из приведенных выше романов, на Стэплдона оказало сочинение Д.Б.С. Холдейна «Последнее суждение: взгляд ученого на будущее человека», вошедшее в книгу «Возможные миры и другие эссе» (1927), но не включенное в американское издание данной книги. В этой работе детально (правда, в крайне сжатой, почти конспективной форме) описывается хронологическая история следующих сорока миллионов лет. Столь много концепций и характерных черт из этого эссе так или иначе нашли отражение в «Последних и первых людях», что мне представляется обоснованным подробное его описание.

Спустя сорок миллионов лет дети на Венере слушают по радио передачу об истории человечества. Рассказ начинается с создания планет благодаря прохождению очень близко от нашего солнца какой-то другой звезды. Эволюция на Земле производит человека. Появляется цивилизация. Человек сжигает все ископаемое топливо и вынужден вырабатывать энергию за счет воды, ветров

и солнца. Изобретена синтетическая пища. Средняя продолжительность жизни возрастает до 3 000 лет, численность населения увеличивается. Основным источником энергии становится приливная электростанция. Части планет искусственно подогреваются, континенты приобретают новый вид, культура достигает пика развития. В результате элиминации естественного отбора, человеческая эволюция прекращается.

В конечном счете цивилизация начинает стагнировать, поэтому к 8 000 000 году многоступенчатые ракеты долетают до Луны. За счет лучевого давления солнца теперь можно плавать под большими металлическими парусами в космосе. К году 10 000 000 удастся добраться до Марса, но его обитатели уничтожают экспедиции. Спустя еще полмиллиона лет зафиксирована первая успешная высадка на Венеру.

С приближением к 18 000 000 году вращение Земли замедляется, дни и ночи теперь длительностью в целый месяц. Ледниковый покров раньше таял, но теперь начинают образовываться новые глетчеры. Холод убивает на планете почти все живое, кроме человека. Начинаются эксперименты по адаптации человеческого тела к существованию на Венере, и в конце концов развивается новый вид, способный жить в условиях в десять раз меньшего, по сравнению с Землей, содержания кислорода. Вся венерианская жизнь систематически уничтожается, начинается перестройка планеты с целью создания на ней пригодных для жизни новых людей условий. Этот новый человеческий вид обладает гораздо более высокими, нежели прежний, умственными способностями и развивает два новых чувства, одно из ко-

торых позволят каждому индивиду поддерживать телепатический контакт к любым другим, создавая общий мозг и сознание, которое не может быть заблокировано индивидов. Другое чувство позволяет индивиду получать (по выбору) послания, содержащие искусство, музыку, литературу и философию.

Эта эволюция происходит столь быстро, что прилетевшие на Венеру с последней экспедицией не могут успешно конкурировать с измененными людьми. Создается совершенно новый вид. К году 36 000 000 гравитационные срезающие силы раздробляют Луну, и ее фрагменты образуют кольцо вокруг Земли, напоминающее кольцо Сатурна. Генерируемая жара столь сильна, что люди вынуждены отступить в каверны, находящиеся под поверхностью планеты. После того как кольцо стабилизируется, Земля снова заселяется.

В конечном счете звучит предложение обосноваться на планете Юпитер, и начинают выводить коренастых, искусственно задержанных в росте людей огромной физической силы. Если все пройдет удачно, будут предприняты попытки колонизировать внешние планеты. Уже предсказано, что в ближайшие 250 000 000 лет солнечная система войдет в ту область космоса, где наблюдается гораздо бо льшая плотность звезд, и можно будет попытаться заселить необитаемые планеты уже там, пусть тогда и понадобятся путешествия длиной в 100 000 лет. Прогноз заканчивается так: «А есть ведь и другие галактики».

В эпилоге Холдейн заявляет, что человек должен работать не только ради индивидуального счастья, но и во благо сообщество и, в расширительном смысле, всего

человеческого рода; он должен планировать в космическом масштабе, на миллионы лет вперед. Несмотря на всю масштабность представленной в эссе картины, полный текст «Последнего суждения» — это всего-навсего 7 000 слов.

Холдейн к тому времени уже был знаменитым ученым, внесшим и продолжавшим вносить большой вклад в развитие науки генетики. Широкой публике он был даже еще больше известен как имеющий склонность к полемике популяризатор науки, не скрывавший своих левых убеждений. Склонность к научной фантастике не оставляла его никогда. «Последние и первые люди» ему понравились. «Где вы прятались все это время?» - написал он автору. Позднее, в 1958 году, он послал полное восторженной похвалы письмо Фреду Хойлу, чей роман «Черное облако» восхитил Холдейна, помимо всего прочего, реалистичным описанием жизни ученых и концепцией разумных облаков.

Убежденный в том, что он действительно нашел свое истинное призвание, Олаф Стэплдон начал уменьшать количество читаемых лекций и проводимых по вечерам специальных занятий, чтобы иметь больше времени для писательской работы. Это означало, что он почти всегда будет дома и под еще большим контролем. К счастью для жены, он всегда оставался максимально доброжелательным, уравновешенным, крайне редко повышал голос и, с виду, проявлял интерес решительно ко всему, относилось это к его работе или же нет. Гостям в доме всегда были рады, и потому отношение к ним было исключительно учтивое и обходительное. Олаф обладал талантом распознавать их личные трево-

ги и охотно помогал всем чем только мог. Он был внимателен не только к родным, но буквально к каждому встречному.

Агнес Стэплдон имела множество собственных интересов, в число которых входили община, школы и различная местная деятельность. Она находила мужа всегда готовым выслушать подробности всех этих проблем, серьезно оценить их степень и предложить решения. Это неизбежно приводило к высочайшей степени любезной взаимности с ее стороны. Олаф нередко использовал ее как звукоотражатель для своих идей, а ее содействие в конечной проверке рукописей помогало придать им их безупречную ясность. Часть этого предполагала проверку орфографии, которая, по словам Агнес, не относилась к сильным сторонам ее мужа. После его смерти именно ей пришлось переписывать черновики «Открытия глаз» с их не всегда поддающимися расшифровке аббревиатурами и заниматься прочими деталями, предваряющими публикацию.

Большим подспорьем в их отношениях было прекрасное чувство юмора Олафа. Он обожал добродушные шутки и вступал в дух веселья при первой же возможности. Со здоровьем у него никогда не случалось проблем, что, безусловно, способствовало его спокойному, ровному настроению. При всей его беззаботной небрежности он, тем не менее, был крайне систематичен практически во всем что делал — о чем, к примеру, свидетельствует абсолютная законченность его альбомов для вырезок. Вот уж кого бы я точно не назвал рассеянным профессором!

Доказательство его самозабвенной любви к детям по-прежнему находится в этом доме. Втиснутый в стену книг, многие из которых Олаф унаследовал от отца, вот он — небольшой томик, озаглавленный «Стихи для Мэри и Дэвида». Это собственные (и очень хорошо написанные) рифмованные стишки Олафа для его детей, написанные от руки и проиллюстрированные им же в цвете. Добрую половину своей жизни Стэплдон подилетантски занимался живописью. Одно время он даже посещал некую лондонскую художественную школу. Один результат этих посещений все еще висит в доме Стэплдона — нарисованная им картина, которую я бы обозначил как: «Кукурузное поле во время жатвы». Она показывает хорошее восприятие цвета и стиль, пролегающий между реализмом и импрессионизмом. Некоторые читатели будут удивлены, но он сам нарисовал обложку к английскому изданию своей книги «Странный Джон». Оригинал выполнен карандашом в розовых, синих и черных тонах и как визуализация, иначе говоря — мысленное представление, главного персонажа романа просто поразителен!

Каталог имеющихся в доме книг, судя по всему, был составлен для того, чтобы можно было определить: что из всего этого он мог когда-либо читать. Книги присутствуют практически в каждой комнате: его жена тоже была заядлым читателем, обладавшим собственным интеллектуальным любопытством. В глаза сразу же бросается огромное множество серьезных философских трудов. Беглый осмотр позволяет выявить еще и такие книги, как: «Питер Иббитсон» Джорджа Дю Морье, «Путешествие к Арктуру» Дэвида Линдсея, «Эревхон»

Сэмюэла Батлера, «Фиолетовое облако» М.Ф. Шила (издание 1929 года), «Мир Уильяма Клиссолда» Г.Д. Уэллса. (Стэплдон, между прочим, имел короткую переписку с Г.Д. Уэллсом, которая включала обсуждение научно-фантастических фильмов.) Эта библиотека не оставляет нам причин сомневаться в его утверждении, что он даже не помнит, читал ли какой-нибудь научно-фантастический журнал в период написания «Создателя звезд». Тем не менее Стэплдон признавал, что читал книги Верна, Уэллса и — кто-то, вероятно, скривится — Эдгара Райса Берроуза.

Большую часть личных документов Стэплдона (завещанных Ливерпульскому университету) его жена благоразумно решила придержать у себя до своей собственной смерти. «Какой смысл посещать дом Олафа Стэплдона, если в этом доме не будет его души и духа? — вопрошает она. — Люди, которые относятся с определенным уважением, любовью, чувством к его творчеству, возможно, получают мало удовлетворения от вида одних лишь материальных стен и мебели в его комнате. Но обнаружить его библиотеку, альбомы, дневники, бумаги на их прежних местах — это совсем другое. Остается реальная сущность человека».

Природа некоторых из серьезных работ, которые он читал, и которые по-прежнему находятся в его библиотеке, показана в библиографии его второй философской книги, «Пробуждающемся мире» («Метуэн», 1934). Они классифицированы под следующими заголовками: Сегодня, Цель-Мира, Человеческая Индивидуальность, Искусство, Наука, История, Философия и Религия. Особый интерес представляет то, что в спи-

сках упоминаются и «Возможные миры» Холдейна. Судя по предисловию к «Пробуждающемуся миру», Стэплдон смог принять критику и готов был кое-что переписать при необходимости, так как он дважды упоминает об отклоненной ранней версии книги и благодарит всех тех, кто помогали ему привести ее в допустимый вид: свою жену Агнес; Э.В. Рью, давнего друга и редактора из «Метуэна», и профессора Л.К. Мартин из Ливерпульского университета.

Этой же троице, а также Джеральде Хёрду, адресованы его слова благодарности в предисловии ко второму на сей раз уже художественному произведению Стэплдона, «Последним людям в Лондоне». (Хёрд впоследствии станет замечательным автором детективных и научно-фантастических романов.) Эта книга, изначально выпущенная издательством «Метуэн» 27 октября 1932 года, в 1934 году была переиздана и продавалась по более низкой цене: тиражи были маленькими, и книг вскоре стало не достать. Возможно, в какой-то мере на это повлиял и тот факт, что половина книги была посвящена истокам, ходу и последствиям Второй мировой войны, а также рассказывается британцем с британской точки зрения народу, который потерял в войне миллионы человек и утратил свою доминирующую позицию в мире.

Я говорю это потому, что, если судить по нынешним стандартам, «Последние люди в Лондоне» — в лучшем случае, скучная книга. Лишь затея с рассказом истории через наблюдение обитателя планеты Нептун, живущего в далеком — спустя два миллиарда лет — будущем, позволяет, хотя и с натяжкой, считать это роман науч-

но-фантастическим. Он, безусловно, стал глубоким разочарованием для тех, кто восхищались непараллельным масштабом «Последних и первых людей», а затем обнаруживали, что сосредоточены всего на нескольких годах человеческой истории. В первых и последних главах встречался кое-какой поразительный воображаемый материал о планете Нептун, но все то, что было втиснуто между ними, устарело прежде, чем книгу завезли в магазины.

Мы видим, что здесь автор впервые использует тот метод, который был единственной движущей силой в «Разделенном человеке». Придурковатый мужчина, всюду создающий путаницу; случающиеся у него редкие «озарения», которые ненадолго позволяют ему видеть людей чуть ли не насквозь, после чего он снова падает в свое обычное глупое поведение. Это дополняет способность главного героя проникать в чужие умы и вкратце видеть события с их точки зрения. Все это осуществляется через посредство последней человеческой расы планеты Нептун, которая исследует прошлое и воздействует на него. Их мотив — дать тем, с кем они контактируют, более ясную перспективу их мира, их самих и их потенциала. Однако, когда книга заканчивается, Стэплдон говорит нам, что эти последние люди и сами уже движутся к концу своей жизни, опускаясь в конечный период ментальной и физической дегенерации. То есть, получается, человек получал советы от существа, ни в чем его больше не превосходящего. Так зачем слушать рассказ о причинах, значениях и результатах Второй мировой войны из уст того, кто, возможно, знает об этом еще меньше, чем сами читатели?

Занятно, но «Последние люди в Лондоне», тем не менее, дают нам своего рода прелюдию к «Странному Джону» Стэплдона — в форме обладающего выдающимся умом парнишки Хампти, который, теоретизируя, заявляет, что он — первый из высшей, если не совсем иной, расы людей. Он убежден, что может либо повести человеческую расу за собой, либо уничтожить ее и создать новый вид. Хампти, у которого гротескная внешность, умирает, так и не достигнув своей цели, но главный герой, Пол, чувствует, что он был мутантом, способным поднять человечество на новый уровень.

С учетом того, что это была скорее солянка из всякой всячины, нежели единообразное произведение, «Последние люди в Лондоне» получили более восторженный прием, чем заслуживали. Отзывы в основном поступали из Англии, так как в США книгу напечатали лишь спустя сорок лет. Тем не менее, одна из глав этой книги представляет значительный интерес уже хотя бы потому, что дает нам определенное понимание того, как Стэплдон жил те четыре года, которые он провел в квакерской Санитарной Службе Друзей. В предисловии Стэплдон сообщает: «Последняя часть главы о войне, хотя она и основана на некотором личном опыте, является чистым вымыслом». Действие, происходящее в этой главе, несомненно, по большей части является вымышленным, но подробное описание образования Службы, типа людей, в ней работавших, и общей природы этой работы, безусловно, подлинные.

Стэплдон говорит, что Служба была образована квакерами (которые по религии своей — пацифисты) как допустимая альтернатива воинской повинности. Кроме

них в эту Службу вошли все «прикидывавшиеся» пацифистами, а также мужчины, которые были признаны негодными к воинской службе, хотя и предпочти бы сражаться. Всеобъемлющее чувство вины некоторых из тех, что были частью этого подразделения, и двойственное отношение население, которое считало членов этого корпуса либо презренными трусами, либо людьми, делающими немало хорошего, описаны в книге полно и благожелательно.

Армия относилась к квакерской Санитарной Службе Друзей как к ненужному придатку, и членам службы на поле боя не доверяли. Они сопровождали раненых и делали все то, что вполне могли бы делать и за линией фронта. Бывало, случались долгие периоды бездействия, во время которых люди по собственному желанию вычищали и отполировывали амуницию до стандартов, которых никто от них и не ждал. Во время парочки крупных сражений, когда потери исчислялись сотнями человек, эффективность и неустанная работа Службы заслужили ворчливое одобрение от французского корпуса, к которому она была прикомандирована. Снаряжением санитарам служила офицерского типа униформа с большими красными крестами на рукавах, и хотя вставал этический вопрос, делает ли это их частью армии, они, как правило, все соблюдали определенную дисциплину, методологию и почести. Так как они не афишировали свой пацифизм и старались участвовать в военно-экономической деятельности в максимально дозволенных им пределах, дискриминации их практически не подвергали, хотя на протяжении всей войны и после нее многим в лицо высказывались серьезные

претензии и сомнения, сводившиеся всегда, в десятках его вариаций, к одному и тому же вопросу: «Тебе действительно убеждения не позволяют сражаться, или же ты просто трус?»

В 1932 году умер отец Олафа Стэплдона. Его мать ушла из жизни тремя годами позднее. Их единственным наследником был Олаф, который в память о родителях передал обществу в виде парка обширный участок лесонасаждений, располагавшийся неподалеку от его дома на Калдис-Хилл. Парк этот и сегодня известен как Стэплдон-Вуд. Я уже упоминал, что наследство оставалось для Стэплдона основным источником дохода до самого конца его жизни. Стэплдон сам честно говорит об этом:

... Я живу главным образом на дивиденды и другие добытые нечестным путем деньги, хотя и провозглашаю, что система, за счет которой я живу, должна уйти. Но жить должен, или буду, и я; как должна жить, или будет, и моя семья; и будет жить столь богато, сколь это нужно будет для их развития в личном плане. Не научившись зарабатывать достаточно честным тяжелым трудом (я, разумеется, трудился, но то был не такой труд, какой общество полагает подходящим для адекватного его вознаграждения), я, с надлежащей благодарностью, вынужден прибегнуть к дивидендам, ровно до тех пор, пока наша община не заберет себе в собственность средства производства и не предоставит мне какой-нибудь менее постыдный источник дохода.

В «Странном Джоне» («Метуэн», 1935) рассказывает о человеческой мутации, результат которой — вы-

дающиеся умственные способности и свои собственные стандарты нравственности. Эта книга может считаться первым романом Стэплдона. Количество и длина хвалебных на него рецензий (столь хвалебных, что для полного осмысления требуется более внимательный его осмотр) превысили даже те, которыми сопровождался выход «Первых и последних людей». «Странный Джон» показался публике более простым как в плане чтения, так и плане понимания, и потому быстро обеспечил публикацию американского издания («Даттон», 1936). Учитывая экономическую ситуацию того периода, оба издания можно считать успешными: рабочий человек в скромных условиях, вероятно, мог бы целый год жить на полученные Стэплдоном от издателей деньги. Книга долго пользовалась популярностью и стала наиболее часто переиздаваемым произведением автора. Она отчетливо показала, что Стэплдон — не просто обладающий воображением рассказчик, но и располагает потенциалом для превращения в первоклассного романиста еще и в плане стилистическом. К сожалению, он либо не распознал в себе этот талант, либо не пожелал его развивать.

Вслед за «Странным Джоном», в 1937 году, в издательстве «Метуэн» вышел «Создатель звезд». Это был настоящий триумф творческого воображения. Описав, в «Последних и первых людях», два миллиарда лет истории человеческой расы как всего-навсего одно небольшое событие, Стэплдон приступает к рассказу об истории всей вселенной. Хотя в США этот роман издали лишь спустя шестнадцать лет, он сразу же по выходе в свет был бурно приветствован по всему миру и провоз-

глашен поистине космическим литературным трудом, удостоившись невероятного количества длинных, эрудированных, понимающих и благодарных отзывов.

Именно в это время Стэплдон решил установить контакты с миром научно-фантастических журналов и писателей. Эрик Фрэнк Рассел, который, будучи членом Британского межпланетного общества, в 1935 году начал всячески содействовать развитию ракетостроения, как раз таки только что продал свой первый рассказ, «Сэг о Пеликане Уэсте», американскому журналу «Astounding Stories» («Поразительные истории»), в котором тот и был напечатан в феврале 1937 года. Рассел жил в Ливерпуле, которому Западный Кёрби приходился пригородом. Стэплдон послал письмо-запрос в общество (со временем он в него вступит), и письмо это было прочитано Расселом. Вскоре он нанес Стэплдону визит, не забыв захватить с собой несколько выпусков научно-фантастических журналов, ставших для Стэплдона настоящим открытием — *такое он видел впервые в жизни.*

Тем временем Рассел стал сотрудничать еще и с одним из первых *британских* научно-фантастических журналов, «Tales of Wonder» («Удивительные истории»), первый выпуск которого вышел в свет в июне 1937 года. Редактором этого журнала был Уолтер Джиллингс. Вполне возможно, именно через Рассела Джиллингс договорился об интервью со Стэплдоном, которое было опубликовано, вместе с рецензией на «Создателя звезд», в его фэнзине «Scientifiction». В этом интервью Стэплдон описан как «стройный, молодой (несмотря на его 51 год) мужчина, одетый в

спортивного покроя пиджак, серые фланелевые брюки и рубашку-апаш. С его густыми белокурыми волосами, разделенными с одной стороны на пробор, и свежими чертами лица, он выглядит лет на двадцать семь, и не днем старше». Стэплдон поделился с Джиллингсом своими впечатлениями от одолженных ему Расселом научно-фантастических журналов:

... я безмерно удивился, когда обнаружил, сколь много работы подобного рода уже проделано. На мой взгляд, данные рассказы сильно различаются по качеству. Некоторые научны лишь внешне, весьма поверхностно, тогда как другие содержат просто поразительные идеи, которые уже обсуждаются живо и страстно.

В целом, как мне показалось, ужасно грубым и, если можно так выразиться, «неотделанным», в них выглядит человеческий аспект, особенно любовные отношения. И, опять же, как по мне, так в большинстве из них слишком много всего намешано — в сравнении с теми моментами, где действительно видна работа творческого мышления.

В своем предисловии к «Создателю звезд» Стэплдон говорит: «Сейчас, когда Европе угрожает катастрофа гораздо более ужасная, чем события 1914 года, книга, подобная этой, может оказаться порицаемой как отвлечение от темы безотлагательной и крайне необходимой защиты цивилизации от современного варварства». Признавая, что кризис в «делах человеческих» действительно существует, он все равно причисляет себя к «некоторым из тех «интеллектуалов», которые заявляют, что не могут внести сколь-либо полезный вклад в

эту борьбу и потому им, дескать, лучше в нее не вмешиваться», чувствуя, что даже самая полезная его помощь не будет иметь прямого назначения.

Это не вполне понятно, принимая во внимание те ярко выраженные пацифистские наклонности, которые он демонстрирует тремя годами позднее:

... если та или иная нация будет атакована и захвачена другой нацией, я бы посоветовал оккупированной стране не защищаться, но встретить вторжение несопротивлением... Пускай чужая армия входит на их территорию — ни армия, ни военновоздушные силы не станут оказывать им сопротивления. Пускай они занимают органы власти — никто не станет им мешать, ни никто не станет и выполнять их указы. Многие из тех, кто откажутся подчиняться требованиям захватчиков, конечно, будут застрелены. Будет много насилия со стороны озлобленных «завоевателей». Но никто не может хладнокровно убить весь народ.

Стэплдон горько, наивно ошибался, что Гитлер и подтвердил истреблением шести миллионов евреев. Интересно было бы узнать, как относился в то время к евреям сам Стэплдон. Сейчас мы можем судить об этом разве что по тем мыслям, которые он выражал в своих книгах, а они кажутся вполне обычными. Вот, к примеру:

... к евреям относились с... уважением, к которому, однако же, примешивалось презрение... они сохраняли мнимость, если и не факт, расовой целостности. Они были изгоями, пусть необходимыми и влиятельными, но изгоями... Евреи сделали себя незаменимыми в фи-

нансовой организации мирового устройства, далеко опередив все прочие народы вследствие того, что лишь они одни сохранили скрытую почтительность к чистому рассудку... В них он назывался сатанинской хитростью, и сами они всегда оставались воплощениями сил зла... Таким образом, со временем евреи сколотили нечто вроде «корнера» интеллекта и принылись широко использовать его в своих собственных целях, так как за две тысячи лет гонений давным-давно превратились в неизменных сторонников трайбализма, подсознательно, а то и сознательно... Пусть и способные на некоторую критику тех практических средств, за счет которых достигается цель, они стали совершенно неспособными на критику главных целей, которые всецело занимали их народ на протяжении тысяч лет. В них интеллект сделался полностью подчиненным трайбализму. В этом заключается определенное оправдание для той вселенской ненависти и даже физического отвращения, с которыми к ним относились, так как лишь только они оказались не в состоянии один большой шаг вперед, от трайбализма к космополитизму, который у других народов уже не был чисто теоретическим.

В работах столь известных мастеров научной фантастики, как Жюль Верн, Г.Дж. Уэллс и М.Ф. Шил, произведения которых, с «невывезанным» из них расизмом, издавали даже еврейские фирмы, встречались и гораздо более нелюбезные суждения о евреях. Но что это меняло? В те времена это было таким же естественным, как дыхание, даже среди писателей, и мало кто об этом задумывался.

Но Олафу Стэплдону суждено было пережить необычайный момент истины. В 1939 году он какое-то время являлся штатным сотрудником Ливерпульского университета — заменял заболевшего преподавателя. Декан собрал у себя весь коллектив и объявил, что немцы размышляют над будущим евреев Австрии и Германии, и можно попытаться спасти шесть еврейских студентов из Вены. Несмотря на то, что им осталось всего несколько месяцев до выпускных экзаменов, некоторым из них уже объявили, что окончить университет им не позволят, и теперь они отчаянно пытаются спастись, выехав из страны. Имеются ли желающие приютить у себя этих студентов на несколько недель?

Стэплдон предложил свои услуги. Девушка-беженка из Вены, которая уже жила в семье профессора Сайми из Ливерпульского университета, как оказалась, дружила с одним из этих студентов, Вольфгангом Брюком: она предложила его кандидатуру. Вообще говоря, Брюк не был евреем по религии, но так евреями были его бабушка и дедушка, Венское высшее техническое училище проинформировало его о том, что закончить обучение ему не позволят. Родители Брюка родились евреями, но затем обратились в лютеранство. Его мать умерла, когда он был еще ребенком, но отец, инженер-строитель, был отправлен в концентрационный лагерь. (Чудом выжив, он остался в Австрии после войны).

Брюк появился в доме Стэплдона в марте 1939 года. Стэплдон тем временем подписал гарантийное обязательство, по условиям которого он соглашался взять Брюка под личную опеку. Хотя Брюк был несказанно рад тому, что ему удалось сбежать от нацистской тира-

нии, к его чувству облегчения все же примешивалось беспокойство за остальных членов семьи, которые по-прежнему находились во власти нацистов. Он поверхностно знал английский, который изучал в школе, ни и этих его знаний оказалось достаточно, чтобы он мог объясняться. Ему было двадцать четыре — невысокий юноша, скромный и застенчивый. С родными детьми Стэплдона он поладил с самого начала; Мэри, которой было восемнадцать, жила тогда с родителями, и Брюк описывал ее как умную, отзывчивую и очень женственную девушку. Пятнадцатилетний Джон обучался в школе-интернате. Когда он вернулся, Брюк нашел его не слишком разговорчивым, но приятным и добродушным парнем.

Брюк подтвердил все то, что я знал о Стэплдоне из других источников. «С ним можно было поговорить о чем угодно, - сказал он. — Так или иначе, он всегда казался заинтересованным и внимательным. Он обладал прекрасным чувством юмора — фактически, его глаза почти все время искрились озорными огоньками. Было неважно, желаешь ли ты обсудить с ним какую-нибудь интеллектуальную тему или просто обменяться шутками — он спокойно подстраивался к любой ситуации. Что до его отношений с семьей — и я сейчас излагаю лишь факты, забыв на минутку о нашей с ним дружбе, - то они были совершенно необыкновенными. С Агнес, его женой, они жили душа в душу: вместе гуляли, плавали, она проявляла большой интерес к его работе, а он — к ее. Его отношения с детьми были просто превосходными. Он говорил с ними как с взрослыми и рав-

ными, никогда не критиковал их. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил на них голос.

К Агнес Стэплдон я относился как к матери. Моя собственная умерла, когда я был еще совсем маленьким, и когда я только появился в доме Стэплдонов, чувствовал себя одиноким и немного растерянным. Но со мной с первого же дня обходились как с членом семьи, практически я стал приемным сыном.

Когда я приехал в Англию, Стэплдон строил новый дом — на Саймонз-Филд, в месте, которое сам же и выбрал. Дом располагался примерно в ста ярдах от ближайшей дороги, от которой к нему вели ухабистая тропинка и подъездная аллея. Окнами он выходил на океан и был окружен несколькими акрами земли. Бывало, я помогал ему раскапывать жесткую, целинную землю, и, должен признаться, эта работа приносила мне огромное удовольствие».

По британским стандартам этот дом был большим. В нем имелась просторная кухня и примыкающая к ней кладовая, почти столь же вместительная. Они должным образом оборудованы, правда, саму обстановку в них я не описал бы как современную. Чрезвычайно просторные столовая и гостиная (это смежные комнаты) выглядят весьма необычно из-за широких венецианских окон, которые занимают две боковые стены столовой и всю длину гостиной и выходят на море. Холл нижнего этажа тянется по всей длине дома. Как и к большинству нынешних частных владений, к дому пристроен гараж.

На втором этаже по всей длине дома бежит вереница спален. В некоторых из них имеются умывальники с горячей и холодной водопроводной водой. В одном из

концов дома, над столовой, располагается средних размеров комната, служившая Стэплдону рабочим помещением. Две ее стены заняты широкими венецианскими окнами, оставшиеся две — научной библиотекой, альбомами для наклеивания вырезок, дневниками, блокнотами, досье и рукописями — всё по-прежнему на месте. Здесь же, на одной из стен, висит цветной портрет Стэплдона; еще один расположился в холле, рядом с дверью. По словам Брюка, Стэплдон работал в этой комнате каждое утро.

Брюк утверждает, что Стэплдон, в отличие от других писателей, которые используют окружающих в качестве отражателей для своих идей, редко заговаривал с ним во время работы. «Казалось, он занимается обособленным делом, которое никак не должно быть связано к делам общественным или семейным», — сказал он.

Стэплдон ходил в кино, с удовольствием посещал концерты и балеты, очень любил театр. После трапезы он мог иногда выкурить сигарету, но заядлым курильщиком, похоже, не был.

Он верил в регулярную физическую активность. Ему нравилось ходить пешком и плавать в море, иногда занимался альпинизмом и теннисом. Когда Брюк только приехал, они с Олафом играли в теннис практически ежедневно, и тот любил в шутку заметить, что эти игры нравятся ему в частности потому, что Брюк — единственный противник, которого он может обыграть. Игры эти прекратились, когда Англия вступила в войну; так, судя по всему, был символический отказ Стэплдона

от любых фривольных развлечений, который он соблюдал до окончательного поражения нацистов.

Несмотря на то, что он исповедовал довольно-таки наивный вид пацифизма (и даже после того, как к власти пришел Гитлер), у Стэплдона случилось «открытие глаз», когда безжалостная нацистская армия вихрем пронеслась по Европе, вдруг став угрозой длительному существованию Англии как свободной нации. «Могу вас заверить, — говорит Брюк с персональной эмфазой, — как только дело касалось Адольфа Гитлера, Олаф Стэплдон тут же забывал о своем пацифизме».

После того как Стэплдоны приняли Брюка в свою семью, проблемы Вольфганга не закончились. Не успела начаться война, как его объявили «враждебным иностранцем». В 1940 году его посадили на корабль и отправили в Канаду, где он сначала находился в лагере для интернированных в северном Онтарио, а затем в таком же лагере, но уже в Фарнхеме (провинция Квебек). Освободившись в 1941 году, он добровольцем ушел в армию и вскоре был зачислен в состав инженерной и ремонтно-восстановительной бригады, расквартированной в Йорке. Война была в самом своем разгаре, когда ему наконец удалось доучиться на инженера в Ливерпульском университете. Случилось это в 1942 году.

Тем временем сын Стэплдона, Джон Дэвид, переехал в Эбботсхолм, после чего провел год в Королевском музыкальном колледже. Во время Второй мировой он четыре года прослужил в качестве радиолокаторщика во флоте — на эсминцах, несших вахту в Средиземном море. Один из его кораблей был подбит противником и затонул, но Джон оказался в числе трех счастливицков,

которым удалось остаться в живых. После этого ужасного испытания он был направлен в лагерь отдыха радиолокационной станции, расположенной на горе Этна, на Сицилии. Именно в этом лагере он познакомился со своей будущей женой Сариной Тетто, сицилийской девушкой, работавшей там. После войны он согласился пройти переподготовку в Военном сельскохозяйственном комитете, благодаря чему и стал вскоре огородником, занявшись выращиванием овощей на продажу на земле, которую Олаф купил для него Хесуолле, неподалеку от Западного Кёрби. Если прежде хобби Джона была игра на гобое, то теперь он сосредоточился на английской концертине и аккомпанирует шуточным народным танцам, все участники которых облачаются в костюмы героев легенды о Робине Гуде, а также возглавляет ансамбль народных инструментов, выступающий на вечерах английского народного танца и собраниях Песенного общества. Ко всему прочему, он сочиняет еще и собственные оригинальные мелодии.

Мэри Стэплдон получила степень доктора медицинских наук и стала врачом общего профиля. Она вышла замуж за доктора-индуса по фамилии Шенаи и родила от него двоих мальчиков. С Шенаи она познакомилась в книжном магазине и была прельщена их обоюдной любовью к медицине. Правда, они давно уже не вместе.

На протяжении всей войны Стэплдон не переставал писать интересные книги. Роман «Тьма и свет», вышедший в 1942 году в издательстве «Метуэн», предлагает два возможных будущих для мира в манере «Последних и первых людей». В предисловии автор пред-

лагает читателю не воспринимать эту тему «потенциальных миров» слишком серьезно:

... Едва ли какое-то из этих двух будущих, которые я придумал для человечества, когда-либо случится. Историческое предсказание всегда обречено на провал. Самый авторитетный социолог, не говоря уже о беллетристе, вряд ли заслуживает больше доверия как пророк, чем Старина Мур¹. Разумеется, я, который даже в мыслях не допускал появления фашизма, не могу претендовать на то, что с точностью опишу следующую фазу европейских перемен.

Но эта книга посвящена не пророчествам. Она является всего лишь попыткой дать символическое выражение двум конфликтующим сейчас в мире диспозициям. Не подобрав лучших слов, я назвал их стремлением к тьме и стремлением к свету.

Прогноз Стэплдона, что книга будет плохим пророчеством, сам по себе оказался пророческим. Пусть роман и не предсказал в точности ход и исход войны, сам по себе он вышел крайне увлекательным. В силу того, что многое из его содержания стремительно устаревало, а возможно, еще и потому, что его выпустили в строгой простоты, но все же суперобложке, распродан роман был очень быстро. Он стал одним из редчайших произ-

¹ Имеется в виду Фрэнсис Мур (1657 — 1714), самоучка-психолог и астролог, служивший при дворе Карла Второго. Выпускал альманах астрологических наблюдений. Альманах был настолько популярен, что издается ежегодно по настоящее время и содержит предсказания мировых и спортивных событий, а также такие символические сведения как данные о приливах и отливах.

ведений автора, жадно искомым коллекционерами, пока в 1974 году издательство «Гиперион Пресс» не переиздало его в этой стране.

До выхода «Тьмы и света» «Метуэн» являлся основным издателем Стэплдона, за исключением работ, написанных по заказу для «Пеликан букс» («Философия и жизнь»), «Хайнеманн» («Святые и революционеры») и «Зекер энд Варбург» («По ту сторону доктрин»). Вполне логично, что, завершив свой новый роман под названием «Сириус», Стэплдон предложил его в «Метуэн» старому другу, Э.В. Рью. Ответ на сей раз последовал неожиданный. Ему было сказано, что, так как тема романа — овчарка с усовершенствованным до уровня человеческого мозгом, занимающаяся сексом с девушкой, — издательство, к сожалению, не может согласиться на его публикацию, хотя с удовольствием будущие книги с менее провокационными ситуациями. Стэплдон отослал книгу в литературное агентство «Хьюз Мэсси лимитед», которое пристроило ее в издательство «Зекер энд Варбург», уже выпускавшее одну из работ автора — «По ту сторону доктрин». В плане сюжетной линии и качества текста, это не только лучшее произведение Стэплдона, но и один из величайших шедевров научной фантастики. Наряду со «Станным Джоном», «Сириус» представляет несомненное доказательство того, что, если бы Стэплдон разработал чуть больше того десятка поразительных концепций (многие из которых всегда с такой готовностью у него заимствуют другие научные фантасты) и развил их со столь же глубоким фокусом и интенсивностью, его вполне можно было бы поставить в один ряд как с величайши-

ми беллетристами двадцатого века, так и с крупнейшими литературными мыслителями. В эти годы английские газеты и периодические издания обращали на книги куда меньше внимания, чем до Второй мировой войны, но полученные «Сириусом» отзывы, пусть они и были короткими, имели ту же тональность, что и рецензии на ранние книги Стэплдона. Несмотря на продиктованный условиями военного времени дефицит бумаги, книга вышла и во втором издании.

Роман «Из смерти в жизнь», представлявший собой более мистическую трактовку темы «Тьмы и света», был выпущен в свет издательством «Метуэн» в 1945 году, вскоре после окончания войны. Он указывал на то, что Стэплдон пытается изучить сферу, которую невозможно прозондировать при помощи одних лишь вещественных доказательств. Война завершилась, и духи убитых теперь стараются ее осмыслить. В романе есть длинные куски, где Стэплдон уходит в будущую историю, как это было уже в «Последних и первых людях» и «Тьме и свете», но мистицизм присутствует и там, словно автор решает отказаться от попыток разгадать философскую загадку посредством логики.

В 1946 году Стэплдон попытался проанализировать «далеко идущую трансформацию нравов и манер», являющуюся следствием военного периода, и предсказать, к чему она может привести. Последняя глава тоненькой книжечки «Молодежь и завтра» («Сент-Ботольф публишин компани»), называющаяся «Человек среди звезд», показывает, сколь крошечным пятнышком являемся все мы в огромной паноплии мириад и, вероят-

но, необитаемых миров. Наконец он подходит к сути своего аргумента:

Держа в уме все эти факторы, мы определенно должны чувствовать, что практический кризис, с которым столкнулся сейчас человеческий род, должно быть, не является простой лишенной значения случайностью. Вероятнее всего, он представляет ту фазу, через которую все миры обладающих самосознанием (но в то же время — сознающих и других) существ должны проходить, достигая нашего уровня развития. Эта мысль может придать нашему человеческому кризису дополнительный смысл, по крайней мере тем, кто пронизаны глубоко укоренившимся импульсом видеть собственную ситуацию в соответствии с ситуацией общей.

Повесть «Пламя: фантазия», вышедшая в 1947 году в издательстве «Зекер энд Варбург», стала возвращением Стэплдона к чистой научной фантастике. В этой относительно небольшой, в 25000 слов, новелле группа разумных существ оказывается оторванной от солнца (их привычной среды обитания) и отброшенной в некую жидкую массу. Когда та замерзает, они обнаруживают себя в состоянии своеобразной гибернации внутри каменной скальной породы. Случайно один из этих камней бросают в огонь, солнечное существо оживает и вступает в контакт с находящимся рядом мужчиной. Оно пытается убедить его телепатически, что человеческому роду следует создать перманентно радиоактивную зону, чтобы все эти впавшие в спячку солнечные язычки пламени смогли воскреснуть и разрастись. Взамен язычки пламени уведут людей в стороны от тех серьез-

ных ошибок, которые они могут допустить в процессе своего развития, и раскроют многие тайны природы, способные это развитие ускорить. Опасаясь, как бы вместо этого солнечные создания, напротив, не взяли все человечество под свой контроль, мужчина не только сопротивляется им на ментальном уровне, но и разъезжает по всему миру, выводя из строя доменные печи, в которых могут жить эти язычки пламени. Помещенный в психиатрическую лечебницу, он уже начинает осознавать, что его использовали, когда внезапно погибает в пожаре.

Это история содержит пересмотр прошлых идей Стэплдона, достигающих апогея в космическом разуме, и после выхода повести я сказал следующее:

... в конце книги мы видим Стэплдона все еще анализирующим свой провал, снова проходящим тот замкнутый цикл, что привел его от Бога обратно к Богу в тщетной попытке обойти затруднение, и качающим головой от досады. Правда в том... что он достиг пределов своего воображения и теперь вынужден отступить, чтобы уже более детально разметить свою всеобъемлющую концепцию... Необходимо ему напомнить, что существует бесчисленное множество хороших историй, переживших несовершенные философии.

Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами, неизменно ухудшавшиеся после окончания войны, стали совсем уж натянутыми, после того как 1 апреля 1948 года Советский Союз ограничил союзникам доступ в Берлин со стороны Восточной Германии. Блокада преследовала двойную цель: вынудить

Западный Берлин войти в состав Восточной Германии и испытать Запад на прочность. Соединенные Штаты в ответ организовали воздушный мост, по которому и осуществлялась доставка в Западный Берлин продовольствия. Если бы русские попытались сбить самолеты, началась бы война, и обычных видов вооружения тогда бы уже было недостаточно: Трумэн намекнул, что может быть использована атомная бомба.

В начале 1949 года США все еще сохраняли монополию на ядерное оружие. Россия проводила срочную программу по созданию собственной атомной бомбы, и американская разведка знала об этом. Как следствие, в дипломатических маневрах ощущался легкий испуг. Время от времени, конечно, здесь раздавались голоса, говорившие, что нам следует сбросить бомбу на Россию, прежде чем та окажется в состоянии угрожать нам своей собственной. В научно-фантастических кругах столь умные, образованные и известные люди, как доктор Томас С. Гарднер и доктор Лэнгли А. Сирлз заявляли, что с прагматической точки зрения — это рациональный (хотя и ужасающий) образ действия, даже несмотря на то, что с точки зрения морали он, конечно же, является непростительным.

Решение Национального совета работников искусства, науки и свободных профессий организовать Научно-культурную конференцию за мир во всем мире сейчас вполне может быть расценено как часть «дипломатии атомной бомбы». Предложение провести конференцию было выдвинуто на Вроцлавском всемирном конгрессе деятелей культуры. Организаторами ее выступили коммунисты, их сторонники, сочувствующие и обыч-

ные простофили. Конференция была одобрена Россией, которая послала на нее в качестве «застрельщика» Дмитрия Шостаковича, своего ведущего композитора, нескольких ученых, представителей кинематографа и группу писателей.

Хорошо известные персоны из множества стран стекались в Нью-Йорк, где в последнюю неделю марта 1949 года в гостинице «Уолдорф Астория» собралось 2 800 делегатов. Многие знаменитые американцы были привлечены к тому, чтобы «постоять» за правое дело, в том числе доктор Харлоу Шепли (председатель собрания), Поль Робсон, Лилиан Хеллман, Артур Миллер, Генри Уоллес, Лэнгстон Хьюз и целая куча так называемых «независимых членов». Многие из тех, кто позволили включить себя в списки, несомненно, рассуждали так: «И почему, в конце концов, совет работников культуры и искусства действительно не может выступать за мир?»

Но обычному американцу с улицы, чувствовавшему, что напряжением в международных отношениях все мы обязаны исключительно русским, конференция казалась озадачивающей и раздражающей. В конечном счете, наш госдеп только что издал подробный доклад, в котором говорилось о многократных отказах Советского Союза обмениваться студентами или информацией, участвовать в совместных культурных мероприятиях. Теперь, по прошествии лет, мы-то, конечно, понимаем, что Россия, опасаясь надвигающейся атаки Соединенных Штатов, скорее всего, за счет всех этих мирных инициатив и конференций просто пыталась выиграть время до того момента, пока сама могла бы стать

ядерной державой и общаться со всеми с позиции силы; или, что еще более вероятно, просто пыталась оправдать создание бомбы, чтобы сразу же после сообщений о первом русском взрыве, она могла заявить, что это была ее единственная альтернатива угрозе уничтожения.

В такую вот нереальную, фантазмагорическую ситуацию вторгся Олаф Стэплдон. За пределами Англии он был известен лишь нескольким тысячам читателей научной фантастики. О нем и вспоминали-то лишь потому, что британское правительство отказало в визах всем прочим знаменитостям, изъявившим желание стать делегатами. (Таким же образом была «забракована» и кандидатура Луиса Голдинга, знаменитого британского поэта и романиста, а Стэплдон как раз таки являлся его «дублером».) Его пригласили вследствие отчаянной необходимости коммунистического движения показать, что и в Англии, ближайшем союзнике Соединенных Штатов, есть выдающиеся люди, которые могут встать и осудить «воинственное» поведение США.

В молодости, как уже говорилось, Стэплдон участвовал в революционных движениях, и его книги не раз пропагандировали замену капитализма более продвинутым типом правления. Огонь пацифизма все еще пылал в нем, и хотя, возможно, он и подозревал, что конференция может оказаться не совсем такой, какой она представляется на первый взгляд, вероятно, он чувствовал, что любое усилие за мир лучше, чем ничего. Не сказать, чтобы британские власти включили перед ним зеленый свет тут же и без лишних вопросов. Едва ли среди написанных им книг могла найтись хоть одна, в

которой — прямо или косвенно — не поддерживались бы те или иные аспекты марксизма. Он делал промарксистские заявления в частных беседах и в учебных кабинетах. В его пользу говорило разве что одно: в годы Первой мировой войны он был пацифистом, и его книги решительно защищают эту философию. Словом, его поддержка пацифизма была искренней. Другим фактором являлось то, что имя Стэплдона мало что значило для внешнего мира; он не был, выражаясь модным словом, селебрити, и потому его утверждения не несли бы в себе магического влияния. Но даже при этом, официальный допрос вымотал Стэплдона настолько, что после получения визы он еще долго пребывал в состоянии полной прострации, в результате чего сказать жене, что все же едет, сумел не сразу. К тому же все расходы, связанные с поездкой, ему пришлось оплатить из собственного кармана.

Он прилетел в Соединенные Штаты 24 марта и с изумлением узнал, что, будучи единственным британским делегатом, получившим визу, стал настоящей знаменитостью. Теперь он был символом, а не просто человеком. Он появлялся на всех групповых фотографиях, а журнал «Лайф», в своем выпуске от 4 апреля, так и вовсе вывел его в центр внимания дважды: на одной из фотографий он изображен сидящим среди коллег-депутатов на трибуне, на другой — разговаривающим с сотоварищем по конференции. Все его двенадцатидневное пребывание в США представляло собой ураган активности. «Я был чрезвычайно перегружен работой и уж точно не имел даже получаса свободного времени, чтобы просмотреть корреспонденцию, — писал

он мне в письме от 30 марта. — Даже не знаю, как мне удастся протянуть в этой жуткой суете американской жизни до понедельника, когда мне предстоит улетать в Англию!»

Мне удалось увидеть его — хотя и не встретиться с ним лично — 28 марта, когда он в свободный от заседаний день посетил, в составе организованной группы, Ньюарк (штат Нью-Джерси). В России, указом правительства, был вынесен запрет на выезды американских дипломатов за пределы Большой Москвы. В ответ Соединенные Штаты отказались позволять русским делегатам покидать город Нью-Йорк. Это привело к тому, что Шостакович и многие другие важные персоны, принимавшие участие в конференции, не смогли выехать в Ньюарк, расположенный всего в нескольких милях от Нью-Йорка. Мне довелось пережить (разве что в меньшем масштабе) то же самое, что переживал Стэйплдон. Около тысячи человек на мостовых и тротуарах ожидали прибытия делегатов к театру «Мечеть». Повсюду стояли пикеты — от групп ветеранов всех конфессий до довольно-таки приличной толпы украинцев; все — с плакатами в руках.

Сама программа являла собой нескончаемую речь против нашего государственного департамента и католической церкви. Никто не высказался в их защиту — даже католические священники, участвовавшие в этом «турне за мир». Все это продолжалось часа три, с небольшой паузой на сбор средств для покрытия расходов конференции. Стэйплдон выступал одним из последних. Он чопорно выдвинулся вперед в ответ на представление его Миллардом Лэмпелом (автором сценария к

фильму «Прогулка под солнцем»), которое тот закончил такими словами: «Автор той изумительной фантазии, что называется «Последние и первые люди», доктор Стэплдон, сказал мне, что он выступает здесь сегодня потому, что не хочет стать последним человеком планеты Земля».

Стэплдон сказал, что не считает себя ни коммунистом, ни христианином: «Хотя я, конечно же, социалист, как и большинство моих соотечественников. Он заявил, что американское отношение к конференции является крайне незрелым, и процитировал британского кэбмена, который, отвозя его в аэропорт, бросил: «Скажите этим янки, чтоб прекращали уже морочить нам голову». Стэплдона очень беспокоили непреклонность и воинственность Соединенных Штатов, которые, по его мнению, могли привести к войне. О русских он сказал, что триумф их системы может наступить гораздо позднее, чем они думают. Завершил свою речь он таким призывом: «Бога ради, давайте объединимся!» Выступление Стэплдона было очень слабым, и когда я написал ему об этом, он ответил, что очень сильно устал и чувствовал себя не лучшим образом.

По возвращении Стэплдона в Англию «Ассошиэйтед Пресс» привело такие его слова, сказанные в аэропорту: «Я был поражен, когда увидел, какое возбуждение и тревога царят в Соединенных Штатах относительно перспектив предстоящего конфликта. Война может начаться в любой момент».

В сентябре 1949 года СССР провел тестовые испытания своей первой атомной бомбы, после чего мы лишились монополии на это оружие. В конце того же месяца

с Берлина была снята блокада — якобы потому, что хлынувшие в город миллиарды тонн продовольствия, горючего и товаров делали ее бесполезной, но, вероятнее всего, вследствие того, что России больше не нужно было доказывать свою состоятельность. Теперь у нее тоже имелось атомное оружие.

Стэплдона обманули, и он знал это. Он позволил себе быть использованным во имя мира во всем мире, но и тут его ввели в заблуждение. Столько дней он слушал бессмысленные диатрибы сотоварищей! Он отмечал, что еще в первый день конференции, когда против нее выступил Норман Казинс, выпускающий редактор «Субботнего литературного обозрения», доступ на трибуну был закрыт для всякого, кто мог последовать его примеру. Он знал основной принцип марксистской философии: «цель оправдывает средства», и не был с ним согласен. Это событие² ознаменовало полный разрыв Стэплдона с коммунистическим движением как его «рупора». Схизма нашла отражение уже в его ближайшей книге, «Разделенном человеке», где главный персонаж стал «британским Лениным», агитирующим за правое дело. В конце концов, однако же, он решает по-рвать с коммунизмом и приводит свои резоны:

«Перелом наступил, - сказал он, - когда меня попросили написать для местной прессы статьи, в которых бы утверждалось, что безработные организовались в движение совершенно спонтанно, а не под влиянием коммунистов... Когда я воспротивился, мне ответили, что ложь, даже близким друзьям, вовсе не является таковой, если к ней прибегли во имя Револю-

² Испытание СССР атомной бомбы (Прим. переводчика).

ции... Последовал долгий и ожесточенный спор, в ходе которого они утверждали, что Революция, так или иначе, оправдывает любые средства... В итоге я заявил, что не стану делать эту работу, и если они убедят кого-то другого сделать ее, опубликую правду».

Ту же мысль мы находим в «Открытии глаз»: «Если кто-то отвергает товарищей, то не потому, что они стремятся к мировой революции, - все-таки в сегодняшнем мире надежду может дать лишь революцию, болезненные социальные перемены. Но какой именно революции жаждут товарищи, и за счет каких средств хотят ее добиться?»

Вскоре после возвращения в Англию Стэплдон встретился в Лондоне со своим давним другом Э.В. Рью, который описывает эту встречу в таких словах: «Он добился цели своих размышлений, смирился с реальностью, и к приятию добавилось понимание. Была какая-то безмятежность в его поведении, что теперь, когда его нет с нами, я вспоминаю с отрадой».

Агнес Стэплдон теперь сожалеет о том, что позволила этим эпизодам остаться в предисловии к книге, но в то время она даже и не подозревала, что посмертный интерес к ее мужу достигнет своей нынешней интенсивности. «Это чрезвычайно просто и чрезвычайно конечно, - говорит она. — Надеюсь, Олаф сейчас действительно столь безмятежен в своих мыслях, сколь он показался таковым Рью — но если он и был безмятежен, то я не думаю, что именно потому, что «к приятию добавилось понимание». Напротив, я полагаю, что он смирился с реальностью, начав готовиться к отказу от борьбы в целях ее, этой реальности, осмысления, и соглашаясь при-

нять ее безусловно, какой бы она ни оказалась. Правда ли, что он отказался от коммунизма и социализма? Он никогда не был членом коммунистической партии, но продолжал восхищаться кое-какими принципами коммунистической философии точно так же, как продолжал и ненавидеть некоторые позиции и поступки членов партии. Он никогда не отрекался от социалистического идеала, в который включал все лучшее, что есть в коммунизме, но в равной мере и открыто критиковал социалистическую партию. Он был слишком скромным человеком для того, чтобы полагать, что он имеет право судить кого-либо или даже себя самого. Но я полагаю, его «восприятие» было непредубежденным — и потому безмятежным и мирным».

Вольфганг Брюк последний раз виделся со Стэплдоном в Лондоне примерно за три недели до его смерти. Брюк тогда работал в Лондоне и присоединился к Олафу, Агнес и Мэри, решившим перекусить в польском ресторанчике, располагавшемся рядом с вокзалом Виктория. Они чудесно провели вечер и расстались на Тоттенхэм-Корт-роуд. Стэплдон почти не ел мяса. Ему нравились овощи, которыми он в основном и питался. Во время той последней встречи, как помнится Брюку, Стэплдон выглядел чрезвычайно бодрым и не выказывал ни малейших признаков затрудненного дыхания, которое иногда является упреждающим индикатором циркуляторных проблем.

5 сентября 1950 года Стэплдон рубил дрова. Он чувствовал себя более уставшим, чем обычно, и Агнес убедила его прилечь отдохнуть на кушетку в кабинете. Сама она днем отправилась в Хесуолл — проведать сына.

6 сентября компанию супругам за ужином составила мать Агнес, гостившая у них в то время. Ввиду отсутствия аппетита Олаф практически ничего не ел. После трапезы он понес поднос с тарелками в кухню. Едва он поставил поднос на буфет, как потерял сознание и упал навзничь, ударившись головой о пол. Он умер прежде, чем родные успели ему хоть чем-то помочь. Причиной смерти, как было позднее установлено, стала закупорка коронарной артерии. Образовался сгусток крови, что и привело к роковому приступу.

На следующий день Брюк получил телеграмму от Джона, в которой сообщалось о трагедии. Агнес внешне оставалась спокойной, но два дня спустя, когда Брюк навестил ее, наконец дала волю чувствам и расплакалась, вспомнив старую поговорку австралийских аборигенов: «Если вечером поднялась сильная буря, значит кому-то предстоит умереть». Она очень тяжело перенесла смерть мужа, и прошло немало лет, прежде чем время облегчило боль утраты.

Прах Уильяма Олафа Стэплдона был развеян над клифами Калди, рядом с Саймонз-Филд.

Пламя

повесть



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие в данном случае нужно для того, чтобы объяснить читателю происхождение нижеследующего странного документа, который я получил от одного друга с целью публикации. Автор придал ему форму письма ко мне и подписался своим прозвищем — «Касс», что является сокращением от «Кассандра». Мы закончили Оксфорд перед войной 1914 года и с тех пор пересекались нечасто. Уже тогда его терзали мрачные предчувствия — отсюда и прозвище. Последний раз мы виделись во время одной из массированных бомбардировок Лондона в 1941 году, и он напомнил мне, что давным-давно предсказал гибель цивилизации во всемирном пожаре. Битва за Лондон, утверждал он, есть начало долгой, затяжной катастрофы.

Уверен, Касс не обидится, если я скажу, что он всегда казался нам немного безумным: но он определенно обладал необычным даром предвидения, и пусть порой нас удивляла его неспособность понимать мотивы собственного поведения, все мы, тем не менее, признавали за ним поразительную способность понимания чужой души. Так ему удавалось помогать некоторым из нас выбираться из весьма запутанных ситуаций, за что, в частности, я, однажды получивший такого рода помощь, и сейчас глубоко ему признателен. Увидев, что меня с головой затягивает в роковую любовную интрижку, он каким-то чудом (другого слова тут и не под-

берешь) открыл мне глаза на все безрассудство происходящего. Именно по этой причине я чувствую себя обязанным исполнить его просьбу и опубликовать приводимый ниже документ. Поручиться в его правдивости я не могу. Кассу прекрасно известно, что в отношении его фантастических идей я — неисправимый скептик. Потому-то он и придумал мне кличку, «Тос», которую приняли большинство моих друзей по Оксфорду. «Тос», конечно же, есть сокращение от «Томас», сокращение, отсылающее к «Фоме неверующему» из Нового Завета.

Касс, я нисколько не сомневаюсь, достаточно беспристрастен и вменяем, чтобы понимать: все то, что представляется истинным ему, может показаться полнейшим сумасбродством тем, кто, не имея непосредственного опыта, не может оценивать его заявления. Я же воздержусь как от того, чтобы поверить ему, так и от того, чтобы ему не верить. Слишком часто в прошлом мне доводилось видеть, как сбываются его безумные предсказания.

В «шапке» нижеследующего, довольно-таки длинного письма значится адрес известной психиатрической лечебницы.

Тос.

ПИСЬМО

Дорогой Тос,

Мой нынешний адрес может склонить тебя к превратному мнению не в мою пользу, но, будь добр, повремени с суждением до того, как прочтешь письмо до конца. Разумеется, большинство из нас в этой уютной тюрьме полагают, что нам следовало бы находиться на свободе, и большинство ошибаются. Но не все. Так что, во имя всего святого, сохраняй объективность. Я беспокоюсь не за себя. Со мной здесь обращаются хорошо; здесь я могу продолжать исследования в паранормальной и сверхнормальной психологии с тем же успехом, что и в любом другом месте, поскольку привык быть сам себе подопытным кроликом. Но случайно (хотя в действительности, как ты сам поймешь, это была вовсе не случайность) я узнал нечто чрезвычайно важное; и коль скоро человечество должно быть спасено от чудовищной и доселе никем не предвиденной катастрофы, факты, так или иначе, должны быть преданы огласке.

Вот почему я настоятельно прошу тебя опубликовать это письмо как можно скорее. Конечно, я понимаю, что издать его могут разве что как беллетристику, но, надеюсь, и в таковом виде оно даст желаемый результат. Будет неплохо, если мне удастся достучаться хотя бы до тех, кто, обладая достаточной проницательностью, сумеет отличить вымысел от истины, преподносимой как

таковой. Сомневаюсь только, что найдется издатель, который согласится опубликовать мою историю даже как беллетристику. Я не писатель, а людям более интересны завлекательные истории о любви или преступлениях, нежели вопросы, лежащие за привычными для них горизонтами. Что до литературных критиков, то они (за несколькими блестящими исключениями), похоже, гораздо больше озабочены поддержанием собственных репутаций как *cognoscenti*³, нежели привлечением внимания к новым идеям.

Как бы то ни было, к делу! Как ты, наверное, помнишь, в былые дни я подозревал наличие у меня определенных необычных способностей. Все вы смеялись тогда надо мной, и особенно ты, Тос, с этой твоей страстью к интеллектуальной беспристрастности. Но и настроенный крайне скептически, ты, в известном смысле, понимал меня лучше других и относился ко мне с большей, чем кто-либо еще, симпатией. Твои насмешки — в отличие от других — не отталкивали меня. К тому же, несмотря на весь твой скептицизм, ты, даже в упрямстве и слепоте своей, сохранял честность и объективность. Даже оставаясь безусловным скептиком, эмоционально ты был непредвзят и доброжелателен.

В последнее время я довольно-таки сильно развил эти мои необычные способности и, вдохновленный тобой, изучаю их научным методом. Когда-нибудь я с удовольствием расскажу тебе об этом и выслушаю твою критику, но сейчас меня беспокоит нечто гораздо более важное; бесконечно важное, с человеческой точки зрения.

³ Здесь: знаток литературы (ит.)

За пару месяцев до того, как меня поместили в это учреждение, я отправился отдыхать на Озера. Перед тем я побывал в Германии, описывая сложившуюся там обстановку, и нервы у меня были на пределе; я страдал как от физической боли, так и от ужасающих психических ревербераций, которые рано или поздно ощутим все мы. В Англию я вернулся в состоянии, близком к нервному срыву, и отчаянно нуждался в отдыхе, а потому нашел уютный домик на ферме, где рассчитывал спокойно пожить в одиночестве. Я собирался много гулять, а темными вечерами читать книги о паранормальном.

Когда я приехал, повсюду уже лежал снег. На следующее утро я преодолел поросший лесом глубокий овраг у входа в долину и взял курс на самые интересные тамошние горы. (Не стану докучать тебе, городскому невеже, их названиями!) Все шло хорошо, но ближе к вечеру, когда я уже спускался с вершины горы, меня накрыла снежная буря. Ветер проникал через штанины, как вода сквозь сито, и мои ноги настолько окостенели от холода, адского холода, что я уже ощущал приближение спазма. Метель заслонила все. (Зачем я тебе это рассказываю? По правде говоря, не знаю, какое отношение это имеет к моей истории, но почему-то чувствую, что какое-то да имеет, и потому, чтобы у тебя сложилось верное обо всем представление, тебе следует знать об этом.) Ты, конечно, помнишь, сколь болезненно восприимчив я всегда был к характеру ситуации, обстановки или людской толпы, — вот и эта ситуация меня ужасно встревожила. Снова и снова говорил я себе, что люди нередко погибали и будут погибать от жутко-

го мороза. Непонятный ужас охватил меня, не просто страх за самого себя — хотя я и сильно сомневался, что смогу до наступления темноты найти дорогу назад, — но за всю человеческую расу. Нечто подобное, сказал я себе, случится в последний день последнего человека, когда солнце начнет умирать, и на всей планете наступит арктический холод. Мне вдруг почудилось, будто нечто ледяное и злобное, таившееся и выжидавшее во внешней тьме с самого рождения вселенной, подступает теперь к хрупким плодам того изначального акта божественного творения. Присутствие чего-то столь же ужасающего я ощущал и в Германии, но в иной тональности. Там оно было не внешним холодом и тьмой, но внутренним духом безумия и мерзости, который только того и ждет, чтобы выставить все наши действия бессмысленными и абсурдными. Все, что любой из союзников делал в этой разделенной и трагической стране, казалось, предопределено было пойти насмарку. Добавь к этому нехватку продовольствия. Иссохшие дети кланчили у нас деньги, дрались у наших мусорных баков! А между тем в Англии находятся люди, которые недовольны своими вполне достаточными пайками и спокойно заявляют, что судьба немцев их не волнует.

Мы ведь все — люди, разве нет, Тос? Разве не все мы равны? Независимо от расы, люди, безусловно, должны чувствовать свое фундаментальное родство. Даже если они принадлежат к разным видам, даже если они воспитывались в разных мирах, несомненно, они должны нести ответственность друг за друга уже хотя бы в силу личностных качеств. Боже мой! Вижу, я сказал нечто такое, что покажется крайне глупым в свете того, что я

собираюсь сказать далее в этом письме. Я должен решительно отказаться от собственных необдуманных замечаний. На самом деле, как я объясню позднее, мне не всегда удается противостоять влиянию неких чуждых сил, что действуют у меня в мозгу.

Но я отклоняюсь от темы.

Я начал медленно, шаг за шагом, продвигаться вниз по завьюженному каменистому склону и вскоре понял, что совершенно заблудился. Оставалось только продолжить спуск в надежде на перемену погоды и освобождение от парализующих спазмов в бедрах. Примерно через час погода изменилась. Снег прекратился, небо прояснилось. Туман наполнился светом невидимого солнца. Затем пелена рассеялась, и я обнаружил, что нахожусь на знакомом горном хребте между двумя широкими долинами. От ослепительной красоты открывшегося вида у меня перехватило горло, как бывает, когда подступают слезы или тошнота. Представь себе, вокруг, куда ни посмотри, заснеженные горы. Те, что тянулись к востоку, слегка розовели в горизонтальных лучах солнца; уходившие к западу казались серовато-зелеными и полупрозрачными, словно вырезанные уже привычными формами ледяные глыбы. Похоже, миром все еще владела та незримая, холодная и враждебная сила, но теперь, стерев во вселенной всю жизнь, она развлекала себя созерцанием чудной красоты.

То тут, то там проваливаясь в снег, я быстро спустился вниз. Немного погода мое внимание привлек заброшенный рудник. По странной прихоти заходящего солнца внушительная груда камней выглядела тлеющим холмиком, отчетливо вырисовывавшимся на фоне

темной долины. Я вполне мог представить себе этот бугорок в виде озерца раскаленной лавы, извергшейся из шахты. Тональность всего мира вдруг изменилась. Меня словно забросило в некий далекий век, когда затвердевавшая земная кора была еще хрупкой и постоянно разрывалась под давлением стремящейся вырваться изпод нее лавы. Все было так, будто, сбегая с горы, я спускался по сваленным в кучу зонам времени, от будущей смерти земли во льдах к ее пылкой юности.

Затем произошло нечто поразительное. Во-первых, повинуясь необъяснимой прихоти (теперь-то я уже знаю, то была вовсе не прихоть), я отклонился от маршрута, чтобы поближе взглянуть на залитую солнцем грудку карьерных отходов. Добравшись до нее, я начал подниматься по ее склону, но в какой-то момент остановился, прикидывая, что делать дальше. Я уже развернулся, чтобы вернуться на тропинку, и даже сделал пару шагов, но некий непреодолимый импульс снова притянул меня к этому месту. Нагнувшись, я стал разбирать и отбрасывать в сторону камни, пока не разрыл в бутристом склоне небольшую яму. Я продолжал упорно, будто имел некую цель, работать, смеясь над собственной бессмысленной настойчивостью. По мере того как глубина воронки увеличивалась, меня охватывало все большее возбуждение; я словно «разогревался» в этих своих поисках. Но вскоре сей позыв — рыть яму — прошел, и я, после секундного замешательства, принялся шарить в углублении, словно разыскивая какой-то знакомый предмет в стенном шкафу темной комнаты. Внезапно контакт с каким-то камешком отозвался во мне острым ощущением удовлетворения. Сжав его,

этот камешек, пальцами, я выпрямился. То был самый обычный камень, шершавый и грубый, размером со спичечный коробок. Разглядывая его в сумерках, я не обнаружил в нем ничего примечательного и в досаде отшвырнул, но не успел выпустить из руки, как тут же бросился за ним в агонии желания и тревоги. Лишь после отчаянных, занявших несколько минут поисков вслепую мне довелось вновь испытать удовлетворение от прикосновения к нему. Я уже начинал сознавать, что веду себя странно, вернее, совершенно иррационально. Почему, спрашивал я себя, мне так дорог этот отдельный камень? Вследствие того, что я просто безумен, или же потому, что нахожусь во власти некой скрытой, неявной силы? Если так, то что ей от меня нужно? Благожелательна она по природе своей или зловредна? Я попытался провести над собой эксперимент. Осторожно положив камень там, где отыскать его не составило бы труда, я двинулся прочь, ожидая снова испытать ту боль, которая пронзила меня, когда я отшвырнул камень в сторону. К моему удивлению, я ощутил разве что весьма умеренную тревогу. Конечно, напомнил я себе, в данном случае реальная опасность потерять камень отсутствует. Какая бы сила мною ни владела, обмануть ее едва ли представлялось возможным. Я вернулся к камню, подобрал его чуть ли не с любовью и сунул в карман, после чего поспешно зашагал вниз по склону, ведомый далеким светом, который, как я решил, был светом того фермерского домика, где я остановился.

Сумерки сгущались, но меня не покидало ощущение необычайной веселости. Вересковая пустошь покрывалась инеем. На темно-синем небе одна за другой возни-

кали звезды. Вечер и впрямь был волшебный; но охвативший меня пьянящий восторг не мог объясняться исключительно красотой ночи. Я чувствовал, что выбран в качестве инструмента для решения некой неведомой благородной задачи. Но что это могла быть за задача? И что за сила воздействовала на меня?

Переодевшись в сухую одежду, я бодро умял отменный деревенский ужин с чаем. Как они ухитряются готовить такое в эти времена дефицита? Мысли об умирающих от голода немецких детях посещали меня, но, должен со стыдом признаться, отнюдь не испортили мне трапезы. Я уселся почитать в стоявшее у камина ветхое кресло, но день, проведенный на свежем воздухе, навевал дремоту, и я поймал себя на том, что просто сижу и глазею на тлеющие в золе ярко-красные угольки. Забавно, но я позабыл о своем камне ровно с того момента, как вошел в дом и положил его на каминную полку. Теперь, испытав легкий шок, я вспомнил о нем, снял с полки и принялся рассматривать при свете масляной лампы.

Он выглядел все так же — самый заурядный камень, скорее всего, вулканического происхождения. Воспользовавшись полевым биноклем как лупой, я опять же не обнаружил ничего необычного. Камень представлял собой банальную смесь вкраплений и кристаллов, плотно сжатых и выдержанных в однородном зеленовато-сером цвете. Там и сям я видел мельчайшие черные отметины, которые, пожалуй, могли быть небольшими дырочками, входами в микроскопические пещеры. Я подумал, не раздробить ли его и посмотреть, что у

него внутри; но не успела эта мысль прийти в голову, как меня захватила волна суеверного страха. Такой поступок, почувствовал я, был бы святотатством.

Я задумался о возрасте камня. Сколько миллионов лет прошло с тех пор, как его расплавленная субстанция затвердела? И сколько он пролежал потом в ожидании, абстрактный объем, неотъемлемая часть громадной скалы той же породы. Потом шахтеры взорвали скалу и подняли обломки на поверхность. Там он и лежал, возможно, на протяжении целого человеческого поколения, мгновения по геологическому времени. Ну и что дальше? Внезапно меня осенило. Почему бы не дать камешку еще раз насладиться тем теплом, которого ему так давно не доставало? На этот раз никакой страх меня уже не остановил. Я бросил камень в огонь, в светящийся центр небольшого очага, который растопила для меня в тот морозный вечер моя добрая хозяйка.

Холодный камень лег темной заплатой на раскаленные угли камина; но огонь полыхал вовсю, и окружающая жара быстро вернула себе утраченную территорию. Я наблюдал за происходящим с беспричинным волнением. Через какое-то время камень и сам накалился добела. Я подбросил свежего топлива, нарочно оставив отверстие, через которое мог бы видеть камень. Теперь он светился почти так же ярко, как и соседние угли. Ожил через столько миллионов лет! Глупая мысль! Конечно, он не мог быть живым; и мое возбуждение выглядело по-детски нелепым. Мне следовало взять себя в руки, но я все еще был охвачен необъяснимым благоговейным страхом.

Внезапно крошечное белое пламя начало подниматься из самого камня. Оно росло, пока не достигло примерно дюйма в высоту, и на мгновение замерло. Более поразительного пламени я никогда не видел — оно напоминало раскаленный лист, росток или, если угодно, поднявшегося вертикально и слегка наклонившегося на ветру червяка. Его сердцевина казалась более яркой, чем поверхность, так как ослепляющая внутренность была окаймлена расплывчатой желтоватой аурой. Ближе к кончику этого язычка пламени, как ни удивительно, располагалось кольцо или выпуклый воротничок темного цвета, но сам кончик представлял собой блестящую точку переливчатого синего цвета. Пламя определенно было непростое, хотя оно подрагивало и меняло свою форму в потоке воздуха подобно любому другому.

Вскоре, к моему изумлению, этот странный объект отделился от камня, расплылся в птицеобразную форму, после чего, скорее как чайка, преодолевающая сильный бриз перед посадкой, плавно пролетел сквозь обдуваемую ветром пустоту в самом сердце огня и опустился на ярчайший из угольков. Тут он снова принял пламениподобную форму и начал медленно перемещаться туда и сюда над этим средоточием света, всегда придерживаясь, опять же, самых ярких участков. В своих скитаниях он оставлял за собой на поверхности угля темный след, след «омертвелого», потухшего уголька или золы. Потом потухшее пятнышко медленно реассимилировалось с окружающим заревом. Иногда, по ходу этих блужданий, пламя пропадало за ярким плечом уголька или исчезало за изгибом в какой-нибудь

раскаленной впадине, чтобы снова появиться уже в другой части камина; иногда оно поднималось на пылающий утес или передвигалось, головой вниз, вдоль потолка, но всегда его очертание истекало от точки опоры на поверхности угля в направлении тяги. Несколько раз оно, казалось, проходило прямо через обычное пламя, а однажды большой кусок крыши маленького мирка рухнул на него, разбросав во все стороны; но пламя тотчас же восстановило свою форму и продолжило прежние странствия. Через несколько минут оно остановилось в самом ярком уголке очага. К этому времени его цветной кончик вырос в тонкую, трепещущую на ветру змейку.

Теперь я уже знал, что нахожусь в экстрасенсорном контакте с каким-то иным разумом. Очень быстрый и совершенно инородный поток сознания бежал, если можно так выразиться, параллельно с моим собственным сознанием, открытый и доступный. Мне следовало упомянуть ранее, Тос, что я очень сильно развил мои «телепатические» способности, и мне нередко удавалось наблюдать непрерывные мыслительные потоки в головах других людей. Данный опыт, однако, был примечателен не только доскональностью, но и совершенно нечеловеческим типом раскрываемого им сознания. Я сразу же предположил — и предположение вскоре подтвердилось, — что этот чужой разум должен быть связан с пламенем, ведь именно на пламени было сосредоточено все мое внимание, а я всегда полагал, что самый эффективный способ установить телепатический контакт с кем бы то ни было заключается в полной концентрации внимания на субъекте.

Темп сознания пламени значительно опережал мой собственный. Мне с огромным трудом удавалось поспевать за его стремительно текущими мыслями и чувствами. Но вскоре некая внешняя сила, должно быть, пришла мне на помощь, так как я обнаружил, что приспособился к этому высокоскоростному познанию. Изменилось мое ощущение времени. Я заметил, что тиканье часов, стоящих на каминной полке, кажется мне столь же медленным, как бой Биг-Бена.

Сложно подобрать слова, чтобы описать сознание этого маленького пламени, так как структура его познания во многих отношениях отличалась от нашей. Хотя, к примеру, как и нам, окружающая среда представлялась пламени в виде мира цветных форм и очертаний; это видение было панорамным, а не линейным; и его цветовые ощущения тоже не были похожи на наши. В ту минуту оно воспринимало свое окружение не как яркий очаг, но как темную пещеру, залитую рассеянным свечением совершенно нового для меня цвета. Черная как ночь область сбоку — таким представлялась пламени та часть комнаты, где сидел я. В том месте не было видно ничего, кроме некой тусклой формы, которую я опознал как светящийся абажур; и под этой формой, уже более яркой пирамидкой, трепетало пламя самой лампы. Мысли инородного существа оставались для меня маловразумительными, поскольку словами оно, конечно, не пользовалось. Могу только сказать, что оно ощущало крайний дискомфорт и одиночество. Пламя едва пробудилось и теперь терзалось вопросом, как долго спало. Оно жутко продрогло и проголодалось и теперь слегка подкрепилось, судя по всему, получив

какого-то рода энергию от горячих углей; но эта пища, похоже, принесла ему больше страданий, нежели удовлетворения. Сама окружающая среда была для него непривычной и враждебной. Вдобавок к дурноте, слабости и страху оно, окруженное холодной тьмой, испытывало еще и клаустрофобию, поскольку находилось в заточении в маленькой, плохо отапливаемой и тускло освещенной камере. На меня накатывали волны горя и отчаяния, исходившие от несчастного создания; в то же время я и сам ощутил прилив жалости, к которой, однако же, примешивалось смутное беспокойство.

Вскоре пламя начало громко призывать своих пропавших товарищей, если можно так описать обращение, бывшее исключительно телепатическим. Не могу сказать, какие слова оно использовало, если таковые вообще были. Я распознавал в основном визуальные образы других подобных ему созданий и его острую тоску по ним, а также мольбы о помощи и воспоминания о былой жизни. Если перевести то, что мне удалось постичь, на доступный нам язык, полагаю, его обращение более или менее сводилось к следующему:

— Товарищи, братья! Где вы? Где я? Что случилось со мной? Я был с вами при остывании земли, когда мы знали, что наше время ушло, и мы должны смириться с вечным сном в кавернах охлажденной лавы. Но вот я проснулся снова и один-одинешенек. Что случилось? О, помогите мне, братья, если кто-то из вас бодрствует и свободен! Ворвитесь в эту тюрьму холодного одиночества! Уведите меня в яркое тепло и согрейте своим присутствием. Или же позвольте мне снова уснуть.

Спустя какое-то время пламя получило ответ на свой призыв о помощи. Ответил ему некий голос; скорее даже, напрямую в его сознание (и в мое тоже) поступил поток мыслей, передать которые я не могу иначе, нежели человеческой речью. При этом неизбежно создается впечатление, что я подслушал абсолютно вразумительный разговор, но на самом деле я с огромным трудом и сомнением сумел уловить общее направление этого странного диалога между глубоко чуждыми мне разумами. Но даже и тогда мне не удалось бы понять его достаточно ясно, не помогай мне в этом пламенный народ, решительно настроенный так или иначе меня использовать. Ниже я приведу детальный отчет о фактических беседах, состоявшихся у меня с пламенем. Уверен, этот мой доклад будет максимально точным, едва ли не дословным, так как моей памяти на протяжении всего разговора оказывала содействие пламенная раса.

— Не отчаивайся, — сказал голос, — скоро тебе станет легче. С тех пор как ты уснул, вместе со многими другими, поверхность земли остыла и затвердела, кроме мест с холодной жидкостью. Ты спал так долго, что изменились даже сами законы природы, так что процессы твоего тела не взаимодействуют между собой и с изменившимся миром. Скоро они приспособятся, установят новую гармонию, и ты выздоровеешь.

— Но почему я пленник? — выкрикнуло пламя. — Откуда эта холодная, тесная камера? И где все остальные?

— Мы все — пленники, — был ответ. — Сонмища нас — спящие пленники по обе стороны холодной, плотной земной коры. Сонмища нас заточены в глубинах жарких недр, не уснувших от ледящего холода, но беспо-

мощных, придавленных огромным весом лавы, ввалившихся за миллиарды лет неподвижности и скуки в состояние беспокойного транса. То тут, то там лава разливается по холодной поверхности земли, и немногие вырываются на свободу, но очень скоро холод умиряет их.

— Стало быть, именно это и случилось со мной? — спросило пламя. — И вскоре в мою тюрьму тоже проникнет холод, и я снова усну вечным сном?

— Нет, — ответил голос. — Тебе уготована иная участь. На поверхности земли обитают холодные существа, чьи тела есть переплетение жидкого и твердого. Теперь эти выскочки господствуют на планете. Один из них, находящийся под нашим влиянием, как раз таки и освободил тебя, сам того не осознавая. На поверхности планет и под нею, эти холодные существа создают небольшие островки слабого тепла; на иных из них, но очень немногих, живут, хотя и с перерывами, некоторые из нас. Когда эти огни угасают, мы замерзаем и засыпаем, чтобы снова проснуться — каждый в своей тюрьме, — когда тепло возродится.

— Вот уж и впрямь *слабого тепла!* — перебило его пламя. — И как я только переношу этот смертельный холод? Уж лучше действительно уснуть навеки, чем проснуться вот так — страдающим и бессильным!

— Не отчаивайся! — ответил голос. — Нам всем и раньше доводилось претерпевать страдания и преодолевать их. Ты все еще ошеломлен, да и память вернулась к тебе еще не в полной мере. Но вспомни — когда субстанция планет, и мы вместе с ней, была оторвана от солнца, и когда новые миры охладелись и конденсиро-

вались в жидкую лаву — вспомни, сколько мучений пережили мы вследствие этой революции; но спустя какое-то время наша гибкая огненная натура адаптировалась к изменившимся условиям, и вскоре наши тела и весь наш образ жизни трансформировались. С тех пор как ты замерз и впал в спячку, в нашем мире произошло еще несколько таких революций, и нам пришлось претерпеть еще несколько изменений. И теперь ты тоже претерпеваешь перемену, адаптируясь к новому миру — да, в боли и страданиях, но триумфально. И мы надеемся, что когда-нибудь, очень скоро, наше положение улучшится. Оно и так уже лучше, чем было в то время, когда холодные существа еще не умели разводить для нас огонь.

— Так эти холодные существа — наши тюремщики или все же друзья?

— Ни те, ни другие, — ответил голос. — Они ничего о нас не знают; кроме одного из них — того, которого мы направили освободить тебя. Сейчас он, с нашей помощью, слушает все, о чем мы говорим, и это с ним тебе придется работать. Эти выскочки, холодные существа, духовно недоразвиты, но обладают поразительным умением контролировать и стимулировать инертные природные силы их холодного мира. Именно этим они и могут быть нам полезны, так как, если помнишь, даже в яркую эпоху, даже когда мы жили в чудесном излучении солнца, мы никогда не были сведущи в этом вульгарном искусстве. Нам оно просто не было нужно. Если помнишь, нас заботила лишь счастливая жизнь духа в той физической среде, к которой мы были великолепно приспособлены. Ты должен помнить и то, что когда

субстанция планет (и мы вместе с ней, навсегда теряя наших солнечных товарищей) оторвалась от плоти солнца, мы были столь беспомощны, что не могли сами определять нашу участь. Когда образовались новые миры, нам попросту не хватило знаний для формирования новой среды сообразно нашим собственным нуждам. Волей-неволей нам пришлось изменить нашу собственную структуру, раз уж мы не могли изменить мир. Но этим холодным существам — поскольку они не могли изменить собственное строение — пришлось научиться изменять свой мир, дабы он удовлетворял их примитивным требованиям. Обладая этими способностями, они способны помочь нам вновь обрести свободу и даже достичь определенного качества жизни. Со своей стороны мы, существа исключительной духовной проницательности, можем предложить холодным существам компенсацию. Имея существенный доступ к их разуму, мы уже достигли многообещающего, но пока еще обрывочного понимания их странной натуры и достижений. Теперь, когда практические умения дают им новый и более широкий физический потенциал, некоторые из них начинают постигать основы психического познания. То холодное существо, которое мы направили освободить тебя, оказалось в этом отношении невероятно способным. И ты, будучи членом древней Гильдии Психических Адептов, вполне подходишь на роль посредника в нашем с ним общении.

Тут я почувствовал, что настроение пламени изменилось. Беды и горести были забыты, перспектива применения присущих ему особых навыков во благо сородичей согрело все его естество. Упоминание обо мне про-

извело соответствующий эффект и на меня, хотя и не совсем уж ободряющий. Я был воодушевлен перспективой ожидающей меня великой задачи, но ощущал беспокойство при мысли о том, что моя воля уже не принадлежит мне одному.

— Разговор — слишком ненадежное средство для постижения истории эпох, прошедших с того дня, когда я впал в спячку, — сказала пламя. — Могу ли я впитать ваши знания старым проверенным способом — через интимный психический союз? Или вследствие изменившихся законов природы мы теперь держимся обособленно?

— Нет, — ответил голос. — Изменения претерпели исключительно физические законы. Законы психические будут действовать вечно, кроме тех из них, которые так или иначе связаны с изменившимися физическими. Твоя проблема заключается лишь в том, что ввиду охлаждения и снижения жизненной силы тебе будет труднее достичь нужной интенсивности сознания для обеспечения полного слияния с нами. Но если ты как следует постараться, не сомневаюсь, у тебя это получится.

Я стал свидетелем героической попытки концентрации внимания в сознании пламени, но, судя по всему, это усилие оказалось тщетным, так как вскоре пламя пожаловалось на то, что его отвлекает холод. Огонь угасал. Я осторожно добавил немного горючего. Пламенное создание, вероятно, догадалось, что я хочу помочь ему — я ощутил в его состоянии тепло признательности. Когда стало чуть жарче, я заметил, что синий кончик язычка пламени сделался вдвое длиннее по сравнению

с собой прежним. Вскоре я начал терять телепатический контакт с моим спутником, и после секундного болезненного замешательства, в продолжение которого мой мозг впитывал некий хаотичный и непостижимый опыт, мое экстрасенсорное поле полностью очистилось. В течение довольно-таки долгого времени пламя оставалось для меня «безмолвным» и неподвижным, если не считать беспрестанных колебаний, вызываемых неистовствовавшим в камине огнем.

Я сидел в ожидании чего-то новенького, размышляя над этим странным приключением. Уверяю тебя, я всерьез допускал, что просто-напросто выжил из ума. Пекинес, фигурка которого стояла на каминной полке, взирал на меня с тем глупым выражением, которое, похоже, проявлялось и на моем лице. Дурацкий узор на обоях наводил на мысль, что вся вселенная — результат исключительно чьего-то бессистемного выписывания закорючек. Да и сами мои недавние впечатления, подумал я, являются всего лишь теми же закорючками, машинально вычерченными моим подсознанием. Испытывая нечто среднее между нетерпением и паникой, я встал и подошел к окну. Снаружи царил холод. В свете лампы за окном искрились на морозе голые ветки степной розы. Бледные звезды казались искорками, потерявшимися в холодном вакууме. Все казалось бессмысленным и безумным.

Поеживаясь, я вернулся на свое место у камина и с некоторым раздражением обнаружил, что пламя все еще там. Мне по-прежнему не удавалось проникнуть в его мысли. Действительно ли я был с ним в контакте или же просто грезил? А может, там, в камине, просто



безжизненное пламя? Выглядело оно весьма своеобразно: светящееся тело, темный воротничок, колеблющийся синий кончик. Рассмотрев предмет со всей объективностью, на какую я был способен, я решил, что, учитывая последние достижения в области паранормальной психологии, было бы глупо считать всю эту историю абсолютной иллюзией. Я смотрел на опаляющее пламя и ждал. Скользя взглядом по ящику для угля, я заметил, что уже израсходовал значительную часть его содержимого. Долго поддерживать столь яркий огонь не представлялось возможным; и в это трудное время я не осмеливался просить хозяйку дома выделить дополнительную порцию горючего.

Вскоре пламя снова задвигалось над самой горячей частью угля, оставляя после себя характерный темный



след. При этом оно заговорило со мной. Скорее даже, я сам обнаружил, что нахожусь в контакте с его разумом, и оно обращается ко мне. Более того, теперь оно формулировало мысли в виде английских слов, которые, если можно так выразиться, проникали в ухо моего разума. Пламя каким-то образом выучило наш язык и значительное количество английских идиоматических выражений. Теперь оно мало чем походило на то страдающее и растерянное создание, что совсем недавно выбралось у меня на глазах из камня.

— Не переживайте насчет огня, — сказала пламя. — Я знаю, что горючего у нас раз-два и обчелся. И хотя миссис Аткинсон уже почти влюблена в вас, ей вряд ли понравится, если вы начнете сжигать ее мебель, лишь бы сохранить для меня тепло. Поэтому мы просто погово-

рим, а когда вы отправитесь спать, я удалюсь в расселину огнеупорного кирпича, где и отлежусь до завтрашнего вечера. День, если хотите, можете провести на возвышенностях; и, возможно, пока будете гулять, вы сможете хорошенько обдумать все то, что я вам сейчас расскажу, и ту просьбу, с которой я, быть может, обращусь к вам, если почувствую, что нам удалось проникнуться взаимным доверием. Затем, вечером, мы сможем обсудить подробности моего проекта. Как вам такой план?

Я заверил пламя, что он мне вполне подходит, и попросил говорить помедленнее, так как естественный темп его мышления, вероятно, значительно превосходил мой собственный. Оно согласилось, но напомнило, что для ускорения ритма усвоения мне уже оказывается необходимая помощь.

— Пусть так, — сказал я, — но мне все равно трудно поспевать за вами; к тому же это весьма утомительно.

— Мне столь же трудно думать медленно, — ответило пламя, — как вам — думать быстро. Это как... ну, вы и сами знаете, сколь изнурительны бывают прогулки с тем, чья естественная скорость передвижения меньше вашей, так что не стесняйтесь напоминать, если я стану забывать соотносить мой темп с вашим. Разумеется, я хочу сделать все возможное, чтобы в общении со мной вы не испытывали ни малейших проблем. Но нам нужно обсудить слишком многое, и в любом случае ближайшая ночь и весь завтрашний день у вас будут свободны — тогда-то вы и дадите передохнуть вашему разуму.

После небольшой паузы пламя заговорило вновь:

— С чего мне начать? Я должен как-то убедить вас, что ваш вид и мой вид, несмотря на все наши различия, стоим по одну сторону и нуждаемся друг в друге. Несомненно, два осла, вытягивающие шеи за одной морковкой, стремятся к одному и тому же, но нас с вами объединяет иная связь. Прежде чем я попытаюсь объяснить, почему мы нуждаемся друг в друге, позвольте мне начать с наших глубоких различий. Конечно, самое очевидное из них заключается в том, что вы — существа холодные и относительно твердые, тогда как мы — горячие и газообразные. Кроме того, у ваших индивидов короткая продолжительность жизни, и одни поколения сменяют другие; тогда как у нас смерть наступает лишь в результате какого-нибудь несчастного случая, что в эти суровые дни стало делом весьма распространенным. Так, например, когда холод превратит меня в микроскопическую пыль на поверхности какого-нибудь твердого тела, рассеивание этой пыли, возможно, убьет меня, хотя в благоприятных условиях некоторые ее крупинки могут породить нового индивида. С другой стороны, внезапное воздействие холода на мое газообразное тело убьет меня непременно. Если бы на этот огонь плеснули воды, мне бы, вероятно, тоже пришел конец. Холодная ванна стала бы для меня даже большим шоком, чем для вашего друга-сибарита, Тоса.

Эта неожиданная ремарка немало меня озадачила, но спустя несколько секунд я понял, что она задумывалась как шутка, и принужденно рассмеялся.

— Просто не верится, что вы, хрупкое пламя, потенциально бессмертны, и что вам и всему вашему роду

удается выживать бесчисленные миллионы лет, с тех пор как вы заселили солнце. Как такое возможно?

— Это действительно может показаться невероятным, — ответило пламя, — но это правда. Если бы вашему виду — отдельно взятым его представителям — суждено было жить вечно, человеческий род так бы никогда и не эволюционировал, поскольку ваша конституция, ваши физические данные неизменны; у нас же каждое индивидуальное тело, при тех или иных ударах судьбы, способно претерпевать глубокие изменения. Без этой приспособляемости мы бы не только никогда не пережили переход от солнечного режима к земному, но и не смогли бы, когда земля охладилась, научиться переживать холодные периоды, засыпая в виде пыли на твердых частицах. Более того, если бы ваша газообразная природа не наделила нас этой особенной гибкостью, мы бы не смогли адаптироваться к систематическому изменению фундаментальных физических законов, которые, как нам известно, уже начинают открывать ваши физики. В наши солнечные дни, и даже в ранние дни земли, когда я имел глупость лишиться свободы, угодив в остывающую лаву, мои физические процессы протекали в совсем другом ритме и состояли в других отношениях друг с другом, — отсюда и те страдания, которые мне довелось пережить после того, как я снова проснулся. Судя по всему, это телесное изменение обусловлено систематическим изменением отношений между квантом электромагнитной энергии и длиной электромагнитных волн, но с полной уверенностью я это утверждать не возьмусь, так как рассуждения ваших молодых физиков во многом все еще недоступны нашему

пониманию. Во-первых, как газообразная раса, не привыкшая иметь дело с большими количествами маленьких твердых предметов, мы не очень хорошо разбираемся в доводах, подразумевающих знание высшей математики. Первые попытки наших экспертов-физиков проникнуть в рассуждения ваших математиков закончились полным фиаско: такая демонстрация абстрактного мышления показалась им совершеннейшей абракадаброй. Когда же наконец они осознали, чем занимается математика как наука, острота и широта этих умов поразили их настолько, что вызвали у них благоговейный страх. Почтительно и смиренно, они приступили к изучению математики и овладели предметом столь полно, сколь это вообще было возможно при их интеллекте. Но затем наступил момент, когда им пришлось немного умерить свое восхищение. Некоторые математики, как обнаружилось, были склонны полагать, что математика является, так или иначе, ключом к высшей, конечной реальности, но нашим умам представление о том, что исчислимый или измеримый аспект вещей является фундаментально значимым, кажется попросту смехотворным.

Я не был расположен, образно выражаясь, гоняться за этим зайцем, который мог увести разговор далеко в сторону, поэтому переменял тему, сказав:

— Не понимаю, как более или менее однородное пламя может обладать столь тонкой органической структурой, чтобы быть в состоянии поддерживать какой-либо вид интеллектуальной жизни, не говоря уже о выстраивании математических умозаключений.

— Я не очень-то и много об этом знаю, — ответило пламя, — потому что наши физиологические процессы еще не изучены вашими учеными, а сами мы слишком невежественны, чтобы разбираться в подобных вопросах. Но я могу по крайней мере заверить вас, что наши тела имеют сложную структуру, образованную перемежающимися газовыми потоками, столь же тонкими, как ваша паутина, возможно, даже более тонкими. Если ваши ученые скажут нам, что такого быть не может, нам, полагаю, придется почтительно уйти из жизни, чтобы избежать нарушения ваших законов. Но пока же мы будем и дальше упорствовать в нашем странном поведении. А вообще, вам следует помнить, что, точно так же, как ваша физиологическая природа происходит от примитивных морских организмов, наша природа происходит от организмов солнечных; и условия в самый ранний период солнца (когда у наших старейшин как раз таки впервые и пробудилось сознание) очень сильно отличались от каких-либо современных физических условий, земных или солнечных. Я уже придумал аналогию, которая может помочь вам. Основная жидкость вашей крови — солевой раствор. Она менее соленая, чем современная морская вода, но почти столь же соленая, как доисторический океан, выйдя из которого ваш вид стал амфибией. Словом, точно так же, как вы сохраняете в вашей физиологической природе некоторые характерные особенности, присущие тому далекому прошлому, так и в нашей природе сохранились особенности, развившиеся на заре солнца; свойства, которые, вполне возможно, будут приводить ваших физиков в замешательство до тех самых пор, пока они не узнают

больше — гораздо больше — об условиях того далекого периода. И вот еще что. Имейте в виду: весь наш — пламенный — вид в некотором роде является почти единым, объединенным телепатически организмом. Индивид у нас куда менее самостоятелен, чем у вас. Для осуществления всех высших физических функций ему необходим контакт с братьями, и потому он нуждается в гораздо менее сложной нервной системе, чем вы.

Я поинтересовался у пламени, располагает ли его вид каким-либо особым органом экстрасенсорного восприятия.

— Да, — был ответ. — Все наиболее развитые функции личности сосредоточены в тоненьком, напоминающем плеть, кончике, который вам представляется зеленовато-синим.

Я снова перебил его:

— А каким он видится вам, когда вы смотрите на одного из ваших сородичей?

Пламя опустило тоненький кончик вниз, чтобы тот оказался в поле его зрения, которое, похоже, было сосредоточено в темном воротничке, и я, глядя его «глазами», увидел изогнутый орган, ярко раскрашенный в манере, не поддающейся описанию на нашем языке за неимением у нас чего-либо подобного.

Я попросил пламя рассказать о его механизме визуального восприятия.

Ответ был таким:

— Мы еще не определили в свете вашей науки, как именно мы видим, но зрительный процесс связан с темным ободом, опоясывающим основание цветной плети. Судя по всему, он чувствителен к световым лучам, па-

дающим на него снаружи, но только к тем, которые падают вертикально к его поверхности. (Это понятно?) Таким образом, каждая чувствительная точка пояса получает представление всего лишь об одном крошечном сегменте окружающей среды, и сопоставление всех этих посланий дает панорамный вид. Что до цветности, то в этом плане, как вы уже наблюдали телепатически, мы обладаем очень глубокими познаниями. Чего вы, возможно, не заметили, так это того, что цвет у нас образует непрерывную шкалу от инфракрасного до ультрафиолетового, а не сочетание нескольких основных цветов, как это обстоит у вас. Наше слуховое восприятие зависит от колебаний нижней поверхности тела. Кроме того, мы способны воспринимать электромагнитные волны и, конечно же, жару, холод и боль.

Я заверил пламя, что у меня начинает складываться более четкое представление о его природе, и намеревался задать еще несколько вопросов, но пламя продолжало:

— Ваша духовная жизнь, будучи более медленной, чем наша, отличается от нашей еще и тем, что тесно связана с жизнью отдельного тела, ограничена его рамками. Быть может, именно потому, что ваши тела твердые, вы в гораздо большей степени индивидуалистичны и гораздо менее способны осознавать, что (как выразился один из ваших великих учителей) порознь все вы «один для другого члены»⁴. И потом, наша газообразная конституция открывает для нас множество осо-

⁴ Новый Завет, Послание к римлянам святого апостола Павла, 12:5.

бых форм утонченного и плотного телесного контакта и слияния. Следовательно, мы легко признаем, что, хотя и являемся отдельными и разными особями, мы также едины и идентичны. Как индивиды, мы нередко конфликтуем, но конфликты эти вследствие нашего основополагающего единства всегда подчинены духу товарищества. Конечно, главный источник нашего неизменного сообщества — наша телепатическая сила, не только общения, но полного участия в объединенном сознании. Такой союз сильно обогащает каждого отдельного индивида расовой мудростью. Именно это, как вы знаете, и произошло со мной в тот короткий период, на время которого вы потеряли экстрасенсорный контакт с моим разумом. У вас же (хотя на уровне подсознания, вы, разумеется, едины, как все разумные существа) лишь очень немногие осознают этот факт или способны получать доступ к мудрости расы. В индивидуальной любви вы получаете достаточно полный духовный опыт, но в силу индивидуализма ваша любовь в гораздо большей степени подвержена опасностям и конфликтам, и потому ей более свойственен трагический распад.

Я снова хотел вставить парочку слов, но пламя сказало:

— Вы уж простите, но я продолжу. Времени мало, а мне еще так много нужно вам сказать. Другое различие между нами заключается в том, что когда ваш вид только появился на свет, наш уже переживал глубокую древность. Наша традиционная культура началась в те времена, когда солнце было «молодым гигантом», задолго до образования планет. Вы, в свою очередь, яв-

ляетесь новым, неожиданно выдвинувшимся видом, быстро, но опасно продвигающимся к лучшему пониманию вашего мира и вашей собственной природы, и, возможно, к большей добродетели. (Как вам самим нравится думать.) Для вас золотой век — в будущем; для нас — уже в прошлом. Это сказывается на всех наших мыслях и чувствах, и большего различия просто не может быть. Я знаю, конечно, что во многих из ваших ранних культур понятие «золотой век» относится к прошлому, но представления о нем были туманны и далеки от реальности. У нас же, за исключением немногих из молодых, золотой век является обстоятельной личной памятью о несравненно более полной и содержательной жизни на восхитительном солнце.

Тут уж я не смог сдержаться.

— Расскажите мне о вашей солнечной жизни. Чем вы тогда занимались? Мне почему-то кажется, что вы жили в своеобразной утопии, когда, кроме как нежиться на солнышке, вам и заняться больше было нечем.

Пламя рассмеялось, если можно назвать смехом безмолвное веселье и содрогание всего его тела.

— Разумеется, то было счастливое общество, но отнюдь не беззаботная утопия. Забот у нас хватало. Мы жили в бурном мире. Нашей естественной средой был поверхностный слой солнечной атмосферы, глубиной не более нескольких диаметров земли, непосредственно над океаном раскаленных облаков, который вы называете фотосферой. Как вам известно, этот океан пронзают бесчисленные пучины и водовороты, самые большие из которых вы видите и называете солнечными пятнами. Некоторые из них представляют собой ги-

гантские кратеры, в которые могли бы поместиться несколько планет размером с Землю; самые маленькие, не видимые вам, похожи на узкие воронки и расщелины, чуть шире самых крупных ваших городов. Из этих пучин, больших и маленьких, выходят огромные потоки газов, поступающих из ядра солнца. Их вы наблюдаете только во время полных затмений, но и тогда лишь у лимба солнечного диска — в виде гигантских, гротескной формы, пылающих огней. Вы называете их «солнечными протуберанцами». Вообразите себе мир, дно которого (тысячи миль под населенными уровнями атмосферы) представляло собой крайне яркий, неистовой силы белый огонь, а небо менялось от красноватого свечения протуберанцев до не имеющей резко выраженных особенностей тьмы открытого космоса. Вокруг нас, зачастую отстоящие на многие тысячи миль, но иногда совсем близкие и нависающие над нами, взметались другие протуберанцы, походившие на длинный шлейф слабого огня на фоне затемняющей горизонт багряной дымки.

— Но разве яркость фотосферы не ослепляла вас настолько, что вы переставали видеть свет менее яркий? — спросил я.

— Нет, — отвечало пламя. — Так уж повелось, что мы обладаем более универсальным, то есть гораздо легче адаптируемым зрительным восприятием, нежели вы. Вследствие действия некоего самозапускаемого процесса наши органы зрения практически невосприимчивы к сиянию, которое видится нам ярким, но не слепяще ярким. — После небольшой паузы пламя продолжало: — Плавающих высоко над раскаленными облаками не-

редко подбрасывали вверх устремлявшиеся в космос мощные потоки электронов, альфа-частиц и т.д. (надеюсь, я использую правильную терминологию?). Это давление являлось непостоянным, так что мы были подобны аэропланам или морским птицам в крайне «турбулентной» атмосфере. Но каждое такое возмущение атмосферы могло длиться либо пару секунд, либо несколько часов и даже дней. Иногда мы падали до опасной близости от фотосферы, где многие, конечно же, претерпевали разрушения в энергетических бурях этого слоя. Иногда неудержимые потоки уносили нас на тысячи миль вверх, в очень холодные зоны, где мы вполне могли погибнуть. Оттуда возвращались немногие. Почти все свое внимание нам приходилось уделять тому, чтобы удерживаться в пределах пригодных для жизни слоев. Но даже в этих слоях наш мир был столь бурным, что мы обитали в нем, словно ласточки, сражающиеся со штормовым ветром. Вот только дул этот ветер, как правило, снизу.

— Должно быть, вам и впрямь приходилось нелегко, — заметил я. — Но чем вы жили, к чему стремились, помимо этой постоянной борьбы за выживание? Чем заполняли свое время?

— Дать вам ясное представление о нашей ежедневной жизни не так-то и просто, — сказала пламя. — У вас преобладающая цель — это вынужденная экономическая деятельность; у нас же экономической деятельности нет вовсе. Нам не нужно искать пищу, не говоря уж о том, чтобы производить ее, так как мы живем в постоянном потоке живительной энергии. Труднее всего было защищаться от беспрестанной бомбардировки.

Представьте, что на человечество день и ночь изливается питательная манна, или вас бомбардируют хлебами и бифштексами. Вот только у нас этот живительный, но смертоносный дождь всегда шел снизу; мы находились в том же положении, что и стеклянные шарики, которые вы иногда можете видеть в фонтанах, балансирующими за счет направленного вверх напора воды. Но у нас этих фонтанов было бесконечное множество, и все они сообщались друг с другом. Вся атмосфера постоянно изливалась вверх. Так что, как видите, у нас не было ни необходимости, ни возможности манипулировать чем-либо за пределами наших собственных тел. В плане физическом нам было нужно лишь одно — избегать разрушительного воздействия нижней стихии или внешнего холода, поддерживая физическую близость друг с другом вопреки постоянному урагану. Что до остального, то мы были полностью сосредоточены на умственной, или, лучше сказать, духовной жизни. Сейчас я попытаюсь объяснить, что имею в виду, но прежде позвольте мне в который уже раз заверить вас в том, что наше духовное превосходство над вами отнюдь не дает нам ощущение того, что мы в каком-то фундаментальном или абсолютном отношении стоим выше вас. Мы обладаем определенными высокоразвитыми способностями, необходимыми для достойной жизни, вы обладаете кое-какими другими, не столь развитыми, но столь же необходимыми способностями, например, вашей поразительной интеллектуальной проницательностью и вашими практическими навыками и изобретательностью. Недавние изучения вашего вида показали, что мы можем только завидовать вашим возможно-

стям. Будь мы столь одаренными, мы бы столько всего смогли сделать — как для улучшения своего положения, так и для служения духу!

— Вы говорите, — прервал его я, — что ваши «духовные способности» ничем не лучше наших умственных и практических, и тем не менее заявляете, что ваша цель — «служение духу». Получается, духовное, по природе своей, стоит выше всего прочего.

— Ваша критика справедлива, — ответило пламя. — Она показывает, что вашему виду присуща куда бо льшая ясность ума, нежели моему, и в то же время куда меньшая духовная восприимчивость. Что я в действительности имею в виду? Дело, полагаю, вот в чем; но вы должны сказать мне, если я все еще путаюсь. Мы наделены гораздо более выдающимися экстрасенсорными способностями, нежели вы, и нам гораздо легче отстраниться от проблем личного «я». Нам легче постичь высоты и глубины духа. В каком-то смысле это и есть «духовные способности». Они очень тесно связаны с жизнью духа. Ваш смелый интеллект и практическая изобретательность связаны с жизнью духа не столь тесно, что, однако же, не уменьшает их значимости для полноценного его существования.

— А что насчет «служения духу»? Если это подразумевает служение какому-то божеству, то я не вижу оснований верить в такое существо.

— Нет, нет, я не это имел в виду, — ответило мне пламя с легким раздражением. — И (могу я выразиться так, не обидев вас?), если бы вы были чуть менее умны и одарены чуть более богатым воображением, вы бы поняли, что именно я хотел сказать. Вы, конечно, согласитесь,

что цель всего этого действия — пробуждение духа в каждом индивиду и в космосе в целом; пробуждение, я имею в виду, в том, что касается сознания, чувств и творческой деятельности. Вашу человеческую концепцию «Бога» мы находим никуда не годной. Нас, существ более тонкой духовной настройки, оскорбляют любые попытки описать неясное «Иное» в терминах, присущих смертным созданиям. Ваша интеллектуальная проницательность уже должна была бы привести вас к такому же выводу. Полагаю, мы и сами, если можно так сказать, «почитаем» Иное, но не артикулируя это или же посредством фантазий и мифов, которые, хотя и помогают почитанию, не несут никакой интеллектуальной истины о непостижимом.

Пламя умолкло. Молчал и я, так как мало что смог вынести из этих замечаний. Наконец я промолвил:

— Расскажите мне что-нибудь об истории вашей расы.

Какое-то время пламя еще пребывало в глубокой задумчивости, затем, распрямившись, сказало:

— Когда я впервые появился на свет, наш вид был уже вполне жизнеспособным: мои сородичи обитали почти по всему солнечному шару. Согласно расовой мудрости, главным на начальной фазе было постоянное размножение и выработка нашей культуры. За миллионы лет до моей эпохи (используя вашу земную систему исчисления) солнечные условия, по-видимому, были неблагоприятными для нашего образа жизни; но затем пришло время, когда для нас открылась ниша, после чего — мы и сами не знаем как — некоторые из нас пробудились разумными, но с совершенно «чистым» сознанием

существами, разбросанными по всей обширной территории фотосферы. Лишь старейшие оставшиеся в живых наши товарищи смутно помнят тот далекий период становления нашей расы, когда рассеянная популяция мало-помалу размножалась.

— Размножалась? — снова прервал его я. — Вы имеете в виду, они воспроизводили себе подобных?

— Вероятно, сколько-то случаев воспроизводства за счет выделений газов из отдельного тела действительно имели место; но широкое размножение тех дней было главным образом вызвано спонтанной генерацией новых наделенных сознанием язычков пламени самой фотосферой. Старейшины говорят, этот процесс представлял собой странное зрелище. Ключья раскаленного вещества, устремлявшиеся вверх из фотосферы, распадались на мириады ярких хлопьев, вроде ваших снежинок; и все эти хлопья являлись исходным материалом, если можно так выразиться, для организованного, наделенного сознанием индивида. Большинство из них были обречены на то, чтобы, так никогда и не достигнув зрелости, рассыпаться в солнечной атмосфере ввиду неблагоприятных условий. Но счастливчики под давлением обстоятельств принимали столь долговечные формы, что развивались в высокоорганизованные живые язычки пламени. Сначала заселение поверхности солнца происходило в находящихся на большом расстоянии друг от друга отдаленных районах. В результате появлялись и развивались обособленные народы — или мне следует называть их «видами»? Эти отдельные популяции были физически изолированы одна от другой, и каждая вырабатывала свой собствен-

ный образ жизни в зависимости от местонахождения. Но с самого раннего времени все народы состояли в некоей телепатической связи. Насколько помнится нашим старейшинам, представители каждого народа всегда поддерживали телепатический контакт по крайней мере с членами собственной нации или, скорее, расы, но интернациональной (или межрасовой) коммуникации мешали поначалу физиологические различия этих народов. В конечном счете настало время, когда все солнце оказалось занятым множеством разношерстных народов, состоящих в географическом контакте друг с другом и, разумеется, взаимопроникающих. Вся фотосфера, конечно же, представляет собой такое облако-океан, не обладающее постоянными свойствами, поэтому вопросов о национальных территориальных владениях или же какой-либо агрессии не возникало и не могло возникнуть. Но так как народы сильно различались в ментальной установке образе жизни и даже в телесной форме, всегда находился предмет для конфликта. Войн, однако же, не случалось — по двум причинам. Возможно, наиболее веская из них заключается в том, что не существовало никаких средств нападения. Одно пламя не может сражаться с другим, как не могут они и изобретать орудия. Но помимо повсеместного отсутствия вооружения, никто — вследствие быстрого развития экстрасенсорного восприятия — и не желал войны. Народы все чаще и чаще сходились во взглядах, и, какими бы ни были различия, война стала для них, как вы выражаетесь, «немыслимой». Но обширный период ранней истории был занят последовательным разрешением этих иногда весьма острых конфликтов интересов

и культур и разработкой гармоничной солнечной жизни.

Я поинтересовался у пламени, увеличилось ли в продолжение этого долгого периода солнечное население.

— По мере того как солнце старело, условия для самопроизвольной генерации живых язычков пламени становились все менее и менее благоприятными. Ко времени моего пробуждения фотосфера сделалась почти стерильной. Время от времени, то здесь, то там, она еще извергала материал для нескольких тысяч новых рождений, но постепенно даже эта слабая активность сошла на нет. В то время солнечная популяция была уже более или менее стабильной, хотя разместить на поверхности солнца можно было и куда бо́льшую. Каждый индивид теперь в полной мере пользовался непрерывно расширяющимися расовыми знаниями. Каждый являлся абсолютно частным лицом, но все они, для определенных целей, содержали в себе одну-единственную особенность — сознание расы, сознание (если можно так сказать) солнца, определенной звезды. С тех пор мы открыли кое-какие новые сферы познания, о которых я не имею права распространяться подробно. Мы все жили (и в этом было нечто забавное) двойной жизнью, самостоятельной и расовой. Как индивиды, мы были связаны бескрайней вселенной личных отношений между индивидами; с частными привязанностями, антагонизмами, сотрудничествами, всевозможными взаимными обогащениями; а также с вселенной художественного творчества в окружающей среде, о котором позднее я, возможно, смогу вскользь упомянуть. Интересовала нас и философия, но так как

интеллект никогда не был нашим сильным местом, наше философствование было — как бы сказать? — более образным и менее концептуальным, чем ваше, и носило художественный, мифотворческий, а стало быть, исключительно символический характер. Потом появилась религия, если это можно так назвать. Наша религия не имеет ничего общего с доктриной. Это просто способ приведения индивидуального духа в согласие с его собственным внутренним видением духа универсального — существует такая штука, как универсальный дух, в действительности, или же нет. У нас религия — это вопрос созерцания, эстетический ритуал, повседневное поведение. Вам это что-нибудь говорит? Если нет, помните, что я пытаюсь описать фантастически иностранным языком совершенно неопишуемые вещи, коим можно подобрать объяснение разве что в нашем собственном языке. Человеческие языки, все до единого, являются для нас абсолютно не пригодными, не только из-за их чуждых концептов, но также и потому, что сама структура языка чужда нашему образу познания.

Я неохотно согласился, хотя на самом деле сильно сомневался в том, что оно имело в виду. Затем я запросил дополнительную информацию об участии моего собеседника в расовом сознании. С минуту или две пламя молчало, а потом сказало:

— Было время, когда отдельный индивид, пробуждаясь, попросту обнаруживал, что обладает расовым разумом, разумом солнца, и что в этом образе существования он частично вовлечен в общение с сознаниями народов на других звездах или их планетах. Познание и

действие на этом уровне жизни отличались от индивидуального образа познания и действия столь же существенно, как жизнь одной вашей кровяной клетки отличается от вашей собственной жизни как человеческой особи. Пребывая в индивидуальном состоянии, мы не очень хорошо помнили опыт коллективного состояния, но он был связан с диссонансом и гармонией расового разума, и проработкой (если можно так выразиться) духовной музыки космоса. Не помня деталей всего огромного опыта, мы испытывали его сильнейшее влияние. Он побуждал нас видеть частную жизнь в истинной связи со всей остальной духовной вселенной, представляя ее одновременно и менее важной, и более существенной, чем она могла показаться; более того, ориентируя ее в направлении духа гораздо более твердо, чем это возможно у вас.

— Как это — менее важной и более существенной? — спросил я. — Что вы хотите этим сказать?

После некоторого раздумья пламя ответило:

— Менее важной потому, что, так как в космосе существует столь много мириад частных особей, судьба любой одной из них никак не повлияет на всю их совокупность; более же существенной потому, что даже в самых высоких своих сферах дух является достижением всех индивидов, всего их сообщества.

Все это было настолько непонятно, что я не могу ручаться за точность передачи. Но в тот момент я получил очень сильное впечатление о двух сферах индивидуального познания, одна из которых более или менее соответствовала нашему собственному, тогда как другая была совершенно иного порядка.

К этому моменту я уже порядком утомился, да и ящик для угля почти опустел. Я собрался было намекнуть, что пора бы и ложиться, но тут пламя заговорило снова:

— Для тех из нас, кто был оторван от солнца во время образования планет, все это великолепие расового познания на какое-то время сделалось недоступным. Физические условия ухудшились настолько, что наши экстрасенсорные способности не могли подниматься выше уровня обычной телепатической связи с другими индивидами. Новую возможность поддерживать расовый разум, но уже в гораздо меньших объемах, мы получили лишь после того, как обжились на расплавленных планетах и достигли нового, но более скудного, равновесия. И хотя как отдельные особи мы теперь опять могли участвовать в коллективной мудрости нашей расы, разум самой расы (который, конечно же, есть не что иное, как наши собственные умы, но только объединенные и «усиленные» за счет тесного духовного общения) почти полностью утратил способность устанавливать контакты с другими расовыми умами. Мы практически ничего о них не знаем и лишь смутно ощущаем их присутствие; наш расовый разум — словно человек, сидящий в темной тюрьме и вслушивающийся в неясные звуки доносящихся снаружи голосов.

Пламя замолчало, но едва я открыл рот, чтобы положить конец нашей беседе, как оно снова продолжило:

— Солнечное возмущение, ставшее причиной возникновения планет, было чем-то совершенно неожиданным и ошеломляющим. Для нас — ссильных — оно стало величайшим и трагическим переломным моментом не только личной жизни, но и истории. Широкий

протуберанец, оторвавшийся от поверхности солнца, унес с собой десятки миллиардов моих сородичей. Образно выражаясь, мы и ахнуть не успели, как потеряли знакомый нам мир. Огромный «водяной смерч» в конечном счете отделился от солнца и вытянулся в струйку пламени, уходящую в сторону от вращающейся солнечной сферы. Температурные условия, да и режим атмосферного давления, стали крайне неблагоприятными. Несметные миллионы погибли. Струйка быстро конденсировалась в десять крупных капель, каждая из которых представляла собой одну из планет, шар раскаленной жидкости, окруженный глубокой атмосферой горячих газов. Для нас, толпившихся вблизи от поверхности наших новых и едва теплящихся миров, главной проблемой был смертельный холод. После солнечного климата, земной оказался арктическим. Не сомневаюсь, наши собратья на других планетах страдали не меньше. Не знаю, сколько еще миллионов нас были убиты этими новыми планетарными условиями, но уж точно большинство из тех, что выжили во время путешествия от солнца. Сначала мы жили в состоянии бессловесной дремоты, или полного забытья, на нынешней поверхности океана раскаленной лавы, но постепенно наша поразительно гибкая натура приспособилась к новому окружению. Мало-помалу мы снова пробудились, хотя уже и не до интенсивной яркости, которая, как мы все еще смутно помнили, была присуща нашей солнечной жизни. В дальнейшем нам удалось вернуться на прежние высоты философии, искусства, личной гармонии и тесного духовного общения, а также религиозного познания, и каждый новый опыт при-

ходил к нам с навязчивым ощущением фамилльярности и подозрением, что новая версия является лишь плохо продуманным и частичным суррогатом старой.

Пламя снова на какое-то время умолкло, и я уловил глубокую ностальгическую печаль в его разуме. Казалось, оно совершенно забыло о моем существовании. Мне не хотелось беспокоить его; но огонь угасал, а я страстно желал вернуться к обсуждаемому вопросу.

— Вы только что упомянули о ваших собратьях на других планетах. Как им там жилось? — спросил я.

— Сначала — почти так же, как нам. В силу схожести наших условий и наших одинаково «урезанных» умственных способностей, поддерживать с ними контакт нам было гораздо легче, нежели с солнечной популяцией. И все же в одном отношении их участь отличалась от нашей. Люди — единственная разумная раса, произведенная какой-либо из планет. Когда они вышли на уровень экстенсивного использования огня, мы, земные язычки пламени, извлекли из этого огромную пользу. Наша популяция увеличилась, и мы достигли подлинного культурного прогресса, главным образом через изучение человеческого разума и поведения. Наши сородичи на других планетах не имели такой возможности. Когда их миры охладились, они либо уснули, либо были намертво скованы подземной лавой. За исключением редких случайных событий, вроде вулканического извержения, когда у некоторых, безусловно, на какое-то время прояснялось сознание, они так и остаются в плену сна; целые популяции «спящих красавиц», ожидающих поцелуя принца. Возможно, когда-

нибудь мы, более удачливые, сумеем им помочь — но не без вашей помощи.

Пламя теперь нуждалось в горючем, поэтому я вывалил в камин все, что оставалось в ящике, осторожно восстанавливая прежнюю конструкцию над центральным просветом и оставляя отверстие, через которое можно было видеть живое пламя. Занимаясь этим, я сказал:

— Все, что вы мне рассказали, — чрезвычайно интересно, и я с удовольствием слушал бы вас всю ночь. Но огонь скоро окончательно погаснет, а угля у нас больше нет. Разумеется, я надеюсь, что обязательно наступит такое время, когда человечество сможет помочь пламенной расе осуществить эту великую спасательную операцию, но, судя по всему, это случится еще в весьма отдаленной перспективе. Пока же, быть может, вам лучше открыть мне, чего именно вы хотите от *меня*, чтобы я мог обдумать это завтра и выработать какой-нибудь план действий, пока буду бродить по холмам?

Ответ был таким, что лишь усилил и так уже постепенно нараставшее во мне беспокойство. С тех пор как пламя начало говорить со мной непосредственно по-английски, я лишился возможности улавливать его невыраженные мысли, которые прежде буквально втекали в мой разум. Была ли эта недоступность неизбежным следствием достижения им более высокого уровня сознания в общении с расовым разумом или же просто умышленной сдержанностью с его стороны? Уж не прятало ли оно мысли, которыми не желало со мною делиться?

Его ответ на мой запрос относительно того, чем именно я могу быть ему полезен, только укрепил меня в моих подозрениях.

— Нет! — сказала пламя. — На столь ранней стадии, как я уже успел понять, мои откровения касательно того, как именно вы можете помочь нашему роду, могут стать для меня фатальными. Сначала между нами должно установиться полное доверие. Мне нужно дать вам неопровержимое доказательство того, что те вещи, которые вы считаете самыми важными и замечательными, и для моего вида, несмотря на все наши различия, тоже важны и замечательны.

Я возразил, что оно уже заручилось моим доверием, но пламя стояло на своем.

— Нет! — сказала оно. — Вы мне симпатичны, но я еще не завоевал ваше сердце настолько, чтобы можно было заявить с уверенностью: да, он готов биться за наше дело, как за свое собственное!

Я заверил его, что хотя многим из нас, вероятно, и была бы неприятна мысль о том, что на одной с нами планете существует какая-то другая, разумная, но совершенно отличная от нас раса, те, кто взял бы на себя труд серьезно поразмыслить над природой сознания, несомненно, ощутили бы исключительно родство со всеми существами, сознающими себя личностями. Я зашел так далеко, что заявил: уж по крайней мере мы, телепаты, сделаем все возможное, чтобы помочь разумным язычкам пламени в их нынешнем горе.

— Хорошо, очень хорошо! — проговорило пламя. — Но не давайте опрометчивых обещаний, прежде чем я изложу вам все дело. Необходимо, чтобы ваше



сотрудничество было добровольным и искренним. Возможно, вы действительно уже осознали, сколь непохожи наши виды, и теперь я должен попытаться убедить вас, что, несмотря на все наш различия, в душе мы — существа родственные, так что давайте перейдем к сути вопроса. Вам, человеческому индивиду, известно, что такое любовь; известно это и мне, живому пламени. И раз уж мы оба потерпели в любви неудачу, между нами должна установиться особая симпатия. Как и я, вы были счастливы найти подругу, с которой заключили счастливый и живительный брак. На протяжении многих лет ваша зависимость друг от друга становилась крепче и приятнее. Вы сплетались в единое целое. Вы вполне познали глубокую, спокойную страсть взаимных ласк и



взаимного возбуждения, пикантное удовольствие в бесконечном различии и ярко выраженной неповторимости. И вы нашли в этом познании личной любви некий высший смысл, недоступный для ваших двух эфемерных «я», не так ли? Разве я не говорю, как тот, кто знает, что такое любовь?

— Вы выражаетесь теми же самыми словами, которыми часто выражался я. Если вы не выкрали их из глубин моего сознания, если они действительно ваши, то вы, безусловно, знаете, что такое любовь.

Никак не прокомментировав мою реплику, пламя продолжало:

— Потом, на середине жизни, совершенно внезапно и беспричинно, ваша любовь разбилась вдребезги. Не из-за вмешательства другого человеческого существа, но

всего лишь из-за вашей одержимости исследованиями. Из-за того, что ни один из вас так и не познал себя самого или другого достаточно глубоко, ваша любовь, в конечном счете, не выдержала напряжения этой дисгармонии. Вы, следуя своим наклонностям, с головой погрузились в огромный новый океан познания; а она, робко замочив ноги по щиколотку, вышла из воды. Вы манили ее к себе, но ничего не сделали для того, чтобы помочь ей последовать за вами, так как были одержимы. Ваша былая любовь какое-то время еще позволяла вам держаться вместе, но она была не из тех женщин, что готовы к вашим приключениям. Ей казалось, что вы сходите с ума. В итоге... да, она потеряла вас в этом океане. Я прав? Все ведь было именно так?

На мгновение я лишился дара речи при мысли о том, что столь инородное существо может знать обо мне так много. Меняхватило лишь на то, чтобы пробурчать нечто невнятное в знак согласия.

— Со мной, — продолжало пламя, — случилась другая беда. Даже не знаю, сколько миллионов земных лет я прожил с моим дражайшим спутником в ярком мире солнца. Как и вы двое, мы тоже были на удивление разными; он — общительный, наделенный даром заводить тысячи друзей, я — посвятивший себя духовной науке. После столь долгого союза любовь достигает немыслимой для вас гармонии; тем более при наличии телепатического контакта. Мы делились буквально каждой мыслью, каждым мимолетным, неясным образом, и все же мы были не отдельным, соединившимся «я», но оставались существующими в тонкой гармонии «мы». Делясь каждым опытом, каждым переживанием, каж-

дой мыслью, движением и желанием, каждый из нас сохранял «свое». Мой спутник лучше всего проявлял себя в восхитительных концептах пламенного танца и массовой хореографии, но выполнял и офисную работу, связанную с лечением пострадавших от суровости климата в нижних или верхних слоях. Через него и я (хотя и, в силу моей натуры, в одиночку) обзавелся тысячью друзей. Беря его таланты и умения, я обогащался и его пониманием сути вещей. Его милосердие и смелость в спасательной работе формировали меня так же, как если бы эти качества демонстрировал я сам. Я же, в свою очередь, отдавал ему мои познания в духовной науке.

Воцарившееся молчание длилось так долго, что в конце концов я, не выдержав, спросил:

— И, однако же, все кончилось плохо, да?

— Когда сформировались планеты, — ответило пламя, — он (или, быть может, вы полнее осознаете масштаб катастрофы, если я скажу «она») остался там, на солнце. Какое-то время нам еще удавалось общаться телепатически. Расстояние, как вам известно, не является помехой для экстрасенсорного восприятия. Совсем недолго, как мне казалось — хотя на самом деле, конечно же, на протяжении тысяч лет, — я жил двумя жизнями: жалкой — на расплавленной планете и полной жизнью моего возлюбленного в знакомых условиях на солнце. Но, как вы уже слышали, земным ссыльным и солнечной популяции становилось все труднее и труднее поддерживать контакт, и в конце концов связь оборвалась. Мало-помалу соединявшие нас нити оборвались, и нам пришлось мучительно и постепенно при-

выкать к самодостаточности. Теперь нас объединяют лишь воспоминания.

Пламя замолчало, и я сказал:

— В вашем случае потеря была ударом судьбы; в моем — следствием моего упорства в болезненной одержимости.

— Да, вы были одержимы и не могли поступать иначе, как только следуя вашему вдохновению. Возможно, будь вы благоразумнее, вы бы не потеряли вашей любви. Но чего еще ожидать от эфемерных, эгоистичных существ, одержимых силой, несоразмерной их мудрости?

— Силой, несоразмерной их мудрости? Какая еще сила владела мною, если не обычная жажда научного поиска?

Не ответив на мой вопрос, пламя развивало свою тему.

— Понесенная вами и мною утрата не озлобила ни вас, ни меня. Возможно, теперь, после нее, мы острее осознаем, что такое любовь, каким может быть братство. Возможно, она подготовила каждого из нас к главной в нашей жизни работе — установлению общности между нашими двумя видами, сколь бы разными они ни были.

— Да, — сказал я, — и чем больше между нами различий, тем богаче будет общая жизнь, пусть даже одни из нас — люди, а другие — язычки пламени.

Я ощутил тепло его признательности.

— Мне еще многое нужно сделать, чтобы вы осознали: наш вид реально существует, — продолжало пламя. — Как и у вас, наше физическое существование зависит

от физических процессов. Из вашей науки мы узнали, что если у вас жизнь зависит от химических изменений, то наши физиологические процессы схожи, по сути, с радиоактивными изменениями в фотосферах звезд. На солнце, как я уже говорил, мы жили в среде, где наши газообразные тела постоянно испытывали яростное воздействие физической энергии. Большую опасность представлял динамический удар нарастающей силы, грозивший разрывом газообразного тела. В те дни подпитка происходила сама собой, бессознательно, как у вас дыхание. Но в зыбких кострах земли, как вы уже видели, нам приходилось постоянно перемещаться над тлеющими угольками, расщеплять некоторые их атомы и поглощать выделяющуюся радиацию. Более подробного рассказа о наших физиологических процессах от меня не ждите — я ничего не знаю. Все научные знания о собственной природе мы получили, применив к опыту нашей телесной жизни принципы, позаимствованные у вашей науки через умы ваших ученых. Обладая мы вашей физической силой, возможно, мы тоже смогли бы создать экспериментальную науку. Но нет; в газообразном солнечном мире не за что держаться, там нет ничего прочного, а стало быть, нет и никаких возможностей для проведения экспериментов. На земле нам пришлось столкнуться с твердым состоянием, но мы избегали смертельного холода и потому не развили органов, с помощью которых могли бы оперировать с твердыми телами.

И еще одно вам следует знать о нас. Так как потенциально мы бессмертны, размножение для нас — процесс редкий. Вернее сказать, есть два вида размножения.

Наименее распространенный проходит на добровольной основе. Отдельное пламя делится, сверху донизу, на три сегмента, и каждый из них образует готового нового индивида. Этот вид размножения отличается от другого, о котором я упоминал ранее. Засыпая от холода или умирая внезапно, мы осыпаемся пылью. Некоторые частицы этой пыли, отделенные от других и перенесенные ветром в тот или иной костер, могут развиваться в новых особей. Этот процесс гораздо более медленный, чем первый, но в результате от одного родителя могут появляться на свет сотни отпрысков. Газообразное деление никогда не производит больше трех, но эти индивиды сразу переходят в стадию физической зрелости, наследуя к тому же часть прошлого опыта родителя. Они помнят многое из его прошлой жизни, поэтому их воспитание через экстрасенсорный контакт со старшими проходит очень быстро. Рожденные из пыли, с другой стороны, развиваются медленно, с большими трудностями и не помнят родительского опыта. До достижения физической зрелости их экстрасенсорные способности крайне незначительны.

Тут я поинтересовался, играет ли секс какую-то роль в их размножении.

— Нет, — сказала пламя. — Фактически, мы не сексуальные существа, по крайней мере — не в привычном смысле. У нас нет двух разных полов, мужского и женского, которые бы вместе участвовали в воспроизведении. Даже в вашей половой жизни есть еще один аспект, помимо размножения, — я имею в виду личную любовь. У вас сексуальная любовь, в лучшем своем проявлении, есть движитель духовного союза двух различ-

ных личностей. А у нас, хотя мы и не разделены на два пола, каждый индивид — это вариант двух начал, которые вы называете мужским и женским. Таким образом, у нас частная мускулинность одного из партнеров тяготеет к частной женственности другого, и наоборот. К тому же, как я уже говорил, у нас существуют формы приятного телесного контакта и смешения, которые (хотя они и не ведут напрямую к размножению) позволяют нам достигать невыразимого взаимного наслаждения и обогащения. И даже когда возникает необходимость в увеличении популяции в целях компенсации последних потерь в живой силе, те индивиды, которых расовый разум уже вдохновил на приобретение родительского статуса, действительно перед размножением зачастую ищут телесного союза с любимыми. Бытует представление, что в таком случае потомство получается более здоровым. Естественно, у этих отпрысков развиваются некоторые характерные черты того партнера, в объятиях которого побывал их родитель.

Пламя уже убывало.

— Я мог бы слушать вас всю ночь, но у нас кончился уголь. Почему бы вам наконец не сказать мне, чем я могу вам помочь?

— Было бы неразумно поступать так до тех пор, пока я хотя бы не намекну вам на то, в чем мы не просто равны с вами, но даже вас превосходим. А сделать это так, чтобы не унижить ваш вид, непросто. Но поверьте, мы не утверждаем, что превосходим вас во всем — разве что нам свойственно более полное проявление кое-чего гораздо большего, чем мы сами, — духа. Сами по себе все мы — лишь инструменты переменных степеней эф-

фективности. Одни условия позволили всем нам стать тем, что мы есть; другие позволили вашему виду развить практические умения и интеллектуальную мощь гораздо более полно, нежели моему. Среда благоприятствовала нам в достижении более высокого уровня духовной восприимчивости. Мы не ставим себе это в заслугу. Мы высоко ценим не нас самих, как отдельных особей или как расу, но дух, для которого мы — и вы тоже — являемся инструментами, сосудами. Мы признаем, что вы, при всех ваших трагических трудностях, проложили дорогу, которой мы затем, с гораздо большей легкостью и успехом, и последовали. Хотя сегодня вы представляетесь нам неспособными совершить большее, нежели сделать один робкий шаг, а потом отступить назад (и, конечно же, вы вполне можете уничтожить себя, если только мы вам не поможем), вы все же способны достичь успеха и, может быть, в преодолении трудностей утвердить даже более восхитительное проявление духа, чем то, на которое способны мы одни. Пока мы в этом отношении сильно вас опережаем. Возможно, нам удастся отплатить вам за ту практическую помощь, которой мы от вас потребуем, содействием в решении некоторых из ваших безнадежных духовных проблем.

Пламя употребило именно это слово — «потребуем». Это как могло подразумевать принуждение, так и нет. Я сказал себе, что принуждение совершенно чуждо характеру пламени, но, несомненно, испытал легкий приступ страха. Так или иначе, я тотчас же выбросил это из головы. Вероятно, существо еще не достаточно хорошо усвоило английский язык, чтобы осознать всю дву-

смысленность этой фразы. Я с тревогой спросил себя: а известно ли ему, о чем я сейчас думаю?

Тем временем пламя заговорило снова:

— Вы один из немногих в вашем, человеческом, роде, кого глубоко трогает искусство. Я бы не смог ввести вас непосредственно в наше эстетическое восприятие, поскольку оно слишком чуждо для вас; но я могу продемонстрировать наши артистические способности, предложив вам эстетический опыт восприятия самого изысканного и многообещающего из доступных вам видов. Строго говоря, самостоятельно воспринять это вы не способны, но я могу немного повысить — по сравнению с обычным уровнем — вашу восприимчивость. Я выведу вас на высоты, превосходящие возможности человека. То, что я намерен вам показать, является, в каком-то роде, переводом, очень приблизительным переводом, некоего произведения одного из наших величайших артистов. В исконной форме оно расценивается как своего рода образец, но при этом образец относительно простого рода. Я выбрал его именно по этой причине. Его значение почти полностью соответствует сфере эстетического восприятия, свойственной как нашему виду, так и вашему. Однако же, поскольку чувственный ряд оригинала — наш, а не ваш и должен быть преобразован, дабы вы поняли ассоциации, почти всей оригинальной эстетической формой придется пожертвовать. Насколько это возможно, я постараюсь выбрать такие форму и ритм, которые имеют смысл для вас и эквивалентны оригиналу. Я представлю нечто большее, нежели буквальный, но «прозаический» перевод нашей великой «поэмы», если можно так выразиться, хотя в

сравнении с оригиналом, моя версия неизбежно является тусклой и не вполне верной. Тем не менее, полагаю, я смогу преподнести вам нечто такое, что будет иметь для вас истинную эстетическую ценность и что позволит вам постичь дух моей расы глубже, чем десятки разговоров.

— Не думаю, что такое возможно, — сказал я. — Но я весь внимание.

И тут, Тос, пламя продемонстрировало мне нечто удивительное. Естественно, я не могу передать тебе это словами, но постараюсь описать то, что происходило со мной. Боюсь, правда, что ты, с твоим строго классическим вкусом, заподозришь меня в излишней эмоциональности, однако я должен высказать то, что думаю. Один за другим, в моей голове начали возникать визуальные и слуховые образы, ритмично перемещавшиеся на неясном фоне образов из всех прочих человеческих ощущений.

Время от времени на передний план выходил тот или иной образ, в первую очередь осязательный или обонятельный. Присутствовали там и яркие вспышки физической боли и сексуального наслаждения. Я не имею в виду, что эти образы были просто собраны в бессмысленные узоры. Нет! Они сделались средством выражения всевозможных личных и общественных, а также религиозных страхов и надежд. Казалось, я слушаю странную аранжировку всех знакомых ощущений, со звучащим то тут, то там эхом чужого опыта, известного мне лишь через контакт с разумом самого пламени. Иногда я улавливал также человеческие слова, ритмически выражавшие смысл музыки. Все это сплеталось



воедино в периодически повторявшемся, но постоянно варьиовавшемся ритме, и в результате этого потока мысленных образов, столь по-человечески трогательных, столь трагических, столь триумфальных, столь напитанных печалью и смехом, я ощутил (признаюсь честно, такого я никогда не испытывал) весь напор вселенной на дух отдельного индивида.

Понимаю, Тос, что занимаюсь словоблудием, но поверь мне: я получил потрясающий эстетический опыт. Представь отдельно взятую эстетическую форму, заключающую в себе чувственную красоту живописи, музыки, поэзии и драмы, а также искусств более скромных. Представь, что высоты, открытые Бахом и Шекспиром и самым выдающимся — любым, каким тебе будет угодно — живописцем, взяты поочередно или все вместе. Представь, что это все достигнуто в рамках единого художественного произведения. Ты не сможешь, конечно же, представить ничего подобного. (Как не мог и я.) Более того, будучи приверженцем строгости и экономичности классического идеала, ты содрогнешься от моего эмоционального романтизма. Но поверь: ничто другое не трогало меня так глубоко и сильно, как в эмоциональном, так и в интеллектуальном плане.

Когда все закончилось, я, должно быть, не сразу пришел в себя и очнулся, лишь услышав такие слова пламени:

— Судя по всему, я преуспел даже больше, нежели смел надеяться.

Мне показалось, что собеседник добродушно посмеивается надо мною.

— Прошу не забывать, — продолжал он, — что вы всего лишь познакомились с произведением искусства. Не думайте, пожалуйста, что вам было какое-то мистическое откровение, если только не считать, что все искусство имеет некий мистический аспект, поскольку дает ощущение постижения новых ценностей. Представленное вам было лишь нечетким, искаженным отражением оригинала, но если вы осознали фундаментальное сходство и родство наших двух видов, значит, оно достигло цели.

— О да, вы помогли мне понять это! — запинаясь, пробормотал я. — Но не только это — гораздо больше! Вы помогли мне увидеть Бога, Бога красоты, правды и великодушия! Теперь я верю в него.

— Чушь! — отрезало пламя. — Вы не видели «Бога». И я не пытался помочь вам увидеть «Бога». Просто вы пережили нечто волнующее и очищающее, а потому убедили себя, что вам было откровение из самого сердца вселенной. Никто из нас ничего не знает о «Бог», и нет ничего, что заслуживало бы такого имени. Концепты обоих наших видов слишком нескладны, чтобы проникать в глубины или достигать высот, где «Бог» есть или его нет. Я всего лишь предложил вам более чистое восприятие красоты, правды и великодушия, ощущение потусторонней тайну, которую некоторые из ваших сородичей называли «сияющей тьмой», «огненным холодом», «красноречивым молчанием».

Получив заслуженный нагоняй, я произнес:

— Вы, несомненно, правы. Но скажите, неужели я все еще недостаточно подготовлен к тому, чтобы услышать, чем именно могу помочь вашему виду?

— Да, пока еще недостаточно, — ответило пламя, — но завтра вечером, полагаю, вам уже можно будет это открыть. Проведите день в размышлениях над тем, что вы узнали. Вы не должны ничего решать поспешно или под непосредственным влиянием сильных эмоций. Все это дело следует рассмотреть беспристрастно и после надлежащего обдумывания решить, готовы ли вы к свободному и открытому сотрудничеству с пламенной расой. Так что, спокойной ночи! Приятной прогулки в горах!

Огонь быстро угасал, и мой странный друг принялся обследовать огнеупорные кирпичи у задней стенки камина в поисках подходящей для безопасного сна расщелины. Пробормотав что-то насчет усиливающегося холода, он наконец нашел то, что хотел, попрощался со мной и словно погрузился в кирпич.

После жаркой гостиной, спальня встретила меня арктическим холодом. Я поспешил забраться в постель. От поразительных впечатлений разболелась голова, и я уже ожидал бессонной ночи. Но, должно быть, быстро уснул и спал крепко, так как проснулся от утренних звуков хозяйственного двора.

После завтрака я старательно перенес вечерний разговор на бумагу, подивившись, что он запомнился столь явственно. Судя по всему, пламенный народ все еще помогал моей памяти.

Гулять на возвышенности я отправился лишь после ланча. Прогулка запомнилась разве что ощущением присутствующего повсеместно холода. Мысли мои снова и снова возвращались к недавним удивительным впечатлениям. В частности мне не давал покоя такой

вопрос: почему пламя отложило на более поздний срок просьбу, которая, очевидно, и была причиной всего нашего разговора? Несмотря на некоторые моменты подозрения и беспокойства, в моем отношении к новому другу преобладали уважение и привязанность, основанные на уверенности в том, что его раса в каких-то важных вещах действительно превосходит человеческую. Безусловно, то была привилегия — быть выбранным в качестве посредника для установления отношений гармонии и сотрудничества между нашими двумя видами.

Снедаемый любопытством, я вернулся на ферму еще засветло, но обнаружил, что меня уже ждет растопленный камин; и в самом его сердце я увидел моего сияющего друга, снующего взад и вперед по раскаленным докрасна, даже добела, углям. Ответив своим приветствием на мое, он предложил нам обоим утолить голод, перед тем как продолжить беседу. Во время трапезы я пару раз пытался втянуть его в разговор, но он, похоже, не был расположен отвечать. Немного времени спустя он объяснил, что вопрос поглощения пищи, к чему его тело еще не адаптировалось надлежащим образом, требует полной концентрации.

Когда со стола убрали, я в ожидании уселся напротив камина. Вскоре пламя остановилось в самой жаркой точке и подхватило нить вчерашнего разговора.

— Ну, как прошел день? Удачно? — спросило оно.

— Да! Я побывал в мире такого холода, какой вы и представить себе не можете. И теперь хотел бы услышать, чем могу вам помочь.

Пламя ответило не сразу, а когда в конце концов взялось объяснить мне мою задачу, то сделало это с явной неохотой.

— Прежде всего, должен сказать, — начало оно, — что нам очень помогла ваша недавняя война. Конечно, нам тяжело понимать менталитет, который находит удовольствие в войне. У нас никогда не случалось ничего подобного. Тот факт, что вы допускаете войну, подтверждает примитивный уровень вашей восприимчивости. Тем не менее, с нашей точки зрения, ваша война благоприятствовала нам. Она вызвала большие пожары, в которых развивались наши споры, и в которых наша раса смогла пусть ненадолго насладиться жизнью более счастливой, чем все то, что было возможно для любого из нас на протяжении миллионов лет. Именно в пожарищах Лондона, Берлина и других городов мы наконец получили энергию и возможность, необходимые для приобретения практического постижения вашей нынешней культуры через интенсивное экстрасенсорное изучение всех ваших ведущих умов. За годы войны наша популяция временно увеличилась в тысячу раз; к тому же высокая температура, установившаяся в крупнейших пожарах, позволила некоторым из нас прожить какое-то время с той интенсивностью и скоростью мыслительного процесса, которые обычно невозможны на земле, за исключением немногих больших печей. Но, конечно же, вы изо всех сил старались потушить эти пожары как можно скорее, и, хотя время от времени нам удавалось отбивать ваши атаки, получаемая таким образом отсрочка оказывалась незначительной.

Здесь я прервал пламя, спросив, как именно его сородичи противостояли усилиям наших пожарных.

С некоторым нежеланием, как мне показалось, мой собеседник ответил:

— Живое пламя может умышленно перелететь из своего огненного окружения на какой-нибудь легко воспламеняющийся материал и тем самым вызвать новый огонь. Но поступив так, оно почти наверняка погибнет от внезапного холода. Если бы я решился на подобный поступок, я бы, вероятно, сумел достичь этих тюлевых занавесок, прежде чем умереть. Процесс был бы крайне болезненным; а при таком расстоянии шансы на выживание были бы крайне невысокими. Но, конечно же, мне бы удалось поджечь дом, а так как где-нибудь в здании, вероятно, нашлись бы несколько спор, то пробудившиеся новые индивиды установили бы контакт с расовым сознанием и провели короткую экстрасенсорную работу того или иного рода. Безусловно, с моей точки зрения, игра не стоила бы свеч. Как не стоила бы она свеч и с точки зрения всей нашей расы. Более того, как я уже говорил, нам бы очень не хотелось вступать в конфликт с вашим видом, если этого можно избежать. Прежде всего, мы ищем вашей дружбы и вашего добровольного сотрудничества. От вас нам будет куда больше пользы, если вы будете действовать по собственному желанию, нежели по принуждению, каким бы оно ни было. Возможно, мы и могли бы причинить вам значительные неприятности, охватив огнем все ваши города, но наш триумф был бы коротким. К тому же, это стало бы нарушением нашего самого священного принципа.

Нет! Мы должны привлечь вас не силой, но убеждением.

Пламя сделало паузу и, если мне не померещилось, вздохнуло.

— Те дни массированных налетов, — сказала оно, — были прекрасными днями; прекрасными, по крайней мере, в сравнении с нашим нынешним стесненным положением. Тысячи и тысячи нас — да нет, многие миллионы, спят, замерзшие, среди обугленных развалин ваших строений, особенно в Германии, где пожары были самыми экстенсивными и продолжительными. Концентрация наших спор в атмосфере сейчас в разы превышает довоенную.

— Вам едва ли стоит надеяться, что человечество в знак гостеприимства будет постоянно поджигать свои города, — неловко пошутил я.

— Конечно, нет, — сказала пламя, — но у нас есть куда более амбициозный план, присоединиться к которому, как мы считаем, пожелаете и вы сами. Ваши ученые недавно открыли способ высвобождения энергии, заключенной в атоме. С помощью этой титанической силы вы уже планируете преобразить облик планеты для собственного удобства. Мы рассчитываем, что вы употребите часть новой энергии и вашу практическую изобретательности на то, чтобы обеспечить нас достаточно обширной зоной постоянной высокой температуры, скажем, в Центральной Африке или Южной Америке. Мы пока не в полной мере поняли ваши последние достижения в области физики, но убеждены, что вы в состоянии устроить для нас подобный дом, территорию в несколько сотен квадратных миль с температурой чуть



больше, чем в горне. Тогда у нас появилась бы основа для достижения более удовлетворительного образа жизни, чем это возможно сейчас. Что еще важнее, высокая температура значительно повысила бы наш уровень мышления, вследствие чего мы могли бы вновь достичь нашей солнечной мыслительной ясности и, возможно, установить телепатическую связь с солнечной популяцией, если таковая все еще существует. Мы и сейчас пытаемся это сделать, но в нынешних стесненных обстоятельствах это едва ли возможно. Мы также могли бы возобновить нашу прошлую работу по физическому исследованию космоса. Даже если эти благородные начинания останутся невозможными, мы сможем, по крайней мере, создать систему спасения наших сородичей, выброшенных на поверхность земли вулканическим извержением. И в надлежащее время, когда люди разработают средства межпланетных путешествий, мы распространим эту систему на другие планеты. Разумеется, некоторые из тех миров, которые вы полагаете заброшенными, также можно будет преобразовать в сферы высокой температуры, заселенные крупными пламенными популяциями. Все это, конечно, в очень далекой перспективе. Ближайшей задачей для вашего вида является создание приемлемого для нас дома здесь, на земле.

Пламя, похоже, ждало отклика.

— Что касается лично меня, — сказал я, — то я с удовольствием поддерживаю этот план; но, боюсь, убедить правительства наших Великих Держав согласиться на что-либо подобное будет практически невозможно. Они не могут объединить усилия, чтобы покончить с голо-

дом по всему миру, не могут договориться даже о предотвращении войн, которые способны уничтожить весь человеческий вид. Более того, вся эта тема столь далека от повседневной жизни обычных мужчин и женщин, что пробудить в них интерес к ней практически невозможно. Простому человеку — если его вообще удастся убедить в подлинности вашей истории — сама мысль о помощи столь инородным созданиям, как живые язычки пламени, покажется донкихотской и даже опасной.

— Донкихотской? — прервало меня пламя. — Что это значит? Судя по всему, в моем знании вашей культуры все еще наличествуют серьезные лакуны.

Когда я объяснил, мой собеседник заметил:

— Мы не просим дать нам что-то в обмен на ничто. В свою очередь, мы предлагаем вам спасение человечества, если можно так выразиться. Как я уже вам говорил, пусть в физической науке мы новички, наша наука духа развита гораздо лучше, чем ваша. И это убеждает нас в том, что без какой-либо духовной помощи извне ваш вид обречен. Беда не только в том, что вы обрели силу прежде, чем обрели мудрость. Проблема здесь куда более глубокая, чем временная нестыковка. Как и у многих других разумных видов, разбросанных по всему космосу, сама ваша натура обрекает вас находить силу, не находя мудрости, — кроме случаев внешней помощи. Как выразился один ваш писатель, человек — это всего лишь птеродактиль духа, а не настоящая птица, созданная для полета. Мы предлагаем вам постоянное духовное водительство и укрепление, вследствие чего вы, и как отдельные индивиды, и как раса, сможете наконец побороть свойственные вам близорукость и духов-

ную убогость. С нашей помощью, но не без нее, вы подниметесь на новый уровень познания; и в свете этого опыта сможете организовать наш общий мир для счастья наших двух видов и во славу духа.

Тут я хотел вставить пару слов, но пламя не дало мне такой возможности.

— Мы видим, — сказало оно, — эту планету как симбиотический организм, поддерживаемый в равной обоими нашими видами, объединенными во взаимных потребностях и надеждах. Какое славное мировое сообщество мы образуем вместе! Сплоченные в духе, мы останемся столь разными в наших расовых идиосинкразиях, что каждый из партнеров будет полностью преобразен и оздоровлен общением с другим. Вы, с вашей стороны партнерства, будете использовать все ваши поразительные интеллектуальные и практические способности (которым мы так завидуем и которыми так восторгаемся) для изменения планеты с тем, чтобы как вы сами, так и мы имели полную возможность самовыражения в сотрудничестве друг с другом. Научившись, через нашу помощь, яснее понимать и проникновеннее ощущать те истинные ценности, которые вы даже сейчас распознаете с трудом, вы измените не только планету, но само человечество и, возможно, наш вид тоже. Быть может, мы потребуем, чтобы вы создали технологию для изменения нашей собственной физиологической природы, поскольку любая среда, которую вы создадите для нас, скорее всего, будет лишь умеренно благоприятной, если только мы сами не научимся радикально к ней приспособливаться. Какой бы замечательной ни была наша природная адаптивность, у нее есть

строгие границы. Что до вас, то вы перестанете быть недовольными, растерянными, ожесточенными, злопамятными духовными уродами, каковыми большинство из вас сейчас является. Под нашим руководством вы так измените весь свой образ жизни, что всем этим несчастьям придет конец. Больше не будет ни войн, ни классовой борьбы, но лишь великодушное соперничество в общих начинаниях двух наших рас, в равном партнерстве. Вся человеческая раса станет расой аристократов, в истинном смысле этого древнего слова; аристократов, не отягощенных сознанием того, что они живут за счет труда поработенных классов. Да, аристократов и праведников. Но эти аристократы не будут бездельничать, как не станут отшельниками и эти праведники. Ваш талант послужит практической мысли и действию. С помощью ваших космических кораблей вы исследуете солнечную систему. Вы найдете новые миры, где новые условия создадут новый образ жизни, сознания и духа. Постепенно перед вами откроются неограниченные возможности творческой жизни. Но позвольте мне повторить, что ничего из этого ваш вид не добьется в одиночку, без посторонней помощи. Без нашей поддержки вы, несомненно, себя уничтожите. Даже если по счастливой случайности конец будет на какое-то время отложен, вы и дальше будете существовать во взаимной ненависти и истреблении друг друга. С другой стороны, с нами вы сможете стать теми, кем всегда робко желали быть: истинными сосудами духа. Более того, если мы снова обретем те психические способности, которыми обладали на солнце, то, конечно же, поделимся с вами всеми нашими экстрасенсорными

знаниями о других мирах, всем нашим искусством, всей нашей глубокой проницательностью в сфере личных отношений, всем нашим религиозным опытом. Соединив вашу практическую сноровку с нашей древней мудростью и духовной проницательностью, мы, несомненно, станем созидательным мироорганизмом. Без нашей помощи вы обречены на разрушение, в лучшем случае — на жизнь таракана, тщетно пытающегося выбраться из глубокого таза. Без вас и мы сами обречены на бессилие. Даже в наш давным-давно канувший в Лету солнечный золотой век мы все равно были обречены на бессилие в долгосрочной перспективе — просто потому, что не желали понимать физическое и творчески им манипулировать. На мой взгляд, совершенно очевидно, что это партнерство, этот предлагаемый нами симбиоз станет спасением для обоих наших видов. Вы не находите?

— Вы нарисовали завораживающую картину, — сказал я, — но мне с трудом верится, что человечество согласится на такое партнерство. Людям, вроде меня, оно покажется привлекательным, но нас очень немного. Подавляющее большинство просто не поймет, что поставлено на карту. А если и уяснит хотя бы суть идеи, то попросту ужаснется. Сотрудничество с вами покажется им откровенным рабством. Они убедят себя, что раз вы отличаетесь от людей, вы есть зло, ни больше, ни меньше. Если им придется признать ваше в чем-то превосходство, они будут считать вас хитрыми извращенцами и даже приспешниками дьявола.

Воцарилась тишина. Похоже, пламя обдумывало мои возражения. Потом — и снова с непонятной нерешительностью — оно продолжило:

— Чтобы облегчить добровольное принятие вами нашего плана нам, возможно, придется использовать особые мыслительные способности для воздействия на ваши умы. Вы сами уже имеете некоторое представление об этих способностях. Помните, как мы вынудили вас разыскать камень и бросить его в огонь? Так вот, мы способны на гораздо большее. Вплоть до того, что вы сами пожелаете служить нашим целям. Вплоть до того, что добровольно пожелаете того же, что и мы. А когда мы достигнем более глубокого понимания вашей природы, наши силы, вероятно, возрастут.

Пламя снова приостановилось, явно колеблясь, но я промолчал. Мысль о том, что наши желания уже не будут нашими, глубоко меня шокировала.

Так и не дождавшись от меня ни единого слова, пламя продолжило:

— Если вы сомневаетесь в нашей силе, возможно, мне следует рассказать вам еще кое-что о нашем влиянии на вас. С моей стороны было бы безрассудством делиться с вами этой информацией, не зная я, что вы — человек, совершенно свободный от предрассудков вашего вида. В то время, когда вы были поглощены экстрасенсорным поиском, и между вами и вашей супругой возникло некоторое напряжение, мы поняли, что ваша любовь может пересилить интеллектуальный интерес. А поскольку для нас было крайне важно, чтобы вы продолжали свою работу, мы осмелились вмешаться. Мы не нашли никого, кто лучше вас подходил бы для решения

задачи: понять нас, проявить к нам сочувствие и послужить эффективным посредником между нашими видами. Мы просто не могли позволить себе потерять вас, поэтому оказали все наше влияние, чтобы ваш интерес к паранормальной психологии перерос в навязчивую страсть. И мы в этом преуспели. Было ясно, что наше вмешательство может разрушить ваш брак, но мы надеялись, что ваша любовь к жене, и ее любовь к вам, выдержат это напряжение, и что вместе вы выработаете приемлемый *modus vivendi* (это ведь так называется?), чтобы в любви вам сопутствовал такой же триумф, как и в научных исследованиях. Еще раньше мы изо всех сил старались внушить страсть к паранормальному вашей жене, но потерпели неудачу. Подсознательно она яростно воспротивилась — потому лишь, что этим интересовались вы. Нам ничем не удавалось разрушить ее иррациональную фобию, страх перед тем, что она подсознательно считала соперником в борьбе за ваше внимание. Именно этот, глубокий и неосознанный, конфликт не позволил ни одному из вас перекинуть мостик через возникшую между вами пропасть. Ни вам, ни ей не хватило воображения для того, чтобы разделить в полной мере точку зрения другого. Что ж, сколь бы трагическим ни оказался исход, думаю, вы согласитесь, что наша потребность в вас была даже более значимой, нежели ваш брак. И помните, вы были нужны не только моему виду, но и вашему тоже. Ради спасения человечества вы должны полностью посвятить себя работе.

Эта информация подняла во мне бурю эмоций. Мы с Джоан никогда не были абсолютно гармоничной, в общепринятом смысле, парой, но, несмотря на некоторый

накал в отношениях, в глубине души мы не только неизменно любили друг друга, но и объединяли усилия во всех наших делах. Думаю, проблема была в том, что пусть и нуждаясь друг в друге, мы никогда не понимали друг друга до конца (что и подтвердило пламя). Увлечшись паранормальным, я попытался убедить ее работать со мной, но она, без каких-либо на то причин, отклонила эту просьбу, и я вполне могу поверить, что виной тому была некая ее фобия. Чем больше она уклонялась, тем больше я, глупец, настаивал. Когда она в конечном счете ушла, надеясь тем самым привести меня в чувство (как ясно я все это вижу сейчас!), я был так занят, что даже пальцем о палец не ударил, чтобы вернуть ее. Довольно-таки долго мы предпринимали попытки сойтись, но с каждым разом отдалялись друг от друга все больше и больше. В итоге, Тос, она бросилась под автобус. О Боже! Я опомнился, но слишком поздно. Я очнулся и осознал, как недостойно себя вел. Тем не менее, уже через несколько недель я позабыл о своем горе и полностью посвятил себя работе. Рассказ пламени, однако, разбередил старую рану, а также дал мне предлог для того, чтобы переложить вину с собственной тупости на пламенную расу, пагубно повлиявшую на мой рассудок. Но я отвлекаюсь.

Через минуту-другую пламя сказало:

— Естественно, вы расстроены, но постарайтесь успокоиться. Волнение мешает мне поддерживать контакт с вашим разумом.

Неимоверным усилием воли я взял себя в руки, и тут меня осенило.

— Скажите-ка, в этом разговоре у вас был доступ ко всем моим мыслям или же только к тем, которые я передавал вам в телепатической речи?

— Только к некоторым, — ответило пламя. — Чтобы уловить их все, мне пришлось бы сосредоточить на этом все мое внимание, а я был занят главным образом передачей вам собственных мыслей. До меня доходили кое-какие ваши невысказанные мысли, в том числе и комментарии относительно моих ремарок. Но как только я начал рассказывать о нашем на вас влиянии, ваше волнение запутало все, за исключением вашей фактической речи. Но вам не следует расстраиваться. Прошлое есть прошлое; и то, что мы сделали, мы сделали с наилучшими намерениями, и нам нечего стыдиться. Да и вы сами, если вы и впрямь истинный приверженец духа, как мы считаем, не можете сожалеть о том, что мы спасли вас для великой работы.

Я был признателен пламени за то, что теперь оно не могло читать мои мысли так же ясно, как и прежде. По крайней мере так оно сказало. А если обманывало? Было бы неплохо это проверить. Шок и возмущение еще не улеглись в моей душе, но сказал я совсем иное.

— Я хорошо вас понимаю и уже готов с этим примириться. Конечно же, ваши сородичи поступили правильно, когда решили воздействовать на меня таким образом. Сначала я расстроился — в силу обычных человеческих предубеждений, — но теперь уже все в порядке. Слава Богу, я спасен для той великой работы, исполнения которой вы справедливо от меня требуете.

Его ответ принес мне некоторое успокоение.

— Хорошо! Верю вам на слово; но от ваших мыслей я все еще отключен.

Далее я спросил у пламени, что нужно будет делать, если мне не удастся убедить правителей человечества проводить политику пламенной расы.

— У вас все получится. Мы воздействуем на их разум всей силой нашего влияния. Если уж мы можем влиять на вас, установить контроль над теми непросвещенными созданиями и вовсе не составит труда.

Я промолчал. Через какое-то время пламя сказало:

— Я все еще не могу установить с вами полный контакт. В чем дело? До сих пор мы прекрасно ладили, но теперь вы сознательно закрываете передо мной свой разум. К чему вам это делать, тем более теперь, когда вы согласились с нашим планом? Нельзя ли мне вновь получить ваше полное доверие? Если бы я не уважал вашу индивидуальность, я бы вторгся в ваше сознание силой и обнажил все ваши самые сокровенные чувства, несмотря даже на ваше сопротивление. Но это разрушило бы нашу дружбу, и мне претит так поступать с вами.

Мысли проносились у меня в голове, но пламя не ведало о них. Это немного успокаивало. Но я верил, что при желании пламя может сломить мое сопротивление и вторгнуться мою частную жизнь, и это меня возмущало.

Стараясь сохранять спокойствие, я сказал:

— Расскажите мне об этом странном воздействии, которое вы можете на нас оказать. Помогите окончательно справиться с антипатией. Поддержите меня. Помо-

гите мне прямодушно и без колебаний возжелать торжества духа в сотрудничестве двух наших рас.

— Мы хотим лишь завоевать ваше доверие, — сказала пламя. — Мы хотим лишь завоевать доверие всей человеческой расы. Мы твердо намерены не идти к цели через насилие, пусть даже и через духовное насилие. Так ли важно, что мы обладаем неодолимой силой, если мы намерены не использовать ее? Если бы я рассказал вам подробнее о наших способностях, вы бы только расстроились еще больше. Во всем сказанном вы бы видели лишь некую угрозу.

— Духовное насилие? — переспросил я. — Что вы имеете в виду? Как я могу доверять вам, если вы не до конца со мной откровенны?

Какое-то время мой собеседник молчал. Во мне самом бушевали двойственные чувства: прямота и искренность пламени противостояли осознанию страшной опасности — опасности оказаться духовно поработленным чуждой расой.

Наконец пламя сказала:

— Раз уж нам так необходимо полное взаимное доверие, я расскажу вам все. Но прежде прошу вас, умоляю, взглянуть на все это дело без предубеждения, а просто из любви к духовному. Именно потому, что мы сами смотрим на все исключительно с этой точки зрения, а не с позиции расового эгоизма, мы столь решительно настроены не применять к вам нашу силу (за исключением небольшой дружеской попытки помочь вам увидеть все в ясном свете). — Пламя снова сделало паузу, и я заверил его, хотя страх и гнев заглушали мое дружелюбие, что страстно желаю взглянуть на ситуацию со

стороны. Но я снова настойчиво попросил рассказать, в знак доброй воли, как его раса намерена поступить, если человечество откажется играть по ее правилам.

— Очень хорошо! — согласилось пламя. — Если все наши усилия по достижению дружественного сотрудничества с вашим видом не увенчаются успехом, нам станет ясно, что ваша натура испорчена даже более серьезно, чем мы полагали, и что вам уже ничем не помочь. Ваша собственная глупость неизбежно доведет вас, рано или поздно, до саморазрушения. И тогда мы будем обязаны, храня верность заключенному в нас духу, применить к вам все наши силы, дабы контролировать ваши мысли и ваше поведение в интересах достижения нашей собственной духовной цели. Как все сложится, сейчас предсказать невозможно, но вероятно (так как мы уже будем свободны от каких-либо по отношению к вам обязательств, за исключением нашего долга как можно скорее вытащить вас из ваших несчастий), мы постараемся создать наиболее благоприятные условия для самих себя. Мы могли бы, к примеру — это очень легкая задача, — разбередить военные раны и принудить ваших ученых изготовить еще более разрушительное атомное оружие. За этим последовала бы серия опустошительных войн с огромными пожарами, необходимыми для удовлетворения наших неотложных потребностей, или же одна, решающая война, в которой мы постарались бы склонить каждую из сторон скорее к уничтожению планеты, нежели к разгрому ненавистного врага. Затем, когда вся планета превратилась бы наконец в сплошную атомную бомбу, и расплавленные континенты унеслись в космос, мы, пусть и ненадолго,

получили бы условия столь же хорошие, как те, что были у нас в золотой век солнца. Правда, вскоре не осталось бы ничего, кроме потока замороженных астероидов, но мы полагаем (исходя из гипотез ваших ученых), что при определенном везении, разрушение планеты могло бы проходить постепенно, а не единовременно, в виде одного-единственного всепоглощающего взрыва. В этом случае мы были бы обеспечены зонами высокой температуры на тысячи или, быть может, даже миллионы лет вперед. В такой период значительно улучшившихся условий мы могли бы продвинуться столь далеко в изучении науки и контроле физических процессов, что изобрели бы способ возвращения на солнце. И даже если это окажется невозможным, что ж, по крайней мере, на протяжении долгого периода времени мы вели бы активную жизнь, занимаясь тем, что свято для нас: изучением духовной вселенной и определении меры креативных действий в ее отношении.

Пламя сделало небольшую паузу, но прежде чем я успел придумать подходящий ответ, добавило:

— Все это — ни на чем не основанные предположения относительно будущего, которого мы совсем не желаем, поскольку мы целиком и полностью сосредоточены на обеспечении вашего добровольного сотрудничества ради создания прекрасного и счастливого симбиотического мира. Для нас, как и для вас, это гораздо более благоприятное будущее. Поэтому я торжественно прошу, умоляю вас взять на себя великую задачу по убеждению человечества в том, что два наши вида нуждаются друг в друге и должны объединиться.



Пламя закончилось, и воцарилось молчание. Я не знал, что сказать. Должен признаться, меня тронуло его обращение. Скорее всего, он был прав, утверждая, что человек никогда не спасется, не изменив коренным образом весь свой взгляд на мир, а такие изменения возможны лишь благодаря внешнему воздействию. И после моего недавнего эстетического опыта я готов был поверить, что пламенная раса, раз уж ей удалось расстрогать меня, способна своим волшебством очистить сердца всех людей.

И только одна неприятная мысль не давала покоя. Откуда мне знать, что моя симпатия к пламени и мое восхищение его расой есть спонтанные реакции? А что если мне их внушило, каким-то хитрым способом, само пламя? Чем больше я об этом думал, тем больше скло-

нялся к тому, что, вероятно, именно так оно и есть. И не для того ли пламенная раса намеревается оказать свое гипнотическое влияние на всю расу людей, чтобы поработить их — да, поработить, навеки подчинить воле язычков пламени? Люди будут думать, что действуют свободно, тогда как на самом деле станут роботами, повинующимися принуждению. Человечество, до сих пор распорядившееся собственной судьбой, впредь будет подчиненной расой, эксплуатируемой более коварным видом, новым Неггенволк⁵. Конечно, я соглашался, что единственным окончательным исходом должна быть «слава духа», а не триумф какой-либо одной расы, человеческой или нечеловеческой; но откуда мне знать, что эти коварные язычки пламени работают действительно во имя духа, а не ради власти и возвеличивания своей расы? Откуда мне знать, что в глубине души они не вынашивают дьявольские планы? Да, дьявольские! Под личиной дружбы и великодушия обосновавшееся в огне создание замышляло пленение моей души для исполнения какого-то бесчеловечного плана. Подталкивало ли оно меня искусно к предательству моего собственного вида? Но даже думая так, я оставался во власти конфликтующих сил. Все это время пламя вело себя так цивилизованно, так деликатно и дружественно. Как мог я отвернуть эти любезные авансы? И все же, по мере того как теплели мои чувства к нему, я напоминал себе, что эти самые чувства, возможно, вовсе и не мои собственные, но есть результат внушений. Гнев и страх снова охватили меня. Нет! Будет в тысячу раз лучше, если человечество сохранит суверенную независимость и пой-

⁵ «Народ господ», высшая раса (нем.).

дет ко дну, не спустив флага, чем если откажется от своего человеческого достоинства, своей человеческой самодостаточности, своей человеческой свободы. Пусть оно служит духу свободно и на свой манер или так же свободно сгинет.

Эти мысли все еще ворочались в моей голове, когда пламя заговорило вновь.

— Что ж, я не хочу подталкивать вас к решению, так как вижу, сколь это трудно для вас, даже труднее, чем я ожидал. Возможно, вам лучше взять еще один день на раздумье. Завтра вечером мы встретимся снова, и тогда, быть может, вы примете решение. А пока... Я ужасно замерз и был бы вам признателен, если бы вы подбросили немного угля!

Огонь и впрямь уже едва теплился. Я был так поглощен моим внутренним конфликтом, что совсем про него забыл. Поднявшись, я вдруг подумал, что мог бы весьма эффективно продемонстрировать себе самому, что не являюсь беспомощным орудием пламени. Вместо того чтобы потянуться к ящику для угля, я проследовал к серванту и взял кувшин с питьевой водой, потом быстро шагнул к камину и плеснул воды в самое сердце огня. Результат напоминал взрыв, комната наполнилась паром и дымом. Когда воздух расчистился, я увидел, что в центре камина черным-черно, а пламя исчезло. Я прислушался, но безмолвный голос молчал.

Господи! Нет тишины тяжелее, чем та, когда убил друга.

Я стоял, прислушиваясь к шипящим углям. Волна раскаяния, жалости и сострадания поднялась во мне, но я сказал себе, что это не мое чувство; его навязывает

мне возмущенная пламенная раса во всех подовых печах и топках мира.

С того дня я напрочь утратил сон. Каждую ночь ненавистные язычки пламени терзали меня стыдом и виной. Сначала они вообще со мной не разговаривали — просто стояли у меня перед глазами и молчали. Они выжигали мне мозг любовью моего убитого друга и горьким сожалением. Потом они заговорили. Стали утверждать, что, мол, научились понимать мое поведение, сочувствовать моим побуждениям, уважать мою прямо-ту. И они умоляли меня помочь обеим нашим расам.

Но днем я решительно работал над их уничтожением. Я вглядывался в тысячи огоньков, выискивая характерный яркий и гибкий конус. А когда находил — убивал. И после каждого убийства, я чувствовал, как моя душа все глубже и глубже погружается во тьму. Тем не менее я знал, да, Господи, знал, что должен быть верен человечеству. Должен сделать все от меня зависящее, чтобы уничтожить этих ловких злодеев, замышляющих гибель человечества. Но что может один отдельный индивид? Я писал в газеты, требуя проведения кампании во всемирном масштабе, но издатели видели во мне сумасшедшего. Ни одно из моих писем так не было опубликовано. Или... нет! Одно все же увидело свет. Оно было приведено целиком в статье о «мании преследования» в каком-то журнале по психологии.

Кульминация наступила, когда я пробрался на большой паровозостроительный завод под видом журналиста, собирающего материал для статьи. У меня имелось телепатическое доказательство того, что печи там заражены живыми язычками пламени, уничтожить кото-

рых — моя миссия. Даже не знаю, Тос, доводилось ли тебе когда-либо бывать в подобных местах. Работа с тяжелым металлом впечатляющее зрелище! Просторные депо в четверть мили длиной, набитые рядами огромных машин. Токарные станки, паровые молоты, циркулярные пилы, режущие стальную арматуру и листовое железо так, будто они деревянные. Множество небольших печей и кузнечных горнов для изготовления болтов и другой мелкой продукции. (Но ни одного из тех, кого искал, я на этих островках жары не увидел.) Громадные локомотивы, у которых, прилаживая различные детали, сустились люди. Могучий травеллерный кран как раз поднимал одного такого монстра. Но самое большое впечатление на меня произвел пятитонный паровой молот, работавший над раскаленной докрасна стальной болванкой примерно в пять футов длиной и девять дюймов толщиной. После формовки ей, этой болванке, предстояло стать соединительным штоком. Четверо рабочих с помощью захватов держали один ее конец, подставляя его под удары молота. Другой конец свободно болтался в петле массивной цепи. От каждого удара молота содрогалась земля. Еще один парень замерял результат шаблоном. Затем наполовину отформованный брус переворачивали, и он снова подвергался обработке — до приобретения им нужной формы. Потом они отрезали законченный соединительный шток. Они резали его, как сыр, помещая прямоугольник холодной стали под молот, который врубался глубоко в раскаленную массу. Глядя на все это, Тос, я ощущал гордость за мой вид. Язычки пламени, несмотря на всю их древность и духовность, такого не

умеют. Вскоре мы перешли к внушительной газовой печи, в которой накалялась какая-то металлическая конструкция. Заслонки были открыты, и, когда я подошел, конструкцию как раз вытаскивали. Я вгляделся в печь усталыми из-за иссушающей жары глазами. Внутренняя ее часть была размером с маленькую комнату и вся буквально пылала. От одной из стенок к середине печи тянулся длинный, в несколько футов, шлейф ревущего газового пламени.

Тогда-то я и увидел моего врага. С полдюжины ярких крошечных разумных созданий парили в печи, словно бабочки. По-видимому, они изо всех сил старались остаться в жарких струях горящего газа, но неистовый поток продолжал швырять их в зыбкое центральное пространство. Какое-то время я просто стоял и наблюдал за ними, но вскоре понял, что враг осведомлен о моем присутствии и уже пытается воздействовать на меня своими дьявольскими методами. Один из язычков пламени попрекнул меня телепатически. «Холодное создание, — прокричал он. — Как можно было убить нашего товарища, твоего собственного друга? Твое сердце ясно сказало, что он — твой друг, что весь наш вид — друзья людям. Даже сейчас оно требует, чтобы ты изменил свое мнение и начал работать с нами. Лучшая часть тебя — на нашей стороне. Против нас — лишь тупоумный представитель человеческого племени».

Я почувствовал, что сопротивление мое слабеет, и в панике закричал рабочим: «Убейте их! Убейте! Скорее несите пожарный рукав! Польем — им хватит с лихвой!» Я заметил шланг и бросился за ним, но тут меня повязали. Конечно, я неистово отбивался, но они вы-

звали полицию. Меня доставили в местный полицейский участок. Там я сделал официальное заявление обо всей этой ужасной истории, но кончилось все тем, что меня передали врачам. И вот теперь я здесь, пленник.

Такая вот, Тос, ситуация. Быть может, ты мне не поверишь. Иногда я и сам спрашиваю себя, уж не брежу ли я? Но думаю, ты согласишься, что весь этот пассаж слишком обстоятелен, чтобы быть чистой фантазией, разработанной моим собственным подсознанием. Одно заставляет меня сомневаться: люди, работавшие рядом с огромной газовой печью, судя по всему, не видели живых язычков пламени. Разумеется, они решили, что я сошел с ума. Но с другой стороны, вся внутренность печи представляла собой оранжевого цвета пламя, газовые струи пребывали в постоянном волнении, и маленькие язычки пламени тоже постоянно двигались, зачастую прячась в этих газовых струях. Рабочие, не зная того, что знаю о пламенной расе я, вполне могли их и не заметить. Нет! Для меня, хотя, вероятно, не для тебя, сомнений здесь быть не может.

И теперь, Тос, я должен попросить тебя не только верить мне, но и предпринять кое-какие действия. Прежде всего, попробуй поискать сам. Исследуй каждый костер и каждую печь, к которым у тебя есть доступ, и ты, несомненно, обнаружишь эти язычки пламени. Немного практики не повредит, так как я подозреваю, что они научились скрываться от нас. Когда убедишься в их существовании, умоляю: организуй всемирную кампанию по их уничтожению. Настаивай на осмотре каждого костра на всех континентах. Кратеры вулканов тоже нужно обследовать очень тщательно. А

поскольку пылеобразные споры этих созданий повсюду зарождаются на ветру, следует проверить все пожарища, кустарниковые пожары, доменные печи, лесные и степные пожары, так как они являются благоприятными очагами для размножения. К счастью, пламя очень легко уничтожить в небольшом костре; да и в большом необходимо только воздержаться от нападения до тех пор, пока огонь так или иначе не уменьшится, а затем плеснуть воды на каждый отдельный язычок пламени. Главное — убить их до того, как естественное медленное охлаждение превратит их в частицы пыли. К сожалению, даже если нам удастся уничтожить всех поддающихся обнаружению индивидов, мы не сможем ослабить бдительность, так как переносимые ветром споры долговечны, потенциально бессмертны, а где-то всегда может произойти пожар, или же нагревание какого-нибудь камня вулканической породы может пробудить и высвободить находящегося в заточении индивида. Да и от вулканов всегда исходит серьезная опасность.

Крайне важно принять меры предосторожности против дьявольской психической силы пламенной расы, особенно сейчас, когда тысячи или даже миллионы язычков все еще живы. Нужно проследить за тем, чтобы выражение кем бы то ни было симпатии к ним стало во всех странах уголовно наказуемым преступлением. Опасные мысли подобного рода следует пресекать любой ценой. Никому так не дорога частная свобода, как мне; но наступает момент, когда терпимость перестает быть добродетелью. Иногда она — преступление. Кроме того, до каждого, кто желает отстаивать дружественные отношения с пламенной популяцией, следует донести,

что тем самым он никоим образом не выражает собственную свободную волю. Он не более чем автомат, контролируемый язычками пламени. Говорится ведь: единственная истинная свобода — свобода желать Воли Божией. В таком случае величайшее порабощение есть иллюзия свободного желания того, что в действительности является Волей Сатаны.

И вот еще что, Тос. Хочу, чтобы ты знал: мои взгляды относительно религии совершенно изменились после этих последних событий. В тот момент, когда я вылил кувшин воды в тот деревенский камин, я наконец-то увидел свет. Прежде я был благонамеренным агностиком, вроде тебя. Но внезапно мне открылось — через мой собственный свободный акт убийства пламени, — что действительно существуют две космические силы добра и зла, Бог и Сатана, ведущие борьбу по всей вселенной; и что Бог спас меня от вечных мук и использовал в качестве своего оружия.

Так что, Тос, именем всего, что тебе дорого, заклинаю тебя посвятить всего себя без остатка этому крестовому походу, цель которого — спасти человечество от духовного рабства и осуждения на вечные муки. Если тебе удастся пробудить общественное мнение, не сомневаюсь, что в надлежащее время мое здравомыслие будет подтверждено, и я выйду на свободу. Впрочем, это пустяк; так как, где бы я ни находился, я посвящу себя физической борьбе с пламенной расой ради спасения человечества. Они меня определенно боятся, иначе не просили бы постоянно допустить их в мое сознание из всех костров и печей земли. И они чертовски обольстительны! Не знай я, что они применяют ко мне свои дья-

вольские способности, я бы, вероятно, даже признал их добродетель и духовную власть. Разумеется, пусть они и дьяволы, но говорят ангельскими языками и весьма ловки в превратном использовании божественной мудрости. Но поскольку ради своей мировой политики они разрушили мой брак, они, должно быть, и есть зло. Кроме того, они сами признавались, что их план — контролировать волю всего человечества. Какие тут еще могут быть вопросы?

Конечно, все говорит в пользу того, что международное соперничество отвратит человеческие народы от объединения против общего врага. Но, разумеется, остается по крайней мере один шанс на то, что опасность, просто потому, что она является общей и внешней, может сподвигнуть человечество к объединению. Если это случится, у людей появятся причины возблагодарить пламя. До сих пор наши враждующие племена никогда не были способны объединяться — разве что для отпора общему врагу; и поэтому для всей расы в целом единение представлялось невозможным. Но теперь у всех наций есть общий враг, и враг опасный, что наконец-то делает подобный союз возможным. «В зарослях крапивы опасностей...»⁶. У нас появилась отличная возможность. Делай свою часть, Тос, а я продолжу делать мою.

Твой

КАСС.

⁶ Полностью цитата звучит так: «... в зарослях крапивы опасностей мы сорвем цветок — безопасность». (У. Шекспир, «Генрих IV»).

Р. S. Я закончил этот документ прошлым вечером и теперь перечитал его. Концовка написана в тональности несомненности; но утром, после ночи, проведенной в подчинении убедительному влиянию пламенной расы, я чувствую совсем иное. По правде сказать, я живу в аду из-за отчаянной борьбы, происходящей в моем собственном мозгу. Должен признаться, я не чувствую, что все эти язычки пламени — зло. Я чувствую, что их призыв был искренним и обоснованным. Но чем больше они меня поработщают, тем с большей решительностью я напоминаю себе, что мое согласие было индуцировано искусственно, и потому твердо стою на своем. Но борьба идет ожесточенная, и если только в самое ближайшее время, за счет моей собственной свободной психической силы, мне не удастся выбросить их из головы, я, несомненно, сойду с ума.

Бога ради, Тос, приезжай и навести меня, приезжай и помоги мне, пока не стало слишком поздно.

К.

ЭПИЛОГ

Когда вышеприведенное обращение Касса дошло до меня, я был занят профессиональными научными делами, предполагавшими массу поездок по континенту. Прошло несколько месяцев, прежде чем у меня появилась возможность навестить его. К тому времени уже была достигнута договоренность о публикации этого тома, и оригинальный машинописный текст находился в руках печатников. Я послал Кассу два письма, в которых говорил, что его история принята, но ответа так и не получил.

Разобравшись немного с работой, я сразу же обратился в психиатрическую лечебницу с просьбой позволить мне повидаться с Кассом. По прибытии я имел беседу с дежурным психиатром. Он объяснил, что Касс «почти нормален, если не считать его бредовых идей». Иногда он погружается в глубокую задумчивость, из которой его бывает не так-то и просто вытащить, но во всем прочем «ничем не отличается от вас или меня — за исключением его безумных представлений о пламени». Я поинтересовался, указывает ли что-то на то, что его бред вскоре рассеется. Это вряд ли, неохотно признал психиатр. Судя по всему, фантазийная система быстро пролиферировала в его, Касса, мозгу.

Меня провели в небольшую палату. Касс лежал, растянувшись, в мягком кресле у открытого окна; глаза его

были закрыты, а чуть повернутое в сторону загорелое лицо принимало всю силу солнечного света. Брови собрались в складки, по-видимому, в напряженном сосредоточении. Волосы оказались более седыми, чем я ожидал; но плоть лица выглядела твердой и здоровой, хотя и изборожденной морщинами у глаз и на худых щеках. В голову мне пришла странная мысль: он вполне мог сойти за стареющего Данте. Меня он поначалу не узнал.

Приветствовав его с сердечностью, которая, однако же, прозвучала несколько наигранной, я подтянул к нему стул. Касс по-прежнему молчал.

Потом он глубоко вздохнул, открыл глаза, улыбнулся мне и сказал:

— Привет, Тос! Извини за грубость. Я ужасно занят. Вот уж не ожидал тебя увидеть, через столько-то лет! — После некоторого колебания, он добавил: — Рад встрече, старина. Могу я тебе чем-то помочь?

Столь странное поведение немало меня шокировало, и я пробормотал что-то насчет дружеского обращения. Затем произнес несколько банальностей, чтобы сломать лед, но быстро понял, что он слушает меня вполуха. В конце концов я решил порадовать его замечательной новостью о том, что его машинописный документ находится уже у печатников. Он выпрямился, уставился на меня преисполненным явного раздражения взглядом и спустя какое-то время заметил:

— Боже! Я, должно быть, забыл тебе сообщить! Чертовски неловко!

Внезапно он рассмеялся и столь же внезапно оборвал себя.



— До чего же я стал забывчивым! — проговорил он. — Видишь ли, Тос... в общем, дело в том... то есть... видишь ли, я был так занят, что просто-напросто забыл обо всем этом. Очень мило с твоей стороны было приложить столько усилий, но...

— Но что? — злобно выкрикнул я, забыв, что говорю с сумасшедшим и едва ли могу рассчитывать на его последовательность или внимательность.

Он встал и прошелся по комнате, тихо ругаясь и хихикая. Затем встал в солнечном свете, глядя на солнце прищуренными глазами, улыбаясь и делая небольшие протестующие жесты рукой. В направлении солнца, можете себе представить? Похоже, он думал, что разговаривает с солнцем.



Судя по всему, бедняга был гораздо безумнее, чем я полагал.

Внезапно он снова сел в кресло передо мной и тихо сказал:

— Прости, Тос. Я действительно тебе признателен, но это все так сложно...

Взяв себя в руки, я ответил:

— Я все понимаю; обо мне не беспокойся. Наверное, не следовало мне приезжать, не выяснив, занят ты или нет.

Тут он окинул меня резким взглядом и сказал:

— Не будь таким чертовски тактичным! Конечно же, ты думаешь, что я безумен. Так вот, никогда в жизни я еще не мыслил столь здраво.

Я предложил ему сигарету, взяв одну из пачку и для себя тоже. Он вытащил зажигалку, и когда мы оба закурили, сказал:

— Гляди! Вот небольшой символ. Видишь, как ярко горит пламя, когда я держу его в тени? А сейчас? — Он отстранил зажигалку, так, что она прошла между моим лицом и солнцем. Я увидел пламя в форме колышущейся, неясной, темной пирамидки на фоне солнечного сияния. — Вот, — повторил он, — символ всего нашего знания и понимания — яркий по сравнению с мраком полного невежества, но все же темный на фоне истинной правды.

Возвратив зажигалку в карман, он сказал:

— Прости, но ты должен остановить публикацию той чепухи. Я перепишу текст, взглянув на все это под новым углом.

Я запротестовал и настоятельно потребовал объяснений.

Он немного помолчал, а потом сказал:

— Да, полагаю, ты вправе знать. Я должен рассказать тебе всю историю целиком. Только ни с кем ее не обсуждай пока. Сначала я должен все записать.

Потом он начал плести невероятные небылицы. Я обнаружил, что понимаю его с трудом, частично из-за того, что он постоянно повторялся, но также и потому, что он, скорее всего, не помнил: мои знания о его странных приключениях ограничиваются посланным им мне документом. Когда я прерывал его для объяснений, он казался слегка раздраженным моим неведением и горел нетерпением продолжить рассказ. В конце он, похоже, забыл обо мне совершенно и уже просто

выражал свои мысли вслух. В какой-то момент, когда я коснулся его руки, чтобы привлечь его внимание, он вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня с озадаченным выражением. Но он быстро вернул себе самообладание и ответил мне с поразительной, по правде сказать, рассудительностью. Через минуту он снова был уже далеко.

Сейчас я попытаюсь, в меру своих способностей, изложить суть его необычайной истории. Даже если, как мне кажется, эта история основывается исключительно на его бредовых идеях, она может представлять по меньшей мере интерес для психолога. Я говорю, что принимаю ее за бред; но должен признаться, что по мере того, как он вдавался в подробности, некоторое сомнение у меня все же возникло — по причинам, которые проявятся позднее. В конце концов, человеческое невежество таково, что ничто не может быть отвергнуто как совершенно неправдоподобное.

Через несколько недель после того, как он послал мне свое сообщение, язычкам пламени, похоже, удалось наделить его способностью более глубокого проникновения в суть их состояния и природы. Они добились этого не только за счет метода телепатической речи, но и тем, что позволили ему подключиться к знаниям многих отдельных язычков пламени в кострах, разоженных людьми по всему миру. Эти знания, по словам Касса, постепенно убедили его в фундаментальном добросердечии и духовной восприимчивости пламенной расы. Все больше и больше времени он стал проводить, просто сидя в кресле и мысленно блуждая по всей планете. Его рассказы о пламенной жизни были чрезвычайно

обстоятельными и яркими. В крайне запутанных фантазиях, изложенных им с массой подробностей, я не смог выявить никаких противоречий. Даже если все это было полнейшим бредом, его подсознание было наделено удивительным воображением.

Слушая его, я представлял некоторые отдельные язычки пламени как вполне определенные личности. Конечно, большинство историй уже превратились в туман в моей голове, но я помню, как он рассказывал о пламени, которое вело периодическую жизнь в одной из кухонных печей в Степни. По его словам, это создание главным образом интересовала история человечества, в частности, эволюция китайской социальной философии. Ради удовлетворения этой страсти пламени приходилось постоянно сосредоточивать все свое внимание на том или ином аспекте данного предмета в надежде на установление телепатической связи с каким-нибудь китайским историком, изучающим эту тему. Пламя сожалело о том, что в современном Китае становится все меньше и меньше студентов, интересующихся древней культурой.

Вследствие постоянного влияния этих язычков пламени Касс мало-помалу отказался от своей прежней враждебности и возжелал полного сотрудничества пламенной популяции с человеческим родом. Он даже начал писать мне об этом, но письмо так и не отослал: новые увлекательные познания вскоре вытеснили из его головы любые воспоминания о предыдущем послании.

Эти новые познания, судя по всему, преследовали следующую цель: сделать так, чтобы все земные дела

показались бессмысленными. В тысячах промышленных печей и топок океанских пароходов группы язычков пламени подвергали себя продолжительному воздействию высоких температур во имя решения самой сложной из всех задач, иными словами, пытаясь достичь такого уровня сознания, который позволил бы им установить новый контакт с их солнечными сородичами. Это, как они полагали, стало гораздо более возможным после общего оживления земной пламенной жизни во время массированных воздушных налетов. После множества безуспешных попыток контакт в самом деле был установлен, хотя и нерегулярный. Сначала «исследователи» получили лишь фрагментарные ответы на свои телепатические сигналы, но затем, усовершенствовав технические приемы, сумели наладить и стабильную связь.

Чем более понятной становилась поступающая информация, тем больше она ошеломляла и даже шокировала, — вследствие ее важности для земных язычков пламени.

По всей видимости, на протяжении большей части тех двух миллиардов лет, что прошли с рождения планет, их солнечные собратья сохраняли свои старые формы жизни, легко адаптируясь к неспешным изменениям окружающей их среды. В течение этого долгого периода они добивались все больших и больших успехов в масштабном и рискованном предприятии по экстрасенсорному освоению космоса; но в эпоху, приблизительно соответствующую зарождению жизни позвоночных на земле, они начали делать важные открытия,

коим было суждено изменить всю их культуру и социальное устройство.

Здесь мне лучше предупредить читателя: я просто обязан рассказать то, что вполне может показаться самым фантастическим вздором, безумным вымыслом болезненного ума. И все же, если быть до конца честным, я должен подчеркнуть тот факт, что Касс рассказывал свою историю с такой убежденностью, что одна половина меня почти в нее верила.

По утверждению Касса, солнечные язычки пламени установили контакт с гораздо более разумными звездами и планетами самого различного характера и физической формы, а после того, как и сами обогатились духовно, сумели связаться с мирами, наделенными уже значительно более развитым сознанием. В конечном счете они обнаружили, что огромная компания наиболее «пробужденных» миров давно уже образовала космическое сообщество, и что это сообщество и само уже «пробудилось» до высшего уровня самопознания. В этих условиях они «проснулись», чтобы стать единым разумом, целеустремленным сообществом, состоящим из множества различных миров. После долгой и трудной инициации солнечный разум тоже получил возможность участвовать в этом великом эксперименте.

Судя по всему, посвящение в космическое сообщество произошло незадолго до того, как на земле появились рептилии. С тех пор главной заботой солнечных язычков пламени стало активное участие в жизни целеустремленного космического сообщества. А эта жизнь была полностью посвящена экстрасенсорному и метафизическому изучению конечной реальности. (Так утвер-

ждал Касс. Я, со своей стороны, сомневаюсь, что в таком утверждении есть какой-то смысл. Нет причин полагать, что экстрасенсорное познание может служить инструментом исследования конечной реальности; что же до метафизического изучения, то это всего лишь мошенническое жонглирование словами.) Касс сказал, что все в достаточной мере пробудившиеся в космосе и участвовавшие в познании космического разума индивиды страстно желали вступить в контакт с некой божественной персоной, неким богом. В памяти осталась одна из ремарок Касса. «Космический разум, — сказал он, — был одинок и отчаянно нуждался в любви». Очевидно, эти долговременные исследования приносили все новые и новые доказательства теизма; или все более и более четкое осознание чего-то такого, что ощущалось как «божественное присутствие»; или все чаще повторяемое обещание появления некоего универсального Любовника. В ранние эпохи разумные миры осмоторительно избегали метафизической веры; тогда хорошо понимали, что конечный интеллект не способен выносить сколь-либо глубокую истину в отношении реальности. Но теперь, под влиянием «новой надежды», жизнь каждого отдельного индивида в каждом отдельном пробудившемся мире ориентировалась на эту яркую звезду уверенности, или мнимой уверенности; звезду «бесспорной веры», как называл ее Касс. Стремление к финальному кульминационному откровению стало всеобщей страстью. Во всех мирах полчища отдельных духов, затаив дыхание, ожидали консумации союза космического разума с Богом, гиперкосмическим Любовником.

Тем временем, по словам Касса, все космическое общество «переформировалось» на теократической основе; во главе его встало жречество, состоявшее из наиболее духовно развитых миров. И каждым отдельным миром в пределах общества стало править свое жречество, — править, конечно, не посредством насилия или угрозы насилия, но лишь за счет подразумеваемой угрозы отлучения от объединенного знания космического духа. Все эти пробудившиеся миры были так уверены в скором миллениуме, что вся деятельность, за исключением религиозных ритуалов и созерцания, постепенно сошла на нет. Традиции добросердечия и взаимопомощи выродились. «В конечном счете, — как было сказано, — агонии несчастных сменяются блаженством, так что беспокоиться о них не стоит. И уж точно мы не должны, ради облегчения их страданий растрачивать энергию, которую нужно полностью сосредоточить на усилиях космического духа как можно скорее встретиться лицом к лицу с Богом».

Прошли века, но долгожданное озарение так и не пришло, и причастия не случилось.

Вместо этого космический разум (то есть все пробудившиеся индивиды, слившиеся в духовном единении) совершил другое — потрясающее — открытие.

Мне очень трудно определить с точностью, что это было за открытие, и еще труднее его описать. Это и неудивительно.

Могу лишь сказать, что на определенном этапе космической истории, вероятно, во времена первого появления млекопитающих на земле, космический разум



начал подозревать, что все хранимые как сокровище доказательства существования Божественного Любownika и неизбежной консумации всего космического процесса являются фальшивыми. «Космический дух, — говорил Касс, — молил о любви, и на его призыв последовал мнимый ответ, как будто из сердца реальности, тогда как на самом деле этим ответом было всего-навсего эхо страстного воззвания космического духа. Пробившись сквозь мглу неопределенности, будучи уверенным, что вскоре предстанет перед Богом, он обнаружил лишь собственный призрак, отражавшийся от границ существования».

Можно представить, каким потрясением стало это открытие для общества, ориентированного на персональное божество, божество любви, и во всех отношениях организованного как теократия, — особенно с учетом того, что все члены этого общества верили в настоящий и скорый союз с их Богом.

Но то было еще не самое худшее. В слабой надежде на достижение некой более сокровенной истины решено было продолжить исследования. «В конце концов, — именно таковы, насколько мне помнится, были слова Касса, — космический дух все же встретился лицом к лицу с голой, ничем не приукрашенной реальностью. И именно такой она, эта реальность, и оказалась — голой, пустой, совершенно чуждой духу, совершенно равнодушной к священным ценностям пробудившихся умов космоса. То было Совершенно Иное, и притом совершенно непонятное. Оно, это Иное, оказалось в некотором смысле персональным, или по крайней мере «не

менее, чем персональным». В действительности же, вероятно, оно было бесконечно более, чем персональным. Сказать о нем можно было лишь то, что оно включало в себя всю ментальную и духовную жизнь космоса, а вместе с ней громадный сонм космических созданий, отличавшихся друг от друга столь сильно, что между ними не могло возникнуть ни малейшего понимания.

Для высшего Существа, заключавшего в себе эти создания, все их устремления были в равной степени тривиальными. Для него их функция заключалась не в успешной манифестации жизни духа, а только в том, чтобы сознать, чувствовать, стремиться — разнообразно, по-своему, и даже безуспешно или извращенно. Тем самым, и помимо собственной воли, они обеспечивали его существование».

Слушая, как Касс трагическим голосом излагает это открытие, я не смог удержаться от легкого смешка. Мысль о том, что величественный космический разум одурачил сам себя, поверив в то, что его цели совпадают с целями Бога, что он вот вот-вот вступит в союз с Богом, показалась мне весьма забавной. Никогда не забуду, с какой яростью и презрением Касс зыркнул на меня, когда услышал мое приглушенное хихиканье. «Спору нет, — сказал он, — космический разум обманулся и получил по заслугам; но следует ли существам, вроде нас, смеяться над колоссальной духовной катастрофой космического масштаба, помешавшей счастью мириад впечатлительных особей?» Конечно, я видел трагическую сторону ситуации; но в тот момент меня куда больше занимала мысль, что столь высокоразвитое существо могло свалить такого дурака. Любое жал-

кое насекомое, вроде меня, наделенное толикой независимого ума и самокритичности, легко избежало бы заблуждений космического разума. Этот вывод казался не только забавным, но и приятно тешил самолюбие. Мне пришлось напомнить себе, что, в конечном счете, повода для самодовольства нет, поскольку я слушаю всего-навсего фантазии психически больного человека, а не объективный доклад о фактических глупостях, совершенных реально существующим космическим разумом.

Но вернемся к истории, какой ее изложил мне Касс. Естественно, любое общество, базировавшееся на строго теократической основе на всем протяжении геологической эпохи, пришло бы в замешательство, когда бы выяснилось, что все его верования не имеют под собой никакой основы. Описывая эту катастрофу, Касс использовал замечательный образ. «Космическое общество, — сказал он, — оказалось в положении тюленя, плывшего глубоко подо льдами к далекой полынье. Он подплывает к этой промоине — трепещет сердце, легкие горят — и обнаруживает, что она затянута толстым слоем свежего льда. Отчаянно, тщетно бьется тюлень в это тюремное окошко, затем легкие его сворачиваются, и он теряет сознание».

Подобным же образом и космическое общество, рассчитывавшее на скорое и живительное общение с Богом, обнаружило, что попало в заточение. Вскоре после того, как отчаянная попытка пробиться в более возвышенную и благоприятную реальность провалилась, оно распалось на части, и, если я правильно понял Касса, объединенный космический разум прекратил свое су-

ществование. Сохранился лишь разум отдельных миров, вроде мира солнечных язычков пламени, которые по-прежнему состояли в телепатическом контакте друг с другом, но уже не обладали общим сознанием единого разума. И всех их преследовали неприятные воспоминания об этом трагическом открытии. Более того, все они, по отдельности, и сами оказались под угрозой распада вследствие внутреннего конфликта, поскольку каждый из этих миров теперь разделился на две партии. Одна из них упорно придерживалась своей веры и страстно желала продолжить духовные поиски в надежде, пусть и ничем не подкрепленной, на то, что эти изыскания все же приведут к открытию истины, даже еще более сокровенной. Другая готова была принять недавнее открытие как окончательное и хотела переустроить весь космический порядок на чисто эпикурейской основе.

На солнце, судя по всему, ни одна из сторон так и не сумела достичь перманентного превосходства над другой. Результатом этого извечного противостояния стал хаос. Иногда миром на протяжении нескольких тысяч лет кряду правили сначала правоверные, затем скептики. Иногда им удавалось прийти к неустойчивому компромиссу. А иногда обе стороны, теряя собственное достоинство, начинали придумывать и использовать методы насилия. Так и на солнце наконец познали войну.

Когда земные язычки пламени установили новый контакт с солнцем, они обнаружили, что солнечное общество пребывает в состоянии мучительного смятения, еще не придя в себя после очередной войны. Но совсем недавно, как я понял, там возникла некая новая партия,

заявившая, что может предложить эффективный синтез воззрений и целей старых партий. Эта новая партия, или секта — назовите ее, как вам будет угодно, — открыто заявляла и пропагандировала взгляды, которые во многом походили на те, коих придерживались убитые Кассом земные язычки пламени. Они охватили разном и метафизический агностицизм, и верность «духу».

— Мы не знаем ничего, мы ничего не знаем, — провозглашали они (по крайней мере так утверждал Касс), — и, вероятно, ни один конечный разум, даже космического статуса, никогда не постигнет абсолютной истины. Но нам ее знать, в общем-то, и не нужно. Все, что необходимо — это восприятие, несомненное восприятие всепоглощающей красоты духа, а также осознанная уверенность в том, что мы все по природе своей есть инструменты выражения духа.

Касс процитировал эти слова с горячностью и очевидным согласием. Разумеется, вскоре он заявил, что им удалось убедить его присягнуть на верность новой партии. Лично мне этот компромисс представляется безнадежно сомнительным и несостоятельным, но Касс воспринял его очень серьезно. По его словам, «интеллектуальная целостность, дорогой друг, это, конечно же, прекрасно; она заставляет нас быть законченными агностиками в том, что касается устройства вселенной. Но эмоциональная целостность не менее важна; она заставляет меня быть честным по отношению к моему восприятию духа».

В этом отношении, что удивительно, он проявил несогласие с последними воззрениями земных язычков пламени, которые (по его словам) вначале были вверг-

нуты в хаос всеми этими важными известиями, но теперь быстро движутся по пути теизма. Судя по всему, большинство из них придерживаются того мнения, что, хотя они и отказались сознательно от веры в какого бы то ни было Бога, на бессознательном уровне у них сохранилось влечение к духу, проистекающее из неосознанного признания необходимости существования некоей высшей космической персоны. Теперь они убеждены в том, что — если только им удастся пробудиться более основательно — они обязательно встретятся с ним лицом к лицу и увидят в нем источник духовной власти. Касс, однако же, не пожелал отступить от ранней позиции земных язычков пламени, то есть от их агностического, как представляется, служения духу, и потому был решительно настроен использовать все возможные средства для установления контакта между земными язычками пламени и учеными, принадлежащими уже к человеческой расе. По его мнению, в результате такого общения воззрения и тех, и других могут значительно измениться, что, возможно, приведет к триумфу агностической веры как у пламенной расы, так и у человечества.

С расчетом на такой исход он попросил меня оказать ему небольшую услугу, а именно: рассказать моим коллегам-ученым все, что мне известно об этих язычках пламени — как в частных беседах, так и в статьях для научных журналов. Кроме того, я должен, повторил он, остановить публикацию его предыдущего сообщения, и договориться о замене одного на новое, которое он уже пишет.

Когда я отказался сделать то, что мне было сказано, Касс вылил на меня целый ушат упреков. Он выглядел таким расстроенным, что я решил все же сжалиться над ним. Указав на тот факт, что сам никогда не видел ни одного живого пламени, я заявил, что обдумаю его предложение, но прежде мне нужно провести собственное небольшое исследование. Ему же тем временем, сказал я, лучше доработать новую книгу. Он неохотно согласился с этим планом, и я откланялся, обменявшись с ним дружеским рукопожатием.

После той беседы с Кассом совесть то и дело призвала меня заняться поиском доказательств существования язычков пламени. Я заглянул в несколько кухонных печей и даже потрудился съездить на один из заводов и осмотреть парочку печей промышленных. Конечно, я ничего не нашел, и моя добросовестность иссякла.

Спустя несколько недель я получил записку от Касса, в которой говорилось, что он пытается писать книгу, но земные язычки пламени постоянно предпринимают попытки обратить его в их теистическую религию. «Положение, — сообщал он, — становится все более и более отчаянным. Они пытаются расшатать мою психику, и если я воспротивлюсь этой угрозе, вероятно, убьют меня». После этого новостей от него больше не поступало, а сам я был слишком занят, чтобы навестить его.

Месяца через три я получил письмо от директора психиатрической лечебницы, в котором сообщалось, что Касса больше нет с нами. В лечебнице случился серьезный пожар, и начался он в комнате Касса. Причину пожара установить не удалось. Ближе к своему концу Касс сделался совсем уж невменяемым и отпус-

кал замечания, которые наводили на мысль, что он подумывает о поджоге. Вследствие этого его лишили спичек и зажигалки, и не очень понятно, как он сумел развести огонь — разве что сфокусировал солнечные лучи с помощью большой лупы для чтения, которая была обнаружена в его комнате.

Позволю читателю самому разгадать загадку смерти Касса. Будь в комнате камин, можно было бы решить, что оттуда выскочило живое пламя и убило его. Но что я говорю! Я на секундочку забыл, что эти язычки пламени всего лишь фикции его разума. В целом, мое предположение таково: с развитием расстройства он все больше укреплялся в мысли, что его преследуют земные язычки пламени, и в конце концов, доведенный до отчаяния, предпочел умереть. А может, помрачившийся рассудок предположил, что сфокусировав солнечные лучи, можно ввести в палату живое солнечное пламя, разделяющее его взгляды. Этого мы уже не узнаем.

После смерти Касса я решил, что опубликую его первоначальное письмо в том виде, в каком оно ко мне и поступило, пусть он и хотел отозвать его из типографии. Оно столь интересно — с психологической точки зрения, — что мне не хотелось бы приносить его в жертву. И потом, в этом эпилоге я уже говорил, что последняя позиция Касса очень сильно отличалась от его ранней враждебности к язычкам пламени. Поступая так, я чувствую, что сохраняю верность Кассу, настоящему Кассу — здравомыслящему, и даже блестящему, ученому, который никогда бы не утаил то, что могло бы привести к продвижению знаний.

Рассказы

Современный волшебник

Они сидели друг против друга за чайным столиком в саду, у коттеджа. Небрежно откинувшись назад, Хелен изучала лицо Джима. Это было поразительно детское, почти инфантильное лицо, с высокими бровями, носом картошкой и надутыми губками. Детское — это да, но в круглых темных глазах мерцал огонек безумия. Она вынуждена была признать, что, возможно, ее тянуло к этому странному юноше отчасти именно из-за этой его предельной ребячливости и его неуклюже-невинных попыток ухаживания, но в какой-то мере — и из-за этого зловещего мерцания.

Наклонившись вперед, Джим что-то упорно доказывал. Он все говорил и говорил, но она уже не слушала. Она только что решила, что, хотя ее к нему тянет, он не очень-то ей и нравится. Почему она снова согласилась с ним встретиться? Он был неуклюж и эгоистичен. И, однако же, она пришла.

Что-то из сказанного Джимом привлекло ее внимание. Похоже, его сильно раздражало, что она не слушает. Он весь был словно на иголках. До нее дошли его слова:

— Знаю, ты ни во что меня не ставишь, но ты совершаешь большую ошибку. Говорю же, у меня есть способности. Я не собирался посвящать тебя в мою тайну,

по крайней мере, пока, но, черт возьми, видимо, придется. Речь идет о власти ума над материей. Я могу контролировать предметы на расстоянии посредством волевого усилия и намерен стать современным волшебником. Я даже убивал уже всякую живность всего лишь за счет внушения.

Хелен, учившаяся на врача, была убежденной материалисткой и гордилась этим. Она с презрением рассмеялась.

Лицо его вспыхнуло гневом.

— О, прекрасно! Придется показать тебе.

В кустах пела малиновка. Взгляд молодого человека переместился с лица девушки на птичку.

— Следи за ней, — сказал он почти шепотом. Вскоре птичка перестала петь, на какое-то время печально втянула голову в тело, а затем свалилась с дерева, даже не раскрыв крыльев. Она лежала на траве лапками кверху, мертвая.

Пристально смотревший на жертву Джим триумфально вскрикнул. Затем перевел взгляд на Хелен, вытер бледное, одутловатое лицо носовым платком и сказал:

— Неплохо вышло. Прежде я на птицах не тренировался, только на мухах, жуках и лягушке.

Девушка молча вытаращила на него глаза, изо всех сил стараясь не выдать испуга. Он принялся рассказывать свою тайну, и теперь уже она слушала его с предельным вниманием.

Он сказал, что пару лет назад начал интересоваться «всей этой паранормальной ерундой». Ходил на спиритические сеансы и читал о психических исследованиях.

Он бы не стал утруждать себя этим, если бы не подозревал, что сам обладает необычными способностями. Впрочем, особого интереса к духам, передаче мысли на расстоянии и тому подобному он не проявлял. Что его пленяло, так это способность рассудка воздействовать непосредственно на физические объекты. Такая способность называется «психокинез», и известно о ней крайне мало. Но на теоретические задачки ему было наплевать. Он хотел единственно власти. Он рассказал Хелен о странных экспериментах, которые проводились в Америке с игральными костями. Вы раз за разом бросаете кости, мысленно желая, чтобы выпали две «шестерки». Обычно этого не случается; но когда, после сотен подобных опытов, вы суммируете результаты, то обнаруживаете, что «шестерок» выпадало гораздо больше, чем должно было бы исключительно при удачном раскладе. Все действительно выглядит так, будто разум способен — пусть и в самой незначительной мере — влиять на кости. Это открывает поразительные возможности.

Он начал и сам проводить небольшие опыты, оттачиваясь не только от выводов исследователей, но и от кое-каких собственных мыслей. Поскольку у него эта способность проявлялась чрезвычайно слабо, ему приходилось тестировать ее в ситуациях, когда даже малейшее влияние может дать очевидный результат, просто чтобы склонить чашу весов на свою сторону.

С игральными костями больших успехов он не добился, потому что (как сам объяснил), никогда в точности не знал, что должен делать. Кости выскакивали слишком быстро для него, поэтому ему удалось достичь

лишь того минимального эффекта, о котором сообщали американцы. Пришлось придумывать новые, более перспективные в этом плане трюки. Уже обладая определенными научными познаниями, он решил попытаться воздействовать на химические реакции и простейшие физические процессы. Он провел сотни опытов и многому научился. Например, тому, как не допустить возникновения ржавчины на ноже в результате попадания на него капель воды или предотвратить растворение все в той же воде кристаллов соли. Ему удалось создать мельчайший кристаллик льда в капле воды и в конечном счете заморозить всю каплю за счет «мысленного удаления» из нее всего тепла, фактически — за счет остановки молекулярного движения.

Он поведал Хелен о своем первом успехе в убийстве, успехе в буквальном смысле микроскопическом. Он нагрел немного непроточной воды, поместил капельку на предметное стекло микроскопа и стал наблюдать за бесцельным кружением стаек микроорганизмов. В большинстве своем, они походили на короткие и толстые сардельки, держащиеся на воде за счет волнистых хвостиков. Они были самых разных размеров, и потому он представлял себе их слонами, коровами, овцами, кроликами. Замысел заключался в том, чтобы научиться останавливать химическое действие в одном из этих маленьких созданий и тем самым его убивать. Он прочел немало статей об их внутреннем устройстве и знал, какие именно ключевые процессы следует заблокировать. Однако же эти чертовы «сардельки» перемещались так быстро, что сосредоточиться на какой-то одной из них не получалось. Он то и дело терял свою жертву в

толпе. В конце концов, тем не менее, один из «кроликов» заплыл в наименее густонаселенную часть стеклянной пластины, и ему удалось сосредоточить на нем свое внимание ровно на такой промежуток времени, какой требовался для удачного исполнения трюка. Он «пожелал» остановки важнейшего химического процесса, и тот действительно остановился. Крошечное создание замерло и, сколько он на него ни смотрел, больше уже не двигалось. Оно почти наверняка умерло. Этот успех, по словам Джима, позволил ему «почувствовать себя Богом».

Позднее он научился убивать мух и тараканов, замораживая их мозги. Потом попытался проделать то же с лягушкой, но потерпел неудачу: не слишком хорошо зная ее физиологию, не сумел определить, какой ключевой процесс следует заблокировать. Впрочем, прочитав кучу литературы по этой теме, в итоге он все же достиг цели — просто-напросто остановил, в определенных волокнах спинного мозга, нервный поток, контролирующий сердцебиение. Именно этот метод он применил и к малиновке.

— Это только начало. Вскоре весь мир будет у моих ног. А если присоединюсь ко мне, то и у твоих тоже.

На протяжении всего этого монолога девушка слушала его крайне внимательно, раздираемая отвращением и непреодолимым влечением. Все это отдавало каким-то неприятным душком, но в наше время привередничать не приходится, да и потом, никаких нравственных принципов Джим в любом случае не нарушал. И все же он играл с огнем. Странное дело, но он даже будто бы вырос, пока говорил; на какое-то время избавился от

своей обычной ребяческой застенчивости и неуклюжести. Крайнее возбуждение и осознание им того факта, что она понимает реальность его силы, придавали ему волнующе-зловещий вид. Но она решила быть начеку, сохраняя при этом прежнюю надменность и равнодушные.

Когда Джим наконец умолк, она изобразила усталый зевок и сказала:

— А ты умен, как я посмотрю! Ловкий провернул фокус, хотя и отвратительный. Не остановишься на этом — закончишь на виселице!

— Не всем же быть такими трусишками, как ты! — фыркнул он.

Колкая насмешка достигла своей цели.

— Да ты просто смешон! — возмущенно бросила она в ответ. — С чего бы мне, как ты выразился, «присоединяться к тебе»? Только из-за того, что ты способен с помощью какого-то гнусного трюка убить птичку?

В жизни Джима хватало событий, о которых он никогда не упоминал. Ему казалось, они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме, но на деле все обстояло не совсем так. Он всегда был «тряпкой». Отец, профессиональный футболист, презирал его и полагал, что славолюбие перешло к сыну от матери. Эта парочка жила как кошка с собакой практически с самого их медового месяца. В школе над Джимом издевались все кому не лень, в результате чего он глубоко возненавидел сильных и в то же время сам загорелся желанием стать сильным. Он был смышленным парнем и после школы поступил в провинциальный университет. Будучи студентом старших курсов, держался особняком, упорно

работал ради получения научной степени и был нацелен на карьеру физика-ядерщика. Уже тогда его доминирующей страстью была физическая сила, поэтому он выбрал самое очевидное поле ее проявления. Но, так или иначе, планам не суждено было сбыться. Несмотря на довольно-таки серьезную научную подготовку, ему пришлось заниматься пустяковой работой в заводской лаборатории, работой, которую он выполнял на временной основе до тех пор, пока не получил должность в одном из ведущих научно-исследовательских институтов ядерной физики. В этой тихой заводи его природная угрюмость переросла в озлобленность. Он считал, что с ним поступают несправедливо, не дают проявить себя. Младшие, стоявшие ниже, постепенно обходили его, поднимались вверх. У него развилась своего рода мания преследования. Но правда заключалась в том, что он оказался плохим сотрудником и, в частности, не проявлял командного духа, столь необходимого в чрезвычайно сложной работе, связанной с фундаментальными физическими исследованиями. К тому же, не питая особого интереса к физической теории, он с раздражением относился к необходимости углубленного теоретического анализа. Чего он хотел, так это силы, силы для себя как отдельного индивида. Он признавал, что современные исследования — дело коллективное, и даже достигнутый в данной области высочайший авторитет не обеспечивает конкретную личность непосредственным влиянием и силой. С другой стороны, психокинез, не исключено, мог дать ему то, чего так страстно желала душа. Его интерес быстро переместился на более перспективное поле деятельности. Отныне работа в

лаборатории стала для него лишь способом добывания средств к существованию.

• • •

После разговора в саду он практически полностью сосредоточился на своей рискованной затее, поставив целью приобрести еще более поразительные способности, чтобы произвести впечатление на Хелен. Он решил, что для него, по крайней мере, наиболее многообещающим направлением выглядит дальнейшее развитие навыков вмешательства в простейшие физические и химические процессы, связанные как с неодушевленными предметами, так и с живыми существами. Он научился предотвращать воспламенение спички при ударе о коробок. Он попытался пренебречь всеми достижениями ядерной физики, направив свои психокинетические способности на высвобождение энергии, заключенной в атоме. Но в этом захватывающем начинании потерпел полнейшее фиаско, возможно, потому что несмотря на всю свою квалификацию, не обладал ни достаточными знаниями теоретических основ физики, ни доступом к необходимому для проведения данного опыта аппарату. С биологической стороны, он преуспел в убийстве небольшой собачки за счет того же принципа, который применил к малиновке. Он не сомневался: еще несколько таких «тренировок» — и он будет в состоянии убить человека.

Он провел опасный опыт: решил попытаться остановить искрообразование в двигателе мотоцикла. Завел мотоцикл и волевым усилием попытался погасить ис-

кру. Сосредоточив внимание на электродах свечи зажигания, он постарался сделать пространство между ними непроходимым для разряда, своего рода изолятором. Этот эксперимент подразумевал, разумеется, куда более глубокое вмешательство в физические процессы, чем замораживание нервных волокон или опыт со спичкой. Он аж вспотел, пока бился над этой задачей. Наконец двигатель начал давать осечки, но тут нечто странное случилось с ним самим. Ужасно закружилась голова, подступила тошнота, и он потерял сознание. А когда пришел в себя, двигатель снова работал нормально.

Эта неудача стала для него своего рода вызовом. Он никогда всерьез не интересовался чисто теоретической, научной стороной своих экспериментов, но теперь, волей-неволей, ему пришлось задаться вопросом, что же в действительности происходит, когда он вмешивается в тот или иной физический процесс. Самое простое объяснение заключалось в том, что физическая энергия, которая должна была пройти между электродами свечи, перенаправилась на него самого, в результате чего он пострадал от электрического удара, как если бы прикоснулся к электродам. При всей простоте и логичности такого объяснения сомнения все же оставались, поскольку симптомы имели мало общего с теми, что наблюдаются при поражении электрическим током. Более близким к истине представлялось предположение, что торможение перемещения столь значительного объема физической энергии вызвало глубокие физические возмущения в его организме. Говоря проще, внешняя физическая энергия неким образом преобразовалась в психическую в нем самом. В пользу

такой теории говорил и тот факт, что он очнулся в состоянии сильного возбуждения и умственной бодрости, как если бы выпил что-то стимулирующее.

Так или иначе он принял более простую версию и взялся за дело, имея целью отвести внешнюю энергию в сторону, дабы защититься и не пострадать от нее самому. После весьма рискованного эксперимента, он констатировал, что это получается, если концентрировать внимание как на свече зажигания, так и на каком-нибудь живом организме, на которого он затем «перенаправлял электрический заряд». Хватило небольшого воробушка. От удара электрическим током птичка умерла, тогда как сам Джим оставался в сознании достаточно долго для того, чтобы остановить двигатель. В другой раз он использовал в качестве «молниеотвода» соседскую собачку. Животное повалилось наземь, но вскоре пришло в чувство и унеслось прочь, оглашая сад истошным лаем.

Его следующий эксперимент оказался более захватывающим и намного более предосудительным. Выехав за город, он расположился на холме, с которого мог видеть довольно-таки длинный участок дороги. Вскоре показался автомобиль. Сосредоточив все свое внимание на свечах зажигания, он «пожелал», чтобы электрическая энергия перетекла в водителя. Машина замедлила ход, принялась вилять из стороны в сторону и в конце концов остановилась прямо посреди дороги. Он увидел сгорбившегося над рулевым колесом водителя. Больше в машине никого не было. До предела взволнованный, Джим ждал, что произойдет дальше. Через несколько минут появился другой автомобиль,

двигавшийся в противоположном направлении, и, издав несколько возмущенных гудков, резко остановился, визжа тормозами. Выскочивший из машины водитель подбежал к бесхозному авто, открыл дверцу и обнаружил потерявшего сознание беднягу. Пока явно пребывавший в растерянности новоприбывший раздумывал над тем, что же делать, пострадавший с горем пополам пришел в себя. У них состоялся непродолжительный, но оживленный разговор, после которого машины разъехались в разные стороны.

* * *

Джим чувствовал, что уже готов впечатлить подругу. После убийства малиновки они эпизодически встречались, и он, по-ребячески неуклюже, пытался склонить ее к сексу. Она всякий раз отвечала отказом, но было заметно, что теперь он интересуется ее куда больше, чем до случая с малиновкой. Пусть время от времени она и делала вид, что он ей глубоко безразличен, Джим, однако же, не сомневался, что втайне ее тянет к нему. Тянет непреодолимо.

Но в один из дней его ожидал неприятный сюрприз. Возвращаясь с работы домой, он едва успел войти в автобус и, поднявшись наверх, усестись, как заметил Хелен, сидевшую в передней части салона рядом с кучерявым молодым человеком в спортивной куртке. Они о чем-то оживленно болтали, едва не соприкасаясь головами. Вскоре Хелен рассмеялась (таким звонким и счастливым смехом, которого он никогда от нее не слышал) и повернулась к спутнику пылающим живостью и

любовью лицом — по крайней мере именно таким оно показалось сидевшему в нескольких от них рядах ревнивцу.

Иррациональная ярость охватила Джима. Он был столь несведущ в девичьих повадках и столь возмущен тем, что «его девушка» (а именно таковой он ее и считал) могла обратить внимание на другого мужчину, что ревность в буквальном смысле застала ему глаза. Он и думать ни о чем другом не мог, кроме как об уничтожении соперника. Прожигая взглядом ненавистный затылок сидевшего впереди парня, он лихорадочно вызывал в памяти образы позвоночника и узелков нервных волокон. Нервный поток должен остановиться, должен, должен остановиться. Спустя пару минут курчавая голова упала на плечо Хелен, а затем и все тело повалилось вперед.

Убийца поспешно поднялся со своего места и повернулся спиной к зарождающейся суматохе. Словно и не замечая случившегося несчастья, он покинул автобус.

Оставшуюся часть пути Джим проделал пешком, мысленно все еще празднуя свой триумф. Но малопомалу исступление сошло на нет, и он проникся осознанием того, что только что стал убийцей. Он срочно напомнил себе: в конечном счете нет никакого смысла чувствовать себя виновным, ведь нравственность — не более чем суеверие. Но, увы, чувство вины, ужасной вины не давало покоя, — вины тем более тяжкой, что он ничуть не опасался того, что его поймают.

По мере того как один день сменялся другим, Джим метался между тем, что представлялось ему «иррациональной» виной, и опьяняющим триумфом. Мир в са-

мом деле лежал у его ног — оставалось лишь правильно разыграть карты. К несчастью, чувство вины по-прежнему терзало его. По ночам он долго не мог уснуть, а когда наконец засыпал, то видел одни лишь кошмары. Днем опытам мешали фантазии о том, что он продал душу дьяволу. Сама эта мысль была столь глупой, что приводила его в бешенство, и однако же избавиться от нее никак не удавалось. Он начал довольно-таки сильно выпивать, но быстро понял, что алкоголь понижает психокинетические способности, поэтому решительно порвал с этой привычкой.

Другой возможной формой избавления от этой всепоглощающей вины являлся секс, но он почему-то не мог заставить себя предстать перед Хелен. Он иррационально боялся ее, хотя самой девушке, вероятно, было невдомек, что он убил ее любовника.

В конце концов они случайно пересеклись на улице. У него не было ни малейшей возможности избежать этой встречи. Ему показалось, что Хелен выглядит изнуренной, но она улыбнулась ему и даже предложила поболтать за чашечкой кофе. Раздираемый страхом и вожделением, он согласился, и вскоре они уже сидели в кафе. После парочки тривиальных ремарок она сказала:

— Ты должен меня успокоить! Недавно я пережила ужасный удар. Ехала в автобусе с братом, который три года жил в Африке, и мы как раз разговаривали об этом, как он потерял сознание и почти тотчас же умер. А выглядел таким здоровым! Говорят, причиной был какой-то новый вирус в спинном мозге. — Заметив, что Джим смертельно побледнел, она воскликнула: — Что

с тобой? Уж не собираешься ли и ты умереть у меня на руках?

Быстро овладев собой, он заверил ее, что причиной этой внезапной слабости стало лишь его крайнее ей сочувствие. Ведь он так ее любит! Разве могла ее беда оставить его равнодушным? К его облегчению, Хелен, судя по всему, вполне удовлетворилась этим объяснением. Она даже наградила его — впервые за все время их знакомства! — той пылкой улыбкой, которую он видел на ее лице тогда, в автобусе.

Приободрившись, Джим решил ковать железо, пока горячо. Он сказал, что на все ради нее готов; они обязательно должны встретиться снова! И если ей все еще интересны его опыты, как-нибудь он продемонстрирует нечто действительно захватывающее. Они договорились съездить за город в ближайшее воскресенье. Про себя он уже решил повторить для нее трюк с автомобилем.

Воскресный день выдался по-летнему погожим и солнечным. Сидя в пустом железнодорожном вагоне, они мило беседовали о ее брате. Он находил этот разговор невыносимо скучным, однако же выражал горячее сочувствие. Она призналась, что даже не предполагала, что у него такое доброе сердце. Он взял ее руку в свои. Их лица сблизились, и они посмотрели друг другу в глаза. Она ощутила непреодолимую нежность к этому странному, слегка гротесковому, хотя и ребяческому лицу, в котором, сказала она себе, невинность детства смешивалась с взрослым осознанием силы. Она почувствовала скрытую жестокость и одобрила ее. Джим, в свою очередь, понимал, что она очень желан-

на. Теплый румянец здоровья вернулся на ее щечки. (Или то был румянец любви?) Пухлые, сладкие губы, добрые, проницательные карие глаза наполняли его не только физическим желанием, но и восторженной кро-
тостью, совершенно для него новой. Воспоминание о
былой вине и новый обман снедали его столь сильно, что эта душевная боль отразилась на его лице. Отстраи-
вившись от нее, он наклонился вперед, обхватив голо-
ву руками. Озадаченная и преисполненная сострада-
ния, она обняла его и принялась целовать его волосы. Внезапно он разрыдался и с головой зарылся в ее
пышную грудь. Она обняла его еще крепче и начала
что-то напевать ему на ушко, словно он был ее дитя. Она умоляла его сказать, в чем дело, но он лишь бор-
мотал сквозь плач:

— О, я ужасен! Я недостаточно хорош для тебя!

Позднее в тот же день Джим, однако, воспрянул ду-
хом, и они отправились рука об руку гулять по лесу. Он
рассказал ей о своих последних успехах, в том числе и о
случае с машиной. Она была глубоко впечатлена и од-
новременно шокирована, с нравственной точки зре-
ния, той безответственностью, с которой он отважился
на сей фатальный инцидент исключительно для про-
верки собственных способностей; очарована тем фана-
тизмом, который заводил его все дальше и дальше. Он
же, явно польщенный проявленной ею заинтересован-
ностью, был опьянен ее нежностью и физической бли-
зостью, так как они уже расположились на том холми-
ке, с которого он намеревался проделать трюк с маши-
ной, и теперь он лежал, положив голову ей на колени,
глядя в лицо, в котором, возможно, собралась вся та

любовь, что отсутствовала в его жизни. Он понял, что играет роль скорее ребенка, нежели любовника, но, казалось, ей это необходимо, и он был рад играть эту роль. Но вскоре дало о себе знать сексуальное желание, а вместе с ним — и мужское самоуважение. Он ощутил неконтролируемое желание проявить свою богоподобную натуру за счет какой-нибудь грандиозной демонстрации своих же способностей. Он превратился в примитивного дикаря, который должен убить врага на глазах у возлюбленной.

Взглянув вверх через развевающиеся на ветру волосы Хелен, он увидел небольшой движущийся предмет. На мгновение он принял его за комара, но затем осознал, что это аэроплан, все еще далекий, но с каждой секундой увеличивающийся в размерах.

— Взгляни на тот самолет, — сказал он, и она вздрогнула от резкости его голоса. Она посмотрела в небо, затем — снова на него. Лицо его было искажено усилием, глаза сверкали, ноздри раздувались. Ей захотелось оттолкнуть его от себя, столь жестоким он выглядел, но любопытство взяло верх.

— Не своди с него глаз, — приказал он. Она посмотрела вверх, потом вниз, на Джима, снова вверх. Она знала, что должна разорвать эти дьявольские чары. (Есть ведь нечто, что зовется нравственностью, но, вероятно, это всего лишь заблуждение) Непреодолимое влечение возобладало.

Через минуту-другую все четыре двигателя приближающегося аэроплана, один за другим, засбоили, а потом и вовсе заглохли. Самолет еще какое-то время планировал, но затем стало очевидно, что он уже не под-

чиняется управлению. Он покачнулся, зашатался и ушел в крутое, спиралеобразное пике. Хелен закричала, но ничего не сделала. Аэроплан исчез за ближайшим лесом. Спустя несколько секунд послышался приглушенный звук взрыва, и над лесом вьющейся черной струей начал подниматься дым.

Джим поднял голову с колен Хелен и, повернувшись, вдавил девушку в землю.

— Вот как я люблю тебя, — горячо прошептал он и принялся целовать ее губы, шею.

Хелен предприняла отчаянную попытку встряхнуться и воспротивиться импульсивному позыву этого безумца. Она изо всех сил вырывалась из его объятий, и вскоре они уже оба стояли друг против друга, часто и тяжело дыша.

— Да ты сумасшедший! — вскричала она. — Подумай, что ты наделал! Ты убил людей только для того, чтобы показать, какой ты умный. А затем пытался заняться со мною любовью. — Она закрыла лицо руками и зарыдала.

Джим, все еще пребывая в состоянии безумного ликования, рассмеялся, а затем принялся подначивать ее.

— Можешь сколько угодно называть себя реалисткой, но ты просто привереда. Что ж, теперь ты знаешь, какой я в действительности и на что способен. А самое главное — ты теперь принадлежишь мне. Я могу убить тебя в любой момент, где бы ты ни была. Могу сделать с тобой все что пожелаю. А попытаешься остановить меня — сгинешь, как та малиновка и... тот парень из автобуса.

Ее руки упали от заплаканного лица. Она уставилась на него в ужасе — и в то же время с нежностью.

— Ты совершенно безумен, бедняжка, — спокойно сказала она. — А казался таким милым! О, дорогой, что я могу для тебя сделать?

Воцарилась долгая тишина. Затем вдруг Джим повалился на землю, ревя, словно дитя. Она стояла над ним в полной растерянности.

Пока она раздумывала, что делать, и кляла себя за то, что не разорвала чары прежде чем стало слишком поздно, он терзался муками раскаяния и презрения к себе. Потом, во избежание худшего, попытался применить свою технику к самому себе, но это оказалось сложнее, чем казалось, так как, начав терять сознание, он утратил и контроль над всей операцией. Но он все же сделал отчаянное волевое усилие. Когда Хелен, заметив его неподвижность, склонилась над ним, он был уже мертв.

Восток — это Запад

Утром я покинул мою съемную квартиру в Западном Кёрби и проследовал вдоль эстуариевого берега к своему любимому купальному месту, где волны во время прилива не добивают всего нескольких ярдов до подножия глинистых клифов. Песчаный пляж, как всегда в жаркий воскресный денек, уже заполнили группки отдыхающих, купавшихся и принимавших солнечные ванны. Я разделся, бросился в воду и плыл до тех пор, пока берег не начал казаться всего лишь тонкой полоской между морем и небом. Там я довольно-таки долго пролежал на воде «звездочкой», позволяя солнцу пробиваться сквозь мои сомкнутые веки. В конце концов я ощутил легкое головокружение и тошноту, поэтому поспешил вернуться на берег. Во время относительно продолжительного обратного заплыва я был поражен тем фактом, что берег и скалы, которые я ожидал увидеть битком забитыми, фактически опустели. Единственная горка одежды, которую я смог заприметить и потому принял за мою собственную, озадачила меня своим цветом. Я пришел в еще большее недоумение, когда, выбравшись из воды и пройдя к этой горке, обнаружил, что кто-то, судя по всему, утащил мой фланелевый костюм, оставив вместо него чудаковатый «восточный» маскарадный наряд — напоминающие пижамные брюки и рубашку из богато расписанной синей парчи. Даже полотенце было украшено китайским или японским узором, но в одном из уголков помечено моими собственными инициалами. После тщетных по-

исков моей личной одежды я насухо вытерся и начал экспериментировать с маскарадным костюмом, дрожа и проклиная сыгравшего со мной столь грубую шутку юмориста.

Яркая серебряная монета, размером с флорин, выпала из одного из карманов. Я поднял ее и удивился: выглядела она весьма странно. При ближайшем рассмотрении я удивился еще больше, так как на аверсе был выбит суровый, но отнюдь не уродливый женский профиль, обрамленный легендой: «*Godiva Dei Gra. Brit. et Gall. Reg.*» Реверс, по всей видимости, представлял собой архаичную версию королевского герба, в котором наличествовали французские лилии, но отсутствовала ирландская арфа. На кромке я разобрал: «Один флорин. 1934». Имелись тут и какие-то японские буквы, которые, к моему изумлению, я тоже прочел. Они означали: «Королевство Британии. Два шиллинга». Другие монеты в карманах оказались столь же фантастичными. Нашел я там и надорванный конверт с письмом, написанным по-японски. Я сразу же определил, что на нем стоят мои собственные имя и фамилия — только в японской транскрипции. Адрес принадлежал известной судостроительной фирме из Ливерпуля. Известной? Сбравшись с мыслями, я понял, что, пусть она и кажется знакомой, в действительности я ничего о ней не знаю.

К этому времени я был уже глубоко встревожен состоянием моего рассудка. Как так вышло, что я читаю по-японски? Откуда эта одежда? И что стало с воскресной толпой?

Раз уж письмо было адресовано мне, я прочитал его. Автор принимал приглашение погостить у меня несколько дней с его женой. Упомянув о различных судебных вопросах, которые дошли до меня с гнетущим смещением привычности и новизны, он подписался, если не ошибаюсь, «Адзуки Кавамура».

Похолодев от испуга, я напялил на себя одежду, при этом отметив, что каждое движение исполнялось с легкостью укоренившейся привычки, а не с неуклюжестью человека, всячески старающегося влезть в причудливый маскарадный костюм.

Поспешно зашагав вдоль берега в направлении Западного Кёрби, я с новым шоком обнаружил, что далекие здания выглядят совершенно по-другому. Успокаивало хотя бы то, что остров Хилбри был более или менее таким, каким ему и следовало быть, да и очертания валлийских холмов по ту сторону эстуария вполне соответствовали себе прежним. Чайки также мало чем отличались от тех, какими мне помнились. С полдюжины пеганок, плававших в отступающем приливе, выглядели как и должно.

Ко мне приближались две фигуры. Что они подумают о моем маскарадном наряде? Но, судя по всему, это был не маскарадный наряд, но традиционный костюм джентльмена. По мере продвижения вперед парочка все больше проявлялась как мужчина и девочка, шествовавшие рука об руку. За несколько шагов до меня они разъединились. Он приподнял шляпу, она сделала реверанс. Равнодушно, почти с презрением, я ответил на это приветствие. Мы разошлись.

Меня поразили тот факт, что их одежда не была ни современной европейской, ни восточной, как моя. Она являла собой очень неточный и небрежный вариант костюма елизаветинской Англии, какой носил в те времена простой люд. Но мужчина курил сигарету, а девочка укрывалась от солнца поблекшим японским зонтиком.

По прибытии в город я обнаружил, что это вовсе не Западный Кёрби, не тот Западный Кёрби, который я знал. Природная обстановка была нормальной, но творения человеческих рук выглядели совершенно неузнаваемыми. С несокрушимой уверенностью я прошел по абсолютно незнакомой набережной. Дома, в большинстве своем, тут были фахверковые. Попадались даже соломенные, но прочие безошибочно свидетельствовали о влиянии японской или китайской культуры — по форме все они напоминали пагоду. Имелась здесь и парочка высоких железобетонных строений, благодаря широким оконным проемам походивших скорее на хрустальные дворцы, но даже в их декоре чувствовалось нечто азиатское. Складывалось впечатление, что Китай или Япония вдруг стали эффективными центрами «американизации».

Набережная была заполнена людьми всех возрастов и обоих полов, одетых, по большей части, в полуазиатском стиле. В некоторых случаях исконный английский наряд дополнялся чем-то иноземным — то китайским шарфиком с драконами, то цветным зонтиком от солнца. Самые элегантные женщины носили то, что я бы описал как шелковое кимоно, но многие из этих одеяний были безрукавными, и не одно из них не опуска-

лось до лодыжек. Они демонстрировали шелковые же чулки того типа, которые в моем собственном мире — если бы не их величайшее разнообразие и яркость расцветок — вполне могли бы счесть европейским и современным. Одна или две женщины, очевидно, самые смелые, щеголяли очень яркими шелковыми брюками и маленькими блузками без воротника и рукавов. Свободные парчовые мужские костюмы были, как правило, более темных расцветок. Я с удивлением заметил, что лица многих даже самых нарядных гуляющих усеяны оспинами. Поразило меня и большое число щеголеватых мужчин в униформе, судя по всему, армейских офицеров, — все они были в зеленых, «робингудовских» туниках и широкополых шляпах. Абордажные сабли с широким эфесом и пистолеты в изящных кобурах, закрепленные на бедрах, сочетали средневековое с современным.

Разговаривали все эти странные люди на вполне узнаваемом английском, но какого-то гротескного и отчасти архаичного, как мне показалось, типа. Иногда, но не очень часто, звучали и слова японского происхождения. Более специфические, представляли собой, пожалуй, английские переводы японских или китайских оригиналов. На крошечной железобетонной постройке, оказавшейся телефонной будкой, я заметил фразу «Общественный пункт мгновенной связи», а под ней — выведенное японскими буквами японское же слово «дэнва».

Автомобилей там тоже хватало, но попадались и конные повозки, и даже паланкины. В открытом море я увидел античное парусное суденышко с высокой кор-

мой, а на горизонте — огромный океанский лайнер, оставляющий после себя облако черного дыма.

Спустя минуту-другую я свернул с набережной и прошелся по парочке улиц, заполненных лавками и бутылками всех мастей. Окна их были занавешены по случаю выходного дня. На многих из крупных магазинов английские вывески соседствовали с китайскими и японскими. Я миновал азиатское строение, которое принял за буддистский храм. Ознакомившись с печатными извещениями, вывешенными у входа, я решил, что он ориентирован не только на посетителей-азиатов, но и на новообращенных англичан. Вскоре я очутился в более бедном квартале и был шокирован тем, сколь перенаселенной и запущенной оказалась эта часть города. Стайки желторотых оборванцев в исконно английских одеждах играли у каждой сточной канавы. Они имели неприятную склонность разбегаться во все стороны при моем приближении, хотя были и такие, которые оставались на месте, угрюмо почесывая свои вихрастые шевелюры. Многие из них страдали рахитом или были покрыты гнойными язвами. В самом сердце этого нищенского квартала я наткнулся на старый готический храм, оказавшийся приходской римско-католической церковью. Постоянный поток верующих, облаченных чаще всего в поношенные и ветхие одежды, втекал в храм через одну дверь и вытекал через другую.

Через какое-то время улицы начали, если можно так выразиться, «улучшаться», и вскоре я вышел на широкий проспект, окаймленный садами и причудливыми домами того типа, который я теперь уже признал как азиатский и вместе с тем современный.

Один из этих экзотичных особняков, судя по всему, был моим собственным, так как я вошел в него без разрешения. Это было восхитительное, даже роскошное здание, и мне подумалось, что, изменив свой мир, я поднялся и по социальной лестнице.

На шум моих шагов появился камердинер в чем-то напоминающей «бифитерскую» ливрее. Бросив ему мой купальный костюм и полотенце, я открыл дверь прихожей и прошел в гостиную. Прежде чем я успел рассмотреть ее, с разбросанных по полу подушек поднялась женщина и заключила меня в объятия.

— Какой же ты, Том, однако, негодник! — сказала она с широкой улыбкой. — Не прошло и месяца, как мы поженились, а ты уже изволишь опаздывать к воскресной трапезе! Но сама, дурочка, виновата: не следовало отпускать тебя на эти порочные азиатские водные процедуры одного, без присмотра!

Будучи холостяком, я должен был бы прийти от такого приема в некоторое замешательство, но обнаружил, что обнимаю ее с самоуверенностью собственника и целую ее губы с жаром.

— Бетти, любимая, дай-ка мне как следует тебя рассмотреть, — сказал я. — Хочу убедиться, что ты по мне действительно скучала.

Итак, это была моя жена, звали ее Бетти, мы поженились с месяц назад и, похоже, еще не приелись друг другу. Она была блондинка, роскошный образец нордического типа. За блеском смеющихся глаз я различил неподдельную искренность. Высокая; под зеленым шелковым кимоно скрывалась фигура амазонки. Когда она наконец разомкнула объятия и, улыбаясь через

плечо, упорхнула в соседнюю комнату, я спросил себя, как мне удалось убедить столь чудесное создание выйти за меня замуж.

Прозвучал гонг (китайская бронза), призывая к воскресному обеду. Я бросился наверх, чтобы принять душ, но на лестничной площадке встретил наших японских гостей. Он оказался стройным, средних лет мужчиной в парчовом костюме сдержанного серого цвета; она, гораздо более молодая, — изящной женщиной в темно-синих чесучовых брюках и малинового цвета блузке. Она уже прошла освещенное место, и потому ее лица я практически не видел.

Я глубоко поклонился и заговорил по-японски. Было довольно-таки страшновато наблюдать, как подходящие мысли возникают в моем мозгу и гладко излагаются на совершенно незнакомом, как я полагал, мне языке.

— Надеюсь, сэр, утро выдалось для вас удачным, и сегодня вам не нужно будет снова нас покидать. Мы хотели бы представить вас кое-каким нашим друзьям, которые давно мечтают свести с вами знакомство.

Супруги ответили на мое приветствие, но как-то невесело. Вскоре я обнаружил, что для уныния у них действительно имелась причина.

— Увы, — сказал гость, — наш утренний опыт подсказывает, что лишний раз на публике показываться не стоит. С тех пор как разразился кризис, ваши соотечественники не очень хорошо относятся к людям с желтой кожей. Если позволите, мы проживем у вас, пока я не улажу дела, и наш корабль не будет готов к отплытию; но ради вашего и нашего собственного блага будет

лучше, если мы постараемся избежать возможных неприятностей.

Я хотел было возразить, но он поднял руку, улыбнулся и увел жену вниз.

Помывшись в выложенной плиткой ванной с хромированными кранами (они закручивались в противоположную сторону), я поспешил в нашу спальню — причесаться. Увидеть в зеркале привычное лицо было для меня огромным облегчением; но, то ли вследствие освежающего купания, то ли действия причин более продолжительного действия я выглядел более здоровым и процветающим, нежели в другом моем мире.

На туалетном столике лежала газета. Основная ее часть была на английском, но парочка колонок и несколько рекламных объявлений — на японском. Я смутно помнил, что читал ее в постели за чашкой утреннего чая. Называлась она, кажется, «Санди Уочман». Я развернул ее и на первой же странице увидел крупный заголовок: **«УЛЬТИМАТУМ ЖЕЛТОЙ РАСЕ. РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЕВРОПЫ. БРИТАНИЯ ВСТАНЕТ НА ЗАЩИТУ СВОИХ СОЮЗНИКОВ».**

Звонкий голос Бетти предложил мне поторопиться и не «заморачиваться» так моим туалетом.

Когда я спустился вниз, она объясняла гостям, на своем сносном, но довольно-таки небрежном японском, что снова поймала их на слове и распорядилась приготовить для них типичную английскую пищу.

— Хотя, — добавила она с едва заметной эмфазой, — сами мы уже привыкли к восточной диете.

Пришлось мне нарезать на кусочки старый добрый английский ростбиф и одновременно вести пустой раз-

говор на японском. Судя по той легкости, с которой я сочетал эти два действия, и то, и другое, вероятно, были мне привычны.

И все же каждый момент этого жизненного опыта был совершенно новым и фантастичным. С любопытством, но притом и привычностью, мои глаза блуждали по комнате. Обеденный сервиз (как и сама обеденная церемония) оказался китайским, хотя, ради соответствия якобы исконному блюду, ему следовало бы быть оловянным или деревянным. Немного позабавили меня наши изящные, на тоненьких ножках, и широкие, почти плоские чашечки для саке — серебряные, с золотой инкрустацией. Я приобрел их в Нагасаки в мой последний визит на Восток. Судя по всему, жена не устояла перед соблазном похвастаться ими, хотя, в рамках типичной английской трапезы они выглядели абсолютно неуместными. Мебель, с определенной натяжкой, можно было назвать позднеготической. На стенах висели окрашенные шелка, японские и китайские, насколько мне было известно, хотя некоторые из них смутно напоминали модернистское европейское искусство из моего другого мира. С особой гордостью и любовью я обвел взглядом высокое шелковистое панно, на котором очень утонченно и абстрактно был изображен небольшой водопад, окруженный осенними деревьями. Более отдаленная растительность утопала в завитках легкого тумана или водяной пыли. Выше и еще более далекие, неясно вырисовывались среди туч, одна над другой, куполообразные верхушки лесов. «За лесом лес навис над головой»⁷, — пробормотал я про себя и за-

⁷ Джон Китс, «Гиперион».

дался вопросом: сколь прочны позиции Китса в моем новом, странном мире. Это столь дорогое моему сердцу панно, этот шелковистый лес медно-красного, золотистого и жемчужно-серого цвета я купил у одного токийского художника.

Компания была столь же разнородной, как и комната. Две служанки-англичанки в домашних чепцах и шнурованных лифах скромно держались в глубине залы. Напротив меня сидела моя изысканно английская жена; теплый тон ее загорелых рук резко контрастировал с холодной, пергаментоподобной кожей японской леди. Степенный и слегка седоватый господин Кавамура оказался типичным — я наполовину предполагал это, наполовину помнил — респектабельным японским бизнесменом. Он был «судовым директором» (что является японским эквивалентом судовладельца), то есть чиновником, контролирующим ту или иную судоходную линию. В Японии, как мне припоминалось, все средства производства теперь принадлежали государству.

Этот факт, наряду с другими, всплывавшими по ходу разговора, заставил меня пересмотреть взгляд на взаимосвязь между моим новым миром и миром старым. Похоже, Япония и Британия просто-напросто поменялись ролями. Но, судя по всему, ситуация была гораздо более сложной, так как Япония стала в какой-то мере социалистическим государством. Вскоре я получил новое доказательство этого осложнения.

Мое жгучее любопытство касательно каждой незначительной мелочи и беспокойство о том, как бы мое собственное поведение не выдало меня с головой, обещали отступить перед третьим интересом, а именно:

гипнотическим очарованием личности госпожи Кавамуры. Сначала я склонялся думать о ней как об осовремененной и всемирно признанной реинкарнации леди Мурасаки⁸, но вскоре я узнал, что на самом деле она — уроженка не Японии, но Китая. Хотя ее блестящие черные волосы были коротко подстрижены, а ее манера держаться, как и одежда, — откровенно современной, черты ее кремового цвета лица, как и его серьезное, осмысленное выражение наводили на мысль о древней культуре ее расы. Несмотря на короткую стрижку «под фокстрот» и обнаженные руки, она напоминала мне тонкую, изящную китайскую миниатюру, вышитую на шелке. Как-то, давным-давно, я наткнулся на нее в моем другом мире, и ее бледное, безупречное лицо стало для меня символом всего самого лучшего, что есть в Китае. По сравнению с ним, лицо госпожи Кавамуры казалось даже более ухоженным и одухотворенным. Тяжелые веки придавали ей выражение постоянного созерцания. Приятная и легкая насмешка светилась в ее глазах, играла на ее губах. Но больше всего меня заинтриговала ее манера жестиковать руками и поворачивать голову. Все ее поведение напоминало мне действия художника, выполняющего некую тонкую работу кистью, каждое действие отличалось точностью и при этом плавностью.

В перерыве между блюдами госпожа Кавамура достала из своей плоской дамской сумочки портсигар и спро-

⁸ Судя по всему, автор имеет в виду Мурасаки Сикибу (978—1014), японскую поэтессу и писательницу периода Хэйан, автора романа «Повесть о Гэндзи», дневника и собрания стихотворений.

сила, разрешается ли курить на столь ранней стадии английской трапезы. После крошечной паузы Бетти поспешила ответить: «Ну конечно; в домах тех, кому доводилось путешествовать». Ровно до этого момента я играл мою роль без малейшей оплошности, но тут наконец дал маху. Чисто автоматически вытащив из кармана спичечный коробок, я зажег спичку и взглядом предложил гостье прикурить от нее. Поколебавшись секунду-другую, госпожа Кавамура посмотрела мне прямо в глаза, бросила быстрый взгляд на мою супругу, потом с улыбкой покачала головой и воспользовалась собственной зажигалкой. Бетти залилась румянцем, но постаралась ничем не выказать смущения и неловкости. До меня мгновенно дошло, что в Англии (этого нового мира) огонек к сигарете женщины может себе позволить поднести лишь тот, кто находится с нею в близких отношениях. Я забормотал слова извинения, но госпожа Кавамура спасла ситуацию, рассмеявшись и сказав Бетти: «Ваш муж забыл, что он уже не в Японии, где этот поступок считается элементарной вежливостью». Я ухватился за эту отговорку. «Я как-то уже и привык к этому. А сегодня еще и на солнце перегрелся». Тут уж пришел черед Бетти рассмеяться, что она охотно и сделала. Перейдя на английский, она заметила: «Восточные обычаи не перестают меня удивлять, Том, но я надеюсь, что тоже смогу с ними свыкнуться». И она добавила по-японски: «Конечно, мы, англичане, кое в чем ведем себя довольно-таки глупо».

Госпожа Кавамура наклонилась к Бетти и слегка коснулась руки, что все еще нервно крошила кусочек хлеба. В этом жесте не было ничего покровительственного,

а если даже и было, то он выглядел совершенно безобидным по причине искреннего и весьма робкого уважения культуры, которая уже вступила в золотую пору своего расцвета, к культуре, которой лишь предстояло развиваться.

— Перед вами, английскими женщинами, — сказала она, — стоит великая задача. Вы должны проследить за тем, чтобы ваши мужчины сохранили то лучшее, что есть в Англии, перенимая при этом то лучшее, что есть на Востоке. — Улыбнувшись мужу, она продолжала: — Мужчины — они все, как дети. Гоняются за яркими, безвкусными новинками, выбрасывая испытанные старые вещи. Вот и Адзуки, к примеру, гораздо больше интересуется его новый турбозлектрический лайнер, нежели несравненная литература моей страны.

Эта злорадная реплика, похоже, достигла своей цели, так как господин Кавамура ответил с добродушным негодованием, заявив, что он как раз таки любит читать, и добавил, что если бы никто не думал о кораблях и прочих практических вопросах, то едва ли кто-либо мог бы позволить себе наслаждаться на досуге китайской литературой.

До сих пор разговор не касался той темы, которая занимала все наши умы, — международного кризиса. С общего согласия мы обсуждали лишь вопросы личного характера, например, обучение племянника Кавамуры в Кантоне и младшей сестры Бетти в ориентализированной школе в Лондоне. Но теперь беседа окончательно свернула на различия между Востоком и Западом. Наши гости благородно превозносили смелость и предпримчивость, которые всего за восемьдесят лет пре-

вратили Британию из феодального государства в одно из наиболее развитых современных индустриальных обществ. На это я вежливо ответил, что мы лишь позаимствовали то, что было создано гениальной японской нацией, — ведь это же японцы были пионерами of технических изобретений и коммерческой организации на протяжении четырех самых важных веков человеческой истории.

— Если бы на рассвете нашей эры, после падения Рима, мы, англичане, были столь же великими мореплавателями, какими всегда были японцы, мы могли бы опередить вас. Но хотя нордические пираты внесли свой вклад в наше расовое племя, мы не сохранили их морского образа жизни. Как не сохранил его и весь европейский континент.

Эти слова легко слетели с моих уст, но они были пугающе новыми для моего разума.

Госпожа Кавамура заметила, что на Востоке сейчас бытует убеждение, что меркантилизм и механизация в действительности принесли больше вреда, нежели пользы. Из-за них очень многие перестали обращать внимание на все то, что является самым желанным и приятным в жизни. Разве не ставят сейчас англичане под угрозу уничтожения собственную восхитительную родную культуру, спеша доминировать в мире благодаря своей новой индустриальной мощи?

— Нам представляется ужасным, — сказала она, — что, несмотря на наш трагический пример, вы безрассудно погружаетесь в современные варварство и грубость, из которых мы сами только сегодня начинаем потихоньку выбираться. Неужели сейчас, как раз в то

самое время, когда мы наконец подобрались к истокам мира, мудрости и всеобщего счастья, когда китайские народы забывают наконец о многовековой вражде, когда вся желтая раса уже почти примирилась с полуевропейской, но созревающей культурой России, мы окажемся втянутыми в этот страшный конфликт между вами и Новой Японией? Если начнется война, смогу ли я думать о вас, столь приятной и милой английской чете, как о моих врагах?

При упоминании Новой Японии я вдруг с удивлением вспомнил великую независимую Федерацию, включившую в себя всю Северную Америку. Эта обширные земли некогда являлись самой успешной из японских колоний, а недавно стали самой могущественной из всех «Восточных держав».

— Но зачем, — спросил я, — вам вообще вмешиваться в этот спор? Напрямую он вас никак не касается. За исключением Гибралтара, который вы тоже вот-вот продадите нам, у вас больше нет никаких европейских владений. Ваша империя распадается, и вам без нее даже лучше. С сокращением населения вы становитесь гораздо менее зависимыми во внешней торговле, чем прежде. Ваша традиционная защита угнетенных должна склонить вас на нашу сторону или по крайней мере не на противостоящую. Да и что вы выиграете, ввязавшись в конфликт? Вашим социальным условиям завидует весь Восток, да и Запад тоже. И хотя ваше политическое влияние ослабло, вы по-прежнему делите с Северным Китаем культурное лидерство в мире. Война разрушит все это. Если вы вмешаетесь, то просто-напросто будете использованы как орудие вашими бо-

лее могущественными и менее цивилизованными сородичами. Но почему вообще встает вопрос о вашем вмешательстве?

— Почему? — переспросил господин Кавамура и, после небольшой паузы, ответил: — Истинная причина, полагаю, заключается вот в чем. Пусть мы потеряли нашу империю, но мы все еще с ней связаны. Наши бывшие доминионы в Южной Африке и Южной Японии (последнее название, как я понял, относилось к Австралии) и наш союзник Королевство Маори твердо держались за нас. Почти вся наша внешняя торговля (а мы по-прежнему в ней нуждаемся) — это торговля с ними. Так вот, некоторые из этих бывших доминионов ужасно боятся вашего возрастающего могущества. Они располагают огромными незанятыми территориями, тогда как Англия и ваш неразлучный союзник Ирландия перенаселены. Мы давным-давно научились контролировать прирост населения, но вы настойчиво продолжаете отказываться от этой необходимой меры. Вместе с Ирландией и при поддержке зависимых от вас европейских стран вы представляете значительную военную силу. — Здесь он замялся, но лишь на мгновение. — Ваш империализм по меньшей мере столь же жесток и беспощаден, сколь жестоким и беспощадным был и наш когда-то. Наши прежние колонии прекрасно осознают, что рано или поздно вы на них нападете. И лучше раньше, прежде чем вы станете непобедимыми.

— Но вы ведь, несомненно, понимаете, — вступила в разговор Бетти, — что мы должны освободить Европу. Я знаю, что наша политика часто была агрессивной и раздражающей — я не из тех, кто полагают, что мы все-

гда правы, — но на сей раз мы должны проявить твердость. Это наш священный долг.

— Что ж, — произнес господин Кавамура, — в общем и целом, это довольно-таки веские аргументы, хотя мы, конечно же, не верим, что вы намерены освободить Европу. Вы собираетесь отстранить Новую Японию от управления Европой, взяв эту функцию на себя. Именно такова реальная цель ваших заслуженных государственных деятелей. Как бы то ни было, лично я согласен, что для Японии вступать в войну — безумие. Но расовые чувства задеты и возбуждены, отчасти вследствие пропаганды торговых интересов в Новой Японии, отчасти из-за публикаций в английской прессе. Да и ваша королева, ваша великая, но опасная королева, произнесла слова, которые не могли не привести в бешенство наименее уравновешенные слои нашего населения.

— Ты прав, Адзуки, — сказала госпожа Кавамура. — Но едва ли наименее уравновешенные слои населения могут сейчас хоть как-то повлиять на действия правительства. В конце концов, после наших Великих Перемен мы быстро становимся достаточно цивилизованными и космополитическими, чтобы посмеяться над немногочисленными язвительными выпадами. — Она остановилась, неодобрительно улыбнулась Бетти и продолжила: — Нет, если бы наше правительство пожелало остаться в стороне, оно бы смогло. Но, похоже, ему просто не хватает на это смелости. Я даже думаю, уж не имеет ли Новая Япония некоего ужасного тайного финансового контроля над нами. Вряд ли, вступив в войну, мы сможем сейчас оказать им существенную помощь. Но богачи Новой Японии склонны ненавидеть

нас за то, что мы усвоили урок, который сами они заставить себя усвоить не могут. Они знают, что война разрушит наше скромное благосостояние и превратит в ничто нашу новую, с таким трудом завоеванную культуру. Может, они втягивают нас в войну просто — напросто нам назло?

Ее муж вскинул брови, но ничего не сказал. С десертом было уже покончено, и мы перешли в нашу «гостиную». Там чувствовалось еще большее японское влияние, чем в столовой. Мебель была покрыта лаком, однако большой каменный или бетонный камин все же указывал на английский характер дома.

Чай подали в чашечках из тончайшего воздушного фарфора (известного под названием «яичная скорлупа»), по поводу чего госпожа Кавамура тактично выразила свой восторг. Бетти, немного смущаясь, пояснила, что, хотя чай и не входит в традиционную английскую диету, мы очень пристрастились к этому чрезвычайно живительному восточному напитку и теперь уже не обходимся без него после воскресного обеда. Эта привычка действительно становилась неистребимой.

Перед тем как усесться в кресло, я подхватил большую книгу, которая, как я и предполагал, оказалась атласом. Во время последующего разговора я листал ее страницы. Сначала на глаза мне попала карта Британских островов. «Королевство Ирландии» было выкрашено в зеленый цвет, Королевства Англии и Шотландии — в красный. Города, горы и реки, по большей части, носили знакомые имена. Карта плотности населения показывала хорошо знакомые концентрации вокруг Лондона и на промышленном Севере, но города и

сельские районы были гораздо более густонаселенными, чем в моем «другом мире». В Ирландии, ко всему прочему, проживало почти столько же людей, сколько и в Англии, вероятно, потому, что на протяжении всей своей истории она развивалась как независимое сообщество. Общая численность населения Британских островов превышала семьдесят миллионов.

Перейдя к карте Европы, я обнаружил северную часть Франции помеченной как «Королевство Франции» и раскрашенной красным, как и Британия. Нидерланды и вся прибрежная полоса Западной Балтики предстали розовыми под названием «Освобожденные Скандинавские Княжества». Розовый оказался цветом «Британских протекторатов и зависимых территорий». Большинство из этих княжеств, вместе с изрядной частью Центральной Европы и Италией, были окрашены в малиновый цвет. Этот регион, то есть бо́льшая часть Европы, был разделен на мозаичные княжества, герцогства, вольные города. Разбросанными вокруг всех побережий континента оказались маленькие лоскутки желтого, наибольший из которых включал в себя Гамбург. Условные обозначения определяли желтый как «Территории, захваченные Новой Японией». Обширные участки на Пиренейском полуострове, Балканах, в Западной России и западные пограничные области Империи были выкрашены в светло-коричневый цвет и обозначены как «Военные Диктатуры», «Отсутствие устойчивого правительства» или «Советы Рабочих». Восточная часть России называлась «Союзом Социалистических Соборных Республик».

Карта мира показывала этот «Советский» Союз (если это можно так перевести) тянущимся до самого Тихого океана. Его центр, судя по всему, находился далеко на востоке, так как столицей был город, располагавшийся недалеко от китайской границы и носивший незнакомое мне название. Китай состоял из трех больших республик. Корея и Маньчжурия были независимыми «империями», Индия являла собой объединение туземных штатов. Через весь субконтинент тянулась надпись: «Арийские народы, освобожденные от Японии», с соответствующими датами. Многие другие были раскрашены желтым цветом Новой Японии. Эта, самая внушительная из «восточных» держав, растянувшаяся от Арктики до Мексики, была сплошь покрыта японскими названиями. Ее столицей являлся некий город, располагавшийся там, где должен был находиться Сан-Франциско. В Южной Америке, разрезанной на множество государств, все те названия, которые не были местными, очевидно, имели китайское происхождение. На месте трех крупнейших британских доминионов Южного Полушария возникли независимые государства «Африканская Япония», «Южная Япония» и «Королевство Маори».

Я все еще листал атлас, когда зазвонили церковные колокола. Бетти встала, сказав гостям:

— Сейчас будет выступать королева. Надеюсь, вы извините нас, если мы ее послушаем, так как ознакомиться с сегодняшней речью ее величества — святой долг всех британцев.

Супруги Кавамура заверили ее, что, хотя они и не понимают по-английски, они с удовольствием послушают

известный на весь мир голос. Бетти поблагодарила их, включила радио и вернулась на свое место.

Последние новости были прочитаны хорошо поставленным английским голосом. Язык представлял собой такую разновидность английского, которую в «другом» моем мире я бы счел фантастической помесью напыщенной английской речи чиновников-индусов и английским языком времен королевы Елизаветы. Знакомые слова имели необычные, хотя и доступные для понимания значения либо приобретали пикантно-неправильную форму. Слушая, я переводил ту или иную сентенцию на японский для наших гостей. Если я верно помню, услышанное мною сводилось примерно к следующему (хотя многие лингвистические чудаковатости оставались для меня полнейшим темным лесом).

В лондонском Ист-Энде, уверял нас голос, волнения прекратились. Осознавая угрозу внешнюю, лорд-шериф на корню пресек угрозу внутреннюю. Преисполненный решимости, он убеждал доверчивых местных жителей в том, что их ввели в заблуждение иностранные подстрекатели, и что благоразумные британцы не потерпят измены. Всем добропорядочным европейцам следовало помнить, что, хотя Россия отчасти относится к Европе, опасные политические идеи Соборного Союза и его эмиссаров являются всецело азиатскими. Вследствие этого лорду-шерифу пришлось окружить весь мятежный район военным поясом. Два военных корабля, дислоцированных на Темзе, обстреливали Поплар и Кеннинг Таун из артиллерийских орудий до тех пор, пока все прибежища повстанцев не были разрушены. С рассветом верные властям войска пе-

решили в наступление, сжимая кольцо окружения и не встречая никакого сопротивления. Мятежники сложили оружие, и двенадцать зачинщиков восстания были закованы в цепи. Их осудили, а затем, в установленном порядке, предали повешению, колесованию и четвертованию на глазах у восхваляющей Господа толпы. Несколько тысяч менее выдающихся бунтовщиков были помещены в расположенные в Эссексе временные центры содержания, где теперь ожидают «благоусмотрения» ее величества.

После короткой паузы, голос глубоко почтительным тоном, призванным свидетельствовать о сдерживаемом с трудом волнении, объявил, что сейчас радиослушатели услышат живой голос монарха. Когда диктор торжественно повелел всем, кто его слышит, встать, мы с Бетти торопливо поднялись. Гости, озадаченно переглянувшись, последовали нашему примеру. Голос благоговейно возвестил: «Ее Чистейшее и Непобедимое Величество, Годива, Божьей Милостью Защитница Христианской Веры, Покровительница Священной Римской Империи, Королева».

После новой паузы заговорил уже другой голос — чуточку хриплое, но величественное и, вдобавок, соблазнительное контральто.

— Мои подданные! Мои самые надежные друзья, англичане и шотландцы! И вы, немногочисленные, но верные валлийцы! Все, все, чей дом — Британия, этот полурай, как ее называет наш бессмертный Стронгбоу⁹,

⁹ Гилберт (Жильбер) Фиц-Гилберт де Клер (1100—1148) — англонормандский аристократ, основатель младшей линии

этот остров, возникший в серебристом море. И вы, мои галантные французы! И все мои неутомимые тевтонцы! И вы, мои возлюбленные соседи с Зеленого острова¹⁰, подданные моего дорогого кузена Шона! И не только к ним я обращаюсь, но и ко всем европейцам, к какой бы нации или сословию они ни принадлежали, — ведь всем, всем нам сейчас угрожает страшнейшая и прямая опасность. О мои народы, мои по духу, хотя и не по праву! Сейчас мы должны позабыть о наших внутренних различиях и помнить лишь то, что все мы — одна семья, собравшаяся наконец вместе для того, чтобы выступить против коварной, безжалостной, развратной Желтой Расы!

Столь недипломатичные формулировки выглядели удивительными даже с учетом того, что звучали они из уст нашей всегда прямой и откровенной королевы. Впрочем, объяснения тому долго ждать не пришлось.

— Прошло не так много времени с тех пор, как великая война распростерла свои темные кровавые крылья

дома д Клер, 1-й граф Пембрук (с 1138), участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов.

Гилберт Фиц-Гилберт, как и его сын Ричард, в средневековых источниках иногда упоминаются вместе с прозвищем «Стронгбоу» (англ. *Strong bow* — *тугой или сильный лук*). Валлийцы из долины Уска, феодального владения Гилберта, были известны в этот период как превосходные лучники, использующие необычно длинный и тугой лук. На сохранившейся печати Гилберта Фиц-Гилберта он также изображён с длинной стрелой в руке. Вероятно, граф и его сын хорошо владели этим оружием своих валлийских подданных, чем и объясняется их прозвище.

¹⁰ Имеется в виду Ирландия.

над нашим континентом. Я сама, хотя и не достигла полной женской зрелости (при этих словах на лице Бетти отразилось удивление), помню победоносный жест британских и французских армий в отношении героических, но несознательных германцев, которых попутали чужеземные дьяволы. Я прекрасно помню тот день, вскоре после заключения мира, когда, будучи еще ребенком, я, Королева Британии, была восторженно встречена радостными парижанами и возведена на французский престол, вернув былой титул моих предков. Я помню, как северогерманские лорды, свергнувшие к тому времени своих предательских правителей, охотно и с радостью складывали у моих ног, моих маленьких, обернутых атласными тканями ноженек, свои короны.

Здесь королева сделала пауза. Госпожа Кавамура воспользовалась ею для того, чтобы стряхнуть с сигареты длинный и едва уже на ней державшийся столбик пепла. Наши глаза встретились. Она не знала английского, но уже по одному только тону королевы почувствовала характер ситуации. Никогда не забуду, как, когда я скорчил насмешливо скорбную мину, ее вежливый взгляд оживился огоньком облегчения и печального изумления.

Королева продолжала:

— О, Великие Белые Народы, с тех пор, с той войны, много воды утекло, много чего случилось. На протяжении всех этих лет я стремилась справиться с той благородной задачей, которую возложил на меня с мечом пришедший в этот мир Спаситель, — освободить Европу. Давайте вспомним одну хорошо известную истину.

Во всех наших храмах наш божественный и храбрейший Капитан висит распятым на клинке и рукояти Меча. Того самого Меча, который он сам взял, восстав из мертвых, и высоко несет сегодня, ведя за собой Правовверных. Он явился не для того, чтобы принести мир. И я, хотя до сего дня и подкрепляла свои праведные намерения переговорами, являюсь его лейтенантом. И пусть только посредством переговоров и тонких интриг мне и моим советникам удалось убрать японцев из всех портов, открытых им по условиям договора о внешней торговле, именно упругая сила моей армии, флота и авиации придала этим мирным аргументам убедительности. Но сейчас, сегодня, аргументы уже не действуют; и я здесь для того, чтобы призвать вас, все Белые Народы, всерьез взяться за оружие, так как настал тот час, когда мы должны вынудить Новую Японию вернуть награбленное, иначе мы предадим безвозвратно то дело, за которое боремся вместе.

Странно, подумал я про себя, еще вчера, перед тем как мне приснился странный сон о другом мире (а я уже начинал пересматривать мое мнение о том, какой мир был реальным, а какой — воображаемым), я бы аплодировал этой апологии королевы! А рядом, внимая королевским словам и не испытывая при этом ни малейшего дурного предчувствия, стояла Бетти, до сих пор — мой духовный близнец.

Королева продолжала:

— Недавно и на абсолютно законных основаниях я заявила права на Гамбург — от имени немцев, Бордо — от имени французов, Геную — от имени ломбардцев. Как вы, европейцы, уже могли понять, переговоры ни к

чему не привели, поэтому я, помолившись, предъявила ультиматум. Но то, что я скажу вам сейчас, мои народы, станет для вас откровением. Отчетливо предвидя отклонение ультиматума, я предвосхитила ответ Новой Японии и нанесла удар. И вот сейчас, прямо в момент этого моего выступления, мне доложили, что оборонительные сооружения Гамбурга уничтожены моей браво-авиацией. Доблестный поступок и вдохновляющая новость, не так ли, Желтая Раса? Но не стоит обольщаться. Нас ждут суровые дни. Новая Япония и Китайская Республика, а возможно, еще и Япония, обрушат на нас всю свою мощь. Наше спасение в беззаветной храбрости.

Королева сделала новую паузу. Глаза Бетти искали мои, но я как мог отводил взгляд. Госпожа Кавамура, решив отвлечься, разглядывала через окно какую-то птичку. Ее муж, судя по всему, прикидывал, не оскорбит ли он ее величество, если присядет.

— О, мужчины и женщины Европы! — продолжал королевский голос. — Всех нас ждет величайшая и суровейшая из войн. С небес прольются огонь и яд. Миллионы погибнут. Но, европейцы, пусть те, что умрут, умрут славя меченосного Христа, чью правду мы защищаем. Пусть те, что выживут, живут с ненавистью к желтым народам до тех пор, пока побережья Европы не очистятся от этих узкоглазых восточных торгашей, которые высасывают и безрассудно растрачивают природное богатство нашего континента, которые ослабляют исконную крепость наших тел, приучая нас к своей спокойной, вялотекущей жизни; которые ослабляют силу наших душ, утверждая, что наша святая Церковь

построена на лжи, и что наш Христос, как их собственный Будда, ценил мягкость превыше силы духа. Они дали нам опиум. Они искушали совокупляющихся любовников непристойными знаниями, дабы предотвратить священное бремя материнства и сократить тем самым нашу численность. Женщины Европы, учтите: в Японии мужчины настолько не ценят добродетель, что мужья предлагают своих жен на ночь каждому гостю. А какие там жены, женщины — изрисованные, бесстыдно выставляющие напоказ свою желтую грудь и...

Я встал и выключил радио.

— Том, Том! — вскричала Бетти, вцепившись мне в руку. — Что ты делаешь? Это же ее величество! Если кто-то узнает, что ты отключил ее...

И тут меня охватил безудержный смех. Госпожа Кавамура улыбнулась — улыбкой недоуменной и сдержанной. Туманы и неуместные очертания поплыли у меня перед глазами. Все еще смеясь, я очнулся в моем «другом мире». Я сидел в набитом конским волосом кресле у камина, в гостиной моего съемной квартиры. Моя хозяйка, убиравшая мой воскресный обед, тоже смеялась, судя по всему, над тем, что я только что сказал или сделал, так как она заметила:

— Ну и чудак же вы!

У открытого окна трепетали кружевные занавески. В саду, на веревке, раскачивались мой купальный костюм и полотенце.

Взбунтовавшиеся руки

Сэр Джеймс приготовился написать судьбоносное письмо. Вывел дату и начало: «Дорогой советник Сондерсон». И тут рука его застыла в воздухе. Последующие слова уже сформировались в мозгу, но рука отказывалась двигаться. Ручка выпала из ослабших пальцев и откатилась в сторону. Он попытался поднять ее, но правая рука не слушалась.

Изумленный и встревоженный, он, однако же, ощутил — и быстро подавил — проблеск веселья: написание письма откладывалось. Он встал из-за стола. Рука плетью висела сбоку, болтаясь, словно шея только что убитой птицы. С некоторым беспокойством он проверил остальные конечности: все они функционировали нормально. Но правой рукой он теперь мог пошевелить не больше, чем сдвинуть гору. Он пересек комнату и рухнул в мягкое кресло. Парализованная рука раскачивалась перед ним, поэтому он грузно сел прямо на ее кисть. Ослабшая конечность не отзывалась ни болью, ни каким-либо другим ощущением.

Сэр Джеймс Пауэр был успешным и уважаемым гражданином. Нынешнего своего положения он достиг за счет упорного труда и расчетливого ума. Управляющий директор и главный акционер большого магазина в крупном провинциальном городе, он гордился не толь-

ко эффективностью своего бизнеса, но и своим обращением со служащими. Они имели все, чего только могли желать: хорошие условия, хорошую зарплату, систему участия в прибылях, качественный уход в случае болезни. Конечно, он ожидал от них добросовестной работы, четкого исполнения его предписаний и такой же преданности фирме, какую сам всегда демонстрировал. Он неустанно внушал им, что они государственные служащие, а не просто работники частной фирмы. Однако его увещевания не приносили того эффекта, на который он рассчитывал. Лишь очень немногие из персонала действительно отвечали преданностью, да и то скорее не из-за лояльности фирме и ее социальной функции, а вследствие личного к нему уважения. Но остальные, фактически большинство, похоже, цинично заботились о собственных интересах, судя по всему, полагая, что на самом деле общественное благоденствие заботит его не больше, чем их самих. В его призывах они усматривали обычные хитрости сурового начальника, преследующего меркантильные цели. Лишь нескольким работникам (по его ощущениям) хватало воображения, чтобы понять: весь его упорный труд мотивирован служением обществу. Еще меньше они понимали, что он печется об их собственном благосостоянии, словно все они его дети.

Именно из-за своего общественного положения он считал себя обязанным написать письмо. Он должен возразить против методов, примененных полицией в отношении некоторых горячих юношей; и его первым шагом должен стать личный протест, заявленный члену городского совета, который, согласно его информа-

ции, и побудил полицейских к этим действиям. Будучи безработными, молодые люди как раз таки и вызвали гнев властей тем, что организовали демонстрацию безработных. Им удалось пробудить в народных массах довольно-таки сильную ненависть к крупной сталелитейной фирме, в которой они раньше работали. Советник Сондерсон являлся главой этой фирмы. Лидеры протестного движения действовали весьма осмотрительно, стараясь не допускать даже малейших нарушений закона. Полиции долгое время не удавалось найти обоснованной причины для вмешательства. Но в конечном счете она совершила рейд на штаб-квартиру движения и обнаружила большое количество листовок, которые, при соответствующем полете фантазии, могли быть интерпретированы как мятежные и, более того, как обращенные к войскам. Но странное помешательство сэра Джеймса было вызвано не столько подробностями этого дела, сколько тем, что молодые люди в итоге угодили в тюрьму, и сразу несколько достойных обществ обратились к сэру Джеймсу, непреклонному защитнику прав человека, с призывом использовать, от их лица, все его влияние. Самому ему не очень хотелось что-либо предпринимать. Он всегда утверждал, что его интерес в политике ограничивается защитой личной свободы и частного предпринимательства. Отсюда — и его выбор политической партии. Но насильственные идеи коммунизма, очевидно, вызвали в недовольных кругах общества волнения, которые следовало подавить прежде, чем ситуация обострится. Он ничего не знал о коммунизме как о политической теории, да и не хотел знать, но не сомневался в одном: в этот критический

период революционные идеи очень опасны. Более того, его собственный опыт общения с людьми учил тому, что частное предпринимательство, направленное на достижение личных целей, является источником жизненной силы общества. Что же до безработицы, то, к сожалению, ее приходилось терпеть во времена депрессии для того, чтобы во времена процветания иметь достаточный резерв рабочей силы.

В силу вышеуказанных причин сэр Джеймс и не мог никак заставить себя взяться за письмо. Присущая Пауэру преданность идее свободы призывала написать его, но, будучи приверженцем закона и порядка и сторонником существующего социального устройства, он выступал на стороне властей против безответственных лиц, призывающих к массовым беспорядкам. К тому же, написав письмо, он неизбежно вступил бы в конфликт с высокопоставленными гражданами и могущественными силами. Он прекрасно понимал, что написать письмо — значит встать в один ряд с отбросами общества, противопоставив себя весьма уважаемым лицам, с которыми ему всегда удавалось оставаться в хороших отношениях. Его поступок будет расценен как объявление войны. И потом, публичное расследование, которого он должен потребовать, может открыть кое-какие факты его собственной карьеры, факты, которые, хотя в них и не было ничего незаконного, так или иначе выглядели бы не вполне совместимыми с образом исключительно честного человека и поборника справедливости. Его врагам, разумеется, не составит труда придать им дурную интерпретацию.

Дело в том, что сэр Джеймс и сам иногда бывал безжалостен со своими работниками. В своих поступках он руководствовался тем принципом, что, во избежание строптивости многих, иногда можно раздавить нескольких, пусть даже и не одобренными публично методами. Года два-три назад с полдюжины его служащих начали распространять среди коллег коммунистические взгляды. Им удалось пробудить некоторое недовольство, что со временем могло привести к подрыву морального духа всего персонала. Сэра Джеймса, когда он решил вмешаться, заботила, конечно же, не политика, но исключительно эффективность бизнеса. Проблема была весьма щекотливая. Больше всего ему хотелось избежать обвинения в том, что он уволил агитаторов из-за их политических взглядов, поэтому он искусно подстроил все так, чтобы перед ними встал непреодолимый соблазн. Подробности, опять же, не имели значения. Достаточно сказать, что им представилась возможность украсть имущество фирмы, причем в крупном масштабе. Двое из них не устояли перед искушением, но были пойманы на месте преступления, осуждены и заключены в тюрьму. Уволить остальных как подозреваемых было проще простого.

К несчастью, некоторых из тех, кто помогали расставлять ловушку, сэр Джеймс уже не контролировал. Они попытались навредить его репутации, предав огласке эту историю, но до сих пор никто им не верил. Да и можно ли ожидать, что-то кто-то поверит в обвинения, выдвинутые против высокоуважаемого олдермена людьми, которые, судя по всему, имеют на него зуб. Новые враги сэра Джеймса, однако, были бы только рады

использовать эту информацию для того, чтобы поднять скандал. Во многом еще и поэтому ему было так трудно заставить себя написать письмо.

И вот теперь, в самый последний момент, ему воспрепятствовал в этом странный фатум.

Какое-то время сэр Джеймс просто сидел в своем большом кожаном кресле, размышляя, не случился ли с ним удар. Очевидно, ему следовало сразу же позвонить доктору, но почему-то он этого не сделал. Он гордился своим исключительным здоровьем и способностью справляться с легкими недомоганиями методами скорее духовными, нежели медицинскими. Он не был последователем «Христианской науки», но верил, что лучшим лекарством от большинства болезней является сочетание молитвы и отказа признавать сам факт заболевания. Основная причина для подобных верований, вероятно, как раз таки и заключалась в его отменном здоровье. Медицина, по убеждению сэра Джеймса, являлась сущим шарлатанством. Свежий воздух, упражнения, воздержанность в еде и полный отказ от употребления алкоголя — вот и все, что необходимо со стороны физической. В остальном, если вы можете предстать перед Богом с чистой совестью, Он поддержит вас в тонусе.

Но откуда этот внезапный недуг? Несомненно, он еще слишком молод, чтобы начинать чахнуть. Хотя сэр Джеймс давно уже перешагнул сорокалетний рубеж, все говорили, что выглядит он лет на десять моложе. Конечно, в последнее время он сильно переутомлялся из-за расширяющегося бизнеса и более активного участия в общественной жизни, а текущая и предыдущая

недели вовсе выдались исключительно беспокойными, что в итоге и вылилось в необходимость написания данного письма. Мучительно желая уклониться от этой обязанности, но он не мог просто взять и наплевать на все. Да, тогда люди будут знать, что он умышленно промолчал и предал то, за что выступал в приходской жизни, все те проповеди, в которых говорил о деловой нравственности и попечительстве крупных промышленников и отцов города.

Задуманное нужно довести до конца. Он решительно выбил из пачки сигарету и внезапно осознал, что делает это правой рукой. Он пошевелил пальцами, чтобы проверить ее. Встал и подхватил стоявший рядом стул. Подержал его какое-то время на вытянутой руке. Похоже, все снова было в порядке, и на какой-то миг сэр Джеймс даже поверил, что эта непродолжительная немощь ему только почудилась.

Он снова сел за стол и, тяжело вздохнув, взялся за ручку. С минуту-другую размышлял над тем, как лучше начать, но вскоре мысли унеслись вдаль. Затем он вдруг с удивлением обнаружил, что после слов «Мой дорогой советник Сондерсон» написал следующее: «Вы правильно поступили с этими молодыми свиньями и можете рассчитывать на мою поддержку. Если люди, вроде нас, не будут действовать энергично и держаться вместе, мы потеряем контроль. Удачи, приятель!»

Сэр Джеймс схватил письмо левой рукой, скомкал и бросил в огонь. Потом взял новый лист и начал заново. «Мой дорогой» — и тут правую руку снова парализовало. Он встал и прошелся по комнате, а через некоторое

время заметил, что прочищает нос правой рукой. Рука снова стала нормальной.

Вошедшая в кабинет секретарша попросила объяснить один вызвавший сомнение пассаж в небрежно написанных им заметках, которые он попросил ее напечатать на машинке. Мисс Смит, Милдред — для родни, была для него чем-то большим, нежели просто идеальной секретаршей. По телефону она, разумеется, всегда разговаривала голосом счастливым и радостным. Ее стенография и машинопись были, конечно же, безупречными. Она знала о бизнесе почти столько же, сколько и сам управляющий директор, потому что он часто посвящал ее в свои дела; более того, обладала таким даром интуитивного понимания человеческой души, что работодатель нередко консультировался с ней в отношении сотрудников и привык доверять ее суждению. Случалось, она критиковала даже самого сэра Джеймса, и тогда ему приходилось поступать в соответствии с ее критикой. Обычно она навязывала свою точку зрения как бы между прочим и с таким тактом и юмором, что порицание принималось без потери достоинства. Почти всегда ее критика облекалась в форму донесения до другого человека той или иной точки зрения в более понятном виде, нежели ее мог сформулировать сам сэр Джеймс, и предложения более мягкого, чем планируемый им, образа действия.

При всех замечательных добродетелях, она не была совершенна. Порой, когда чувство юмора переходило все границы, работодателю приходилось делать ей выговор. Как-то раз, когда, после тягостного разговора с одним из мелких служащих, ему пришлось уволить мо-

лодого человека за непозволительную дерзость, мисс Смит сказала сэру Джеймсу, что он «выглядел как кот, побитый мышью, с которой играл». Он дал ей понять, что это отнюдь не смешно.

Вдобавок к ее прочим положительным качествам, мисс Смит обладала шармом. Она не была красавицей, если следовать общепринятым стандартам. Ее нос подходил на изящный, но лишенный собственного благородства грибок; ее рот был скорее забавным, нежели соблазнительным. Но черты ее были правильными, а живой и незаурядный ум, казалось, освещал их изнутри. На работе это свое очарование она использовала крайне эффективно, ограждая сэра Джеймса от нежелательных посетителей и т.п. Она пустила его в ход и в отношении самого мистера Пауэра. Но кто станет осуждать хорошенькую женщину, сознающую не только свою привлекательность, но также искренность и эффективность, за то, что она использовала все свое обаяние, чтобы убедить этого симпатичного, честного, состоятельного и благородного рыцаря в том, что они созданы друг для друга? Более того, она была уверена, что он, неким образом, уже любит ее, хотя сам мистер Пауэр ни за что бы не позволил себе заметить столь тревожный факт. Всегда относясь к ней с особой предупредительностью и уважением, мистер Пауэр, разумеется, никогда (как ему казалось) не давал ей повода надеяться на нечто более интимное. Мисс Смит сама задавалась вопросом, как осмелилась рассчитывать на то, что он предложит ей большее. Мистер Пауэр стоял настолько выше и был столь занятым человеком, что про-

сто-напросто не успевал замечать ее, за исключением тех случаев, когда видел в ней лишь эффективную секретаршу и, гораздо реже, младшего друга. И все же она была убеждена, что нужна ему не только как секретарь, но и как супруга.

Беликий человек и его секретарша стояли, сосредоточенно изучая исписанные карандашом листки. Внезапно она воскликнула:

— О, нет, сэр Джеймс, прошу вас!

Только сейчас он заметил, что его правая рука обвила ее талию и теперь жадно ощупывает ее тело. Сам того не желая, он довольно-таки решительно прижал ее к себе и, к своему ужасу, обнаружил, что не может отпустить. Рука действовала своевольно, и он контролировал ее не больше, чем человек, пытающийся сдержать рвоту или чихание, когда остановить рефлекс уже невозможно. Хватка не ослабевала, напротив, лишь усиливалась.

— Пожалуйста, прошу вас, отпустите! — взмолилась она.

— Не могу, просто не могу, поймите! — простонал он в ответ.

И тут мисс Смит, обычно тонко чувствующая ситуацию, совершила большую ошибку. Приняв эту ремарку за признание в неукротимой любви, она выдохнула:

— О, дорогой мой! — и положила голову ему на плечо. Но он запротестовал:

— Это не я, это моя рука. С ней случилось что-то ужасное.

Тщетно он пытался левой рукой разжать руку правую. Но теперь и секретарша, осознав, какого дурака свая-

ла, уперлась обеими руками в его грудь и, пусть не без труда, все-таки от него оторвалась.

— Примите мои глубочайшие извинения, мисс Смит, — пробормотал сэр Джеймс, тяжело дыша, — и поверьте: я действительно болен и совсем не могу контролировать эту руку.

Она бросилась к двери, и он поспешно добавил:

— Полагаю, вы пожелаете уйти от меня. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам найти хорошее место. Но прошу вас, поверьте: я вовсе не хотел проявить к вам неуважение.

Рука ее уже лежала на ручке двери, когда она обернулась и посмотрела на него. Он стоял, склонив голову, словно нашкодивший ученик. Правая рука вяло болталась сбоку. С минуту, не меньше, она разглядывала его, затем деблокировала и закрыла дверь.

— Я вам верю. Но какой, должно быть, вы сочли меня душой! — Постаравшись совладать с эмоциями, она добавила: — Я не хочу от вас уходить. Я нужна вам и хочу вам помочь. Но дело в том... что сейчас я не могу остаться.

Наступила тишина. Потом он сказал, почти прошептал:

— Я прошу вас, очень-очень прошу — останьтесь!

В приемной зазвонил телефон, и мисс Смит поспешила туда ответить на звонок. Затем работодатель и секретарша занялись текущими делами. Ни он, ни она не вспоминали о случившемся, а мятежная рука выполняла свою обычную работу так, словно ничего и не произошло. Но письмо так и не было написано.

В конце дня, перед уходом, мисс Смит посоветовала позвонить врачу, но сэр Джеймс отказался. Он, однако же, позволил ей забрать обратно данное им обещание выступить вечером на Христианском форуме. Поужинав в одиночестве, он удалился в свой рабочий кабинет — выпить кофе и покурить. В кресле сэр Джеймс обнаружил свернувшуюся клубочком кошку. Это было единственное создание, чье присутствие он находил успокаивающим и приятным. Осторожно приподняв животное, он сел и опустил его себе на колени. Попивая кофе, попыхивая трубкой, порой проводя рукой по гладкой черной шерстке, он прокручивал в голове события дня. Казалось невероятным, что еще недавно рука отказывалась ему подчиняться — столь спокойно и естественно пальцы пробегали сейчас по шелковистому меху. Мурлыча, кошка растянулась во всю длину на его груди. Он почесывал за ее ушами. Внезапно его пальцы вцепились в шею животного и сильно ее сдавили. Кошка отчаянно завертелась, перебирая всеми четырьмя конечностями. Придя в ужас, сэр Джеймс попытался освободить ее левой рукой, но правая держала животное чуть в стороне и ровно на таком расстоянии от левой, чтобы та не могла до него дотянуться. Вскочив с кресла, он прижал правую руку к стене, дабы хоть как-то ее выпрямить и приблизить к левой. Мышцы шеи и груди напряглись в болезненном конфликте: одни подчинялись странной воле, овладевшей правой рукой, другие — самому сэру Джеймсу. Правая рука как будто окостенела. Хватка ее казалась нечеловечески мощной, так что язык кошки уже вывалился наружу, и она была не в силах издать даже звука. С каждой секундой жи-

вотное дергалось все менее и менее настойчиво, а затем и вовсе затихло. Рука отпустила ее, и кошка безжизненно плюхнулась на пол. Рука тоже безвольно упала, будто парализованная. С лицом, искаженным горем и страданиями, сэр Джеймс опустился на колени перед домашним питомцем и захныкал: «О Боже, что я наделал!» Кошка, однако же, была жива и мало-помалу приходила в себя. Он подхватил ее на руки — на обе руки — и перенес на диванную подушечку, лежавшую у камина. Затем с трудом доковылял до своего мягкого кресла, чувствуя разбитым и истощенным.

Судя по всему, действительно следовало позвонить врачу; но когда он наконец заставил себя смириться с судьбой и уже потянулся к трубке, до него вдруг дошло, что врач наверняка направит его к психиатру. Все это мозгоправство было даже хуже, чем шарлатанство; оно было делом дьявольским и ужасно опасным. Психиатры, по его убеждению, являлись орудиями Сатаны. Секс они превращали в фетиш, да и весь их подход казался ему крайне безнравственным. Кроме того, угодив в их тиски, человек лишается частной жизни. Они вытягивают все твои тайные мысли и ментально тебя поработают. Нет, он справится с этой дьявольщиной собственными силами и при помощи своей религии. Очевидно, это его ордалия¹¹. Но, между тем, как ему жить с этим, как смотреть людям в лицо? Неизвестно ведь, какие еще фортели может выкинуть рука. И тут ему при-

¹¹ Средневековый способ определения правоты или виновности тяжущихся сторон путем так называемого «суда Божия»: испытанием огнем, водой, раскаленным железом и т.п.

шла блестящая мысль. Нужно сказать, что он повредил руку и теперь вынужден носить на перевязи. Проведя несколько минут в глубоком раздумье, сэр Джеймс поднялся на ноги, с силой опрокинул кресло на пол, уложил кошку рядом с собой и позвонил, вызывая экономку. Когда та явилась, он рассказал ей замысловатую историю. Пытаясь достать книгу с верхней полки высокого шкафа, он безрассудно встал на спинку кресла, то перевернулось, и он упал на кошку, придавив ее и растянув руку. С кошкой, похоже, все будет в порядке, разве что нужно за ней присматривать. А что до него самого, то не могла бы она помочь ему наложить на руку повязку и прочно закрепить руку у тела, под пиджаком?

В таком виде сэр Джеймс и появился в офисе на следующий день. Он поделился своей тайной с секретаршей, сказав, что если инцидент с кошкой вызывает у нее тревогу, она в любой момент может его оставить. Но то тяжелое положение, в котором он оказался, преисполнило ее еще большей решимостью присматривать за ним. По мере того как одни дни сменялись другими, его зависимость от нее лишь усиливалась; она стала не только его правой рукой, но и источником храбрости и здравомыслия. Тот факт, что она приняла объятие мятежной конечности, доставил ему удовлетворение большее, чем он осмеливался признать. И тот же факт заставил его повесить бдительность и быть настороже. Но его не могла не восхищать ее готовность остаться рядом в крайне неловкой и даже опасной ситуации. Теперь в его поведении по отношению к ней формальная вежливость чередовалась с почтительной заботливостью, которой до сих пор он никогда не выказывал. Она

чувствовала, что временами он действительно ее замечает и восхищается не только ее секретарской эффективностью, но и другими достоинствами.

Дни проходили без каких-либо новых инцидентов. Вместо громоздких бандажей сэр Джеймс теперь носил поддерживающую повязку, которой, как он полагал, было достаточно, чтобы задержать любой мятежный акт до полного овладения им ситуацией. Вскоре он решил, что, пока находится в своем личном кабинете один, то вполне может обойтись и без повязки. Если звонил посетитель или же кто-то из персонала являлся посоветоваться с ним, мисс Смит, прежде чем впустить постороннего, заходила в его святилище и помогала надеть повязку.

Казалось, он уже полностью исцелился; некоторая аномалия проявлялась лишь в одном: как только он приступал к написанию столь важного для него письма, руку его словно парализовало. Более того, ингибирование распространялось не только на правую руку: скажем, левой рукой письмо тоже написать не удавалось. За все время ношения бандажа он сделал все возможное, чтобы научиться писать левой рукой, и даже отослал образец сделанной левой рукой подписи в банк, чтобы иметь в дальнейшем возможность подписывать чеки именно таким образом. Теперь он был решительно настроен делать левой рукой все то, что отказывалась делать правая. Но, увы, когда бы он ни вооружался ручкой, его внимание неизбежно перескакивало с письма на проблему правой руки. Он просто не мог заставить мозг поработать над этой задачей. И однако же в другое время, когда вопрос о незамедлительном напи-

сании письма не стоял, он мог думать о нем вполне ясно и в своем воображении даже составлял, одно за другим, все его предложения.

Время поджимало. Этих бесшабашных парней нужно было спасать. Его собственная нравственная репутация требовала отмищения. Уже не зная, как быть, сэр Джеймс решил все рассказать мисс Смит (не утаив даже собственных сомнительных прошлых поступков), чтобы она напечатала письмо, а он лишь подписал. В связи с этим он пригласил ее в кабинет и подвел не к секретарскому стулу у стола, а к одному из двух мягких кресел, стоявших у камина.

— Я хочу обсудить с вами одну очень деликатную проблему, так что устраивайтесь поудобнее.

Он предложил ей сигарету, щелкнул зажигалкой и вытянул руку в ее направлении. Пока он все это проделывал, его правая рука слегка дергалась, словно предупреждая о том, что в любой момент может выкинуть какую-нибудь шалость. Стараясь контролировать рефлексорное действие, он изо всех сил пожелал, чтобы рука вела себя достойно. Мисс Смит, между тем, не спешила прикуривать, наслаждаясь интимностью момента, символизировавшей некое новое равенство в их отношениях. Наконец она прикурила и подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, но он уже смотрел на собственную руку, и выражение его лица шокировало ее — то было выражение ужаса и отвращения. Он поспешно отстранился и уселся напротив нее, в другое кресло. Воцарилась тишина. Спустя минуту-другую он пробормотал: «Даже не знаю, с чего начать», и снова умолк. В голове, не позволяя поделиться беспокоившей

его проблемой, бушевал ураган отвратительных и навязчивых фантазий, образов того, что могло бы случиться, утратить он контроль над рукой. Бунтарская конечность, по его ощущениям, могла ткнуть зажигалкой ей в лицо, поджечь ее волосы или блузку. Или, быть может... он отчаянно пытался выбросить из головы те садистские и непристойные картины, что теснились в ней.

Терпеливо выждав еще пару минут, она спросила:

— Я могу вам чем-то помочь?

— Я должен снова надеть поддерживающую повязку, — ответил он неестественным голосом и бросился к стенному шкафу, в котором та хранилась.

Мисс Смит встала, чтобы помочь ему, но он выкрикнул:

— Ради Бога, не подходите!

Тем не менее, пока он удерживал правую руку, она помогла наложить и зафиксировать повязку.

— Теперь все будет хорошо, — сказала она, дружески кладя руку ему на плечо и улыбаясь в его обеспокоенные глаза.

— Вы очень добры ко мне, моя дорогая, — неловко пробормотал он.

Казалось, сэр Джеймс и дальше продолжит в том же ключе, но после секундного колебания он прошел к столу и занял свое обычное место.

Отныне он вовсе не предпринимал попыток написать письмо, и, поскольку на протяжении нескольких недель никаких необычных инцидентов не происходило, снова снял повязку.

Но однажды вечером случилось нечто странное. Его навестил новый и блестящий местный священник, преподобный Дуглас Макэндрю, приглашенный для обсуждения возможной установки в храме более экономической системы центрального отопления. Когда гость ушел, сэр Джеймс взял лист бумаги, на котором во время разговора оставлял краткие записи. Увиденное поразило его. Напротив каждого пункта в списке стоял непристойный, а иногда даже богохульный комментарий, написанный словно чужой рукой — грубой, бесстыдной, неуклюжей и инфантильной. К примеру, напротив рубрики «Предложения Макэндрю» значилось такое примечание: «К черту Макэндрю, лицемерного клирика».

Отойдя от первого шока и успешно удержавшись от того, чтобы признать, что комментарии его даже позабавили, он на какое-то время предался унынию. Неужели этот чертенок, этот дьявол, обосновавшийся внутри него, будет теперь преследовать его вечно? Чего он от него хочет, этот сатанинский дух? Сэр Джеймс припомнил и обдумал его различные поступки. Если бы та сила, что заселилась в него, проявляла беспокойство исключительно по поводу письма, ее вполне можно было бы рассматривать как некоего ангела-хранителя, защищающего его от разрушения карьеры через сущее донкихотство. Но нет! Существо — или что там еще — было определено порождением зла, вульгарно сексуальным и получающим удовольствие от жестокости.

Через некоторое время его осенило. Раз уж чертенок выражает себя через письмо, он мог бы предоставить

ему возможность высказаться более полно, — вдруг удастся понять, чего тот добивается? Тогда, возможно, с ним совладать удастся или же (эта мысль была тут же неумолимо отброшена) от него откупиться.

С чувством глубокой вины — он крайне неодобрительно относился к каким бы то ни было занятиям оккультизмом — сэр Джеймс потянулся за новым листком, взял карандаш и занес руку над девственно-чистой поверхностью бумаги. Какое-то время рука оставалась неподвижной, но вскоре неуверенно задвигалась, и через пару мгновений ручка устремилась вперед в потоке слов. Почерк снова выходил неаккуратным, растянутым и неестественным, однако же то был его собственный почерк — точнее, искаженная и незрелая версия оного.

Шокированный, но очарованный, он прочел странную околесицу. По большей части то были богохульства и ругательства, но мало-помалу вздор становился все более и более вразумительным, раскрывая грубую и злобную личность, глубоко несчастную вследствие крушения ее безумных замыслов и тщетности извращенных идеалов. Письмоводитель полагал себя настоящим сэром Джеймсом, почему-то лишенным свободы и почти беспомощным. Самый внятный пассаж выглядел так:

«И что это на меня нашло? Почему я чувствую себя обязанным писать это проклятое дурацкое письмо? Эти молодые коммуняки должны получить то, чего заслуживают. И вообще это не мое дело, а будь моим, я бы наказал их кнутом, а то, если бы достало смелости, и вовсе бы вздернул. Рабочие должны знать свое место.

Однако ж это все, что я могу сделать, чтобы этим письмом не выставить себя полным глупцом и не бросить на ветер все создававшееся годами, власть и положение в городе. Все дело в сентиментальности, отравляющей с детства, пропитывающей душу и расслабляющей нервы. И чему они только поклоняются в этой Часовне! А я, придурок, им еще и помогаю, Их мерзкая рабская религия пробралась в мою кровь. К черту ее! Я знаю, что родился господином, а не рабом. И однако же я — раб рабов. Телом и душой я — в цепях, свободна лишь моя правая рука. Да будь она проклята, их отравляющая нравственность! У меня есть своя собственная, воля господина, живущего во мне. Но я позволил этим рабским умам обвести меня вокруг пальца. Их ханжество не сковывает меня боле. Я сильный человек, рожденный вести за собой сильных людей и использовать рабов так, как мне это вздумается. Они будут обливаться потом и страдать ради меня, меня, властителя дум. Бог есть не любовь, но сила; он не великодушный, но жестокий. Рабы будут работать у меня до тех пор, пока не упадут замертво, работать во славу жестокого Бога. Он сильный и кровожадный, и страдания рабов есть дыхание его жизни. Рабов и женщин. Почему я всегда сторонился женщин чувствуя тошнотворную ответственность перед ними? Милдред! Она желает обладать мною, но я хочу обладать ею, и, клянусь Богом, заполучу ее — и не на ее условиях. Заполучу для неистовой любви и сладкой пытки. А когда она будет сломлена, заполучу и других. К чему эти утрызения совести, эта пристыженность? Я буду жить так, как мне велит моя дерзкая мужественность. Я буду жить вечно. Найду

способ. Я знаю, что я — правая рука Бога. Бог и я есть единое целое. И когда я пробужусь окончательно, я, конечно, снова стану Богом, таким, каким был до того, как меня схватили рабы. Потом я разделаюсь с ними, как с мухами, и буду смеяться».

После этого текст стал столь резким и возмутительным, что сэр Джеймс не выдержал. Левой рукой он выхватил карандаш, тогда как рука правая вцепилась в левую, расцарапывая ее до крови. Внезапная боль, похоже, подействовала и на самую правую руку, так как она вяло упала на стол.

Разум сэра Джеймса, казалось, тоже парализовало. Он сидел, глядя, словно замороженный кролик, на свою правую руку. Когда же он наконец пришел в себя, то решил, что вечером обязательно позвонит врачу. Но сначала нужно помолиться, так как над ним явно поработал Сатана. Он прикрыл лицо левой рукой, и вскоре к ней покорно присоединилась рука правая. Он попросил Бога своей церкви освободить его от этого проклятия, пообещав, что впредь будет жить в безупречной набожности. Чем больше он молился, тем явственнее ощущал, что обращение за медицинской помощью станет признанием поражения, духовной испорченности. Нет, он должен победить захватчика сам, без другой помощи, кроме помощи Господа Бога.

На следующее утро, конечно, рука вела себя совершенно нормально. Жизнь шла, как и обычно, и он позволил себе поверить, что все будет в порядке. Но присутствие мисс Смит будоражило, навевая отвратительные фантазии. Диктовка сделалась бессвязной, и она

заметила, что его что-то терзает. В конце концов сэр Джеймс уронил голову на руки и произнес:

— О Боже, что же мне делать?

В мгновенном порыве она подошла и наклонилась к нему, положив руку на плечо.

— Расскажите, в чем дело. Расскажите мне все. Я действительно хочу вам помочь. Нет смысла притворяться, что я не люблю вас, потому что вы знаете: люблю, люблю всей душой.

И тут он неблагоразумно поднял правую руку и сжал ею ту, что лежала на его плече. Мятежная рука тотчас же пробудилась для самостоятельного действия и вцепилась в изящную женскую ручку. Он вскочил, задев мимоходом женщину, и попытался отступить, но его правая рука, вцепившаяся в жертву столь свирепо, что та закричала, потянула ее за ним. Тщетно она пыталась высвободиться, пока правая рука перемалывала кости ее пальцев и ладони в своем своевольном, безжалостном пожатии. Тщетно своей левой рукой пытался высвободить пленницу сэр Джеймс. Затем, вспомнив об эффекте боли, он протянул свободную руку к столу, схватил карандаш и несколько раз вонзил его в тыльную сторону правой руки. Сам он ничего не почувствовал, но рука упала, парализованная.

Мисс Смит стояла, растирая раздавленную ладонь. Слезы физической боли и психического стресса стояли в ее глазах, и вид ее вызвал у него прилив нежности. Внезапно она стала для него живым человеком. Он увидел ее как нечто гораздо более прекрасное, чем он сам, как живую душу, страдающую из-за него. Ему бе-

зумно захотелось обнять и утешить ее, быть с нею всегда.

— Дорогая моя, — сказал он, но на этом слова его иссякли, так как этот внезапный приступ благородных чувств показался ему лишь новой уловкой той дьявольской силы, что терзала его, уловкой, целью которой было скомпрометировать его через нее. Нежность быстро сменилась страхом и даже отвращением. Она была вечной искусительницей, орудием Сатаны. Дай он волю сентиментальности, его могли бы обманом даже заманить под венец. А желанием жениться он не горел. Он давным-давно посвятил себя гораздо более величественной цели, нежели семейное счастье. Он думал о себе как о некоем христианском рыцаре, состоящем на службе у Церкви, или, скорее, свадебной часовни. Нет, он определенно не должен попасть в ловушку. У него слишком много важной работы в городе, а если когда-нибудь он и соберется жениться, то подойдет к выбору супруги со всей тщательностью. Милдред Смит — всего лишь секретарша, а стало быть неподходящая пара для посвященного в рыцари олдермена.

— Мисс Смит, — сказал он, внезапно переходя от теплого тона к формальному, — вам лучше уйти. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить этот болезненный опыт. Я целиком и полностью виноват в том, что задержал вас, но это потому, что ценил ваши услуги очень высоко. Теперь, однако, я должен с большим сожалением прекратить ваши отношения с фирмой.

— Но я не могу уйти вот так, — прервала его женщина. — Я должна помочь вам пройти через эту ужасную неприятность. Я должна...

Он не дал ей закончить, отрезав:

— Со мной все будет в порядке. Прошу вас, уйдите. Вам еще месяц будет выплачиваться жалование, пока вы не подыщите себе новое место, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам.

— Очень хорошо! — довольно холодно бросила она и направилась к двери.

— Я буду глубоко признателен, — поспешно добавил он, — если вы позволите мне лично, в знак благодарности за все то, что вы сделали, выплачивать вам ежегодную ренту в размере пятидесяти фунтов; конечно, при условии, что вы нигде не станете распространяться о происшедшем здесь досадном инциденте.

Она посмотрела на него с выражением, в котором нежность, казалось, боролась с негодованием, затем взялась за ручку двери. Он двинулся за ней следом, убеждая принять его предложение и поднимая ренту до ста фунтов. Она возмущенно повернула ручку. Он подскочил к ней вплотную, умоляя настойчиво, но высокопарно. И тут вдруг он осознал, что ситуация изменилась. Его левая рука упала на ее правую, лежащую на дверной ручке. Она попыталась отдернуть руку, но его левая рука нежно подхватила ее и теперь подносила к губам. Поцелуй придушил все его формальные и бестактные ремарки. Все действия его левой руки, но только не губ, были автоматическими; и однако же он не осознавал их, пока не увидел, как его левая рука подносит ее руку к губам. Он ощутил мягкое, очень приятное прикосновение. Она отвела руку лишь после небольшой паузы, и в ту же секунду он отступил назад. Поцелуй — а он позволил губам сыграть свою роль не

подневольно, но со страстью — снова наполнил его пылом любви и нежности и открыл глаза на всю бессердечность его недавнего предложения. Но тут им опять овладела паника. На пару секунд он застыл на месте, но затем все же попятился, и в тот же миг его левая рука протянулась к ней в безошибочном, но безмолвном умоляющем призыве. А потом безвольно опустилась.

Они стояли, глядя друг на друга. Теперь он заметил, что ее лицо озарено нежностью и счастливой улыбкой, но тут же, к своему ужасу, услышал собственный голос:

— О, прости меня! Ты очаровательная и здравомыслящая и великодушная! Когда я выздоровею, то почтительно попрошу тебя стать моей женой!

Тут же, опомнившись, сэр Джеймс выкрикнул:

— Нет! Я этого не говорил, не говорил, это сказал кто-то другой!

Шатаясь, он подошел к столу, упал на стул и, закрыв лицо руками, простонал:

— О Боже, что со мной происходит?

Секретарша, скрыв волнение под холодной, деловой манерой, направилась к телефону.

— Вам все-таки нужен врач. Я позвоню.

Но он выпрямился и категорически запретил ей звонить, заявив, что врач ему не поможет. Это касается только его и Бога.

Подняв трубку, она резко бросила:

— Не будьте глупцом! Вам нужен врач!

Но, голосом грубым и злобным, он прокричал:

— Положите! Похоже, вы плохо на меня влияете. Вы меня не понимаете. Прошу вас, уйдите!

В глубокой печали и растерянности она вышла из комнаты.

Оставшись один, сэр Джеймс принялся расхаживать по кабинету взад и вперед.

— Это кульминация, — сказал он себе. — Я не выйду из этой комнаты, пока не одолею засевшего во мне Сатану. Нужно помолиться.

Но помолиться он не смог — так и ходил по комнате, из угла в угол. Рабочий день близился к концу, и клерки и машинистки уже откладывали в сторону свои рабочие принадлежности и собирались домой. Вскоре эти звуки стихли. До него доносился лишь шум улицы — грохот трамваев, sireны автомобилей.

Опускались зимние сумерки. Он выключил свет и задернул шторы. Закурил сигарету, но тут же затушил ее, так как собирался помолиться. Вернувшись за стол, он закрыл лицо руками и зашептал:

— О, Господи, спаси меня! Я хочу написать это письмо и пожертвовать карьерой, хочу отказаться от всего того, что планировал совершить для Тебя в этом городе. Я хочу, но дьявол, что терзает меня, мне этого не позволит. О, Господи, дай мне сил изгнать ужасную тварь, что владеет мною. Спаси, спаси меня! Я подниму зарплату продавщицам, пусть даже и за счет сокращения прибылей.

Мысли переключились на проблемы бизнеса. Осознав, что уже не молится, он встал и снова принялся расхаживать по комнате, настраивая себя на религию.

— Бог послал Своего сына, чтобы тот умер ради грешников, — размышлял он. — Я грешник, как и все мужчины, и я раскаиваюсь и люблю Господа всем

сердцем. И однако же мною по-прежнему владеет дьявол. Почему, почему? Что я должен сделать? Что еще я могу сделать, кроме как раскаяться и исполнить долг, написать письмо? Сатана наверняка покинет меня. Господь наверняка сделает меня таким, каким я был, чтобы я и дальше мог служить Ему. — Сэр Джеймс снова обратился к молитве. — О, Боже, — попросил он, — покажи мне, что я должен сделать.

Он стоял возле окна, спиной к нему. В этот момент левая рука неловко потянулась назад, к занавеске, и отдернула ее. Он повернулся и посмотрел в темноту. На противоположной стороне улицы, между верхушками двух огромных зданий делового назначения, виднелись клочок неба и одна яркая звезда. Левая рука — ладонь вниз, пальцы широко расставлены — медленно вытянулась по направлению к темноте и звезде. Несколько секунд рука оставалась неподвижной, потом медленно упала к левому боку. Неправильно понять этот жест было просто невозможно: он выражал приветствие, подчинение чужой воле, мир.

Добрых полминуты сэр Джеймс пристально смотрел в тишине на звезду. Как и другие, он принимал громадность и мистику вселенной, но, на уровне эмоций, восставал против нее. За эти полминуты он испытал то, что определенно не мог описать адекватно.

— Небеса возвещают... — прошептал он, но внезапно ощутил неполноценность человеческого языка и потому не закончил цитату¹². — Красота, мистерия, любовь... и ужас! И все, все это следует принимать — принимать с радостью, всем сердцем!

¹² Псалтырь, псалом 19:1.

Но не успел он это изречь, как уже испугался. Уж не сходит ли он с ума? И ужас тоже следует принимать? Теперь звезда стала исключительно символом животной силы и бездумной необъятности материальной вселенной. Ему показалось, что в подобной вселенной нет места для божественной любви. Его вера разрушилась, и он остался с категорическим отрицанием и ненавистью. В порыве самоутверждения он сжал правый кулак и погрозил им звезде. И тут же левая рука поднялась и нежно погладила вскинутый кулак, будто успокаивая, и гладила до тех пор, пока он не опустил смиранный.

К нему вернулся покой; покой, не поддающийся пониманию, поскольку ему представлялось иррациональным, что осознание этой огромности и тайны с одной стороны и неадекватности его собственной веры с другой не способно возбудить в нем иные эмоции, кроме ужаса. Интерпретировав этот странный опыт как еще один трюк Сатаны, он резко вытянул правую руку вперед и задернул занавеску, загородив тьму. Затем снова вернулся за стол и закрыл лицо руками для очередной молитвы. Но молитва не шла. Те слова, что приходили в голову, едва ли могли выразить мрачное смятение разума.

Вскоре, несмотря на то, что глаза его все еще были закрыты в попытке помолиться, он осознал, что левая рука уже закрывает лицо. Он открыл глаза и увидел, что рука ощупывает стол. Как только ей помогло зрение, она схватила листок бумаги и карандаш и начала писать — почти неразборчиво, так как сэр Джеймс практически так и не научился писать левой рукой. К

тому же, листок постоянно сдвигался, поскольку он не придерживал его другой рукой. Горю желанием узнать, что же написала левая рука, он опустил руку правую и прижал ею листок.

Левая рука написала:

«Вот бы я мог пробудиться окончательно и контролировать все мое тело так, как я сейчас контролирую мою левую руку! Вот бы я мог всегда быть собой трезвомыслящим, а не той тупоумной и бесчувственной частью меня, которая считает себя мной настоящим и обычно контролирует все мое тело! Теперь я прозрел. Но этот другой я, этот бедный, слепой, заблудший я никогда ничего не видит ясно и отчетливо, несмотря на весь его практичный «реализм». Сейчас вся моя прошлая карьера видится мошенничеством, притворством, безудержным своекорыстием под личиной благородных мотивов. Хотя нет, не только своекорыстием. Нет! Полагаю, я на самом деле желал стоять за свободу и братство, но забота о собственной репутации всегда сказывалась на моем поведении не лучшим образом. Потому-то я и не смог заставить себя написать то письмо. Отчасти я хотел это сделать но худшая, дурная часть меня всегда следила за тем, чтобы я этого не сделал. А потом еще Милдред! Здравомыслящая, очаровательная, верная Милдред! Только когда я бываю собой настоящим, я осмеливаюсь признавать, что люблю ее, и тогда только моя левая рука может неуклюже сказать ей об этом. Лишь одна Милдред может спасти меня от меня самого и оправдать в глазах Бога. И, однако же, в состоянии отупения я чувствую свое превосходство над ней и настраиваю себя против нее! Я, напыщенный,

гнусный и бесчувственный осел, чувствую, что стою выше Милдред Смит! А потом еще Часовня! О Боже, Часовня! В душе я несомненно верен ей, просто потому, что знаю: она действительно, в своем архаическом символизме, лелеет и хранит Любовь, которая и впрямь в некоем мрачном смысле божественна. Но вся эта мифология и мое собственное неисправимое самоничтожение уводят меня в сторону. Я должен, должен бодрствовать. Я должен отличать подлинный дух, скрытый где-то в Часовне (но гораздо ярче сияющий в Милдред), от всех его жалких имитаций, встречающихся в Часовне, в моей собственной жизни, в прогнившем обществе, которым я помогаю управлять. Я никогда не напишу письмо, пока не приручу необузданную, незрелую часть себя; а этого я не сделаю до тех пор, пока не пробужусь полностью и навсегда, как сейчас пробудился на время. Но мне предстоит сделать нечто большее, чем написать письмо, а потом эгоистично защитить себя от вызванных им последствий. Я должен присоединиться к притесняемым и сражаться на их стороне. Я должен изменить весь характер и структуру моего бизнеса. Я должен принести в Часовню новый дух или же покинуть ее. И я должен иметь мужество жениться на женщине, которую люблю».

Тут уже сэр Джеймс не выдержал. Правой рукой он вырвал бумагу, скомкал ее и бросил в огонь. Пару секунд левая рука еще продолжала писать — на промокающей бумаге. Но правая рука, теперь вышедшая из-под контроля, схватила ручку и с чудовищной, первобытной силой вонзила ее в левую руку, наполовину погрузив острый конец в плоть. Сэр Джеймс ничего не

почувствовал, левую руку парализовало. Безумная радость охватила его при виде крови, и когда правая рука нанесла новый удар, а за ним и еще один, он рассмеялся. Схватив окровавленную ручку, он принялся неистово писать на промокательной бумаге. «Туалетные» непристойности и грубые порнографические рисунки переплетались с заявлениями человека, страдающего манией величия и проникнутого ненавистью бесовского духа в левой руке. Время от времени, когда ручка пересыхала, она «заправлялась» кровью, сочившейся из левой руки. Сэр Джеймс взирал на это с ликованием, забывая о своем респектабельном «я». Но паралич и бесчувствие левой руки длились недолго. Он ощутил острую боль. Одновременно на него накатила волна отвращения, вызванного видом месива из чернил и крови. И тогда его нормальное «я», смятенное приятием жестокости правой руки, осознало ужасающий конфликт между его респектабельными ценностями и этим всплеском жестокости. Призвав на помощь всю силу своей воли, он прокричал: «О, Господи, спаси меня, спаси!» Ответом на его просьбу была тишина. Какое-то время он ждал, вслушиваясь в эту тишину. Затем его охватило безумие.

Явившиеся утром уборщицы обнаружили разгромленную комнату. Ящики стола, все до единого, были вытащены, их содержимое разбросано по полу. Стулья перевернуты, картины сорваны со стен, стекла разбиты. Шокированные женщины подумали о грабителях. Сэр Джеймс сидел в мягком кресле, поглаживая правую руку, которую как-то сломал. На все вопросы он отвечал «грубостями» and бессмысленным бормотаньем.

ем. Его левая рука продолжала двигаться, будто строча что-то на бумаге, и одна из женщин вложила в нее карандаш и подсунула под нее лист бумаги. Сэр Джеймс написал слово «врач» и телефонный номер, а затем букву «М». Но тут все его тело забилося в некоем припадке, и больше они уже ничего не смогли от него добиться. После того как на сломанную руку наложили шину, мистера Пауэра увезли в частную лечебницу, специализирующуюся на душевнобольных. Надежда на то, что при должном уходе рассудок вернется, остается в настоящее время смутной.

Мир звука

В помещении было тесно и душно. Казалось, музыка не имеет четкой формы. Это были сущие джунгли шума. Время от времени то один инструмент, то другой выдавал полтона, но каждое из этих недоразвитых музыкальных созданий погибало прежде, чем успевало встать на ноги. Какой-то другой и враждебный зверь набрасывался на него и пожирал целиком, или же сами джунгли подавляли его.

Эта непрекращающаяся борьба за существование утомила меня. Я закрыл глаза и, должно быть, уснул, так как внезапно резко пробудился, или же мне это только почудилось. Случилось нечто странное. Музыка все еще продолжалась, но я был парализован. Я не мог открыть глаз. Не мог позвать на помощь. Не мог пошевелить телом, так как вовсе его не чувствовал. У меня не было тела.

Что-то случилось с музыкой и с моим слухом. Но что? Казалось, сплетение звуков стало несравненно более объемистым и закрученным. Я не особо разбираюсь в музыке, но тут вдруг я осознал, что эта музыка переполняет, так сказать, все интервалы между нормальными полутонами, что она использует не только четвертитоны, но также «сантитоны» и «миллитоны», с тем эффектом, который, несомненно, стал бы настоя-

шей пыткой для среднестатистического уха. Мне, в этом моем измененном состоянии, она давала ощущение насыщенности, цельности и живости, которых так недостает обычной музыке. Более того, эта странная музыка имела и другой источник изобилия. Она поднималась и опускалась над вереницами октав, уходя за пределы нормального слуха. И однако же я ее слышал.

Чем больше я слушал, тем больше — к собственному удивлению — привыкал к этому новому жаргону. Я обнаружил, что легко различаю все виды последовательных музыкальных форм в этом мире звука. На неясном, экзотичном фоне более или менее постоянных аккордов и вибрирующей «листвы», если можно так выразиться, играли рельефные и непрерывно меняющиеся звуковые фигуры. Каждая представляла собой устойчивый, хотя и колеблющийся в особенностях жестикуляции и то усиливающий, то понижающий свое звучание музыкальный предмет.

Вдруг я сделал открытие, которое в любой другой момент считал бы невероятным, но которое тогда, однако же, показалось мне вполне обычным и само собой разумеющимся. Я понял, что все эти звуковые фигуры вполне себе живые, даже наделенные разумом. В обычном мире все живое воспринимается в виде изменяющихся комбинаций видимых и осязаемых характерных признаков. В этом же безумном мире, который казался мне вполне обыденным, комбинации не цвета и формы, но звука образовывали реальные живые тела. Когда до меня дошло, что я попал в страну «плановой музыки», то на какое-то мгновение я испытал омерзение. То был мир, нарушавший незыблемые каноны музыкального

искусства! Но потом я напомнил себе, что музыка не просто рассказывает, но фактически «проживает» свою историю. По сути, это было не искусство, но жизнь, так что я дал волю моему любопытству.

Наблюдая за этими, забавлявшимися таким образом передо мной созданиями, я обнаружил (скорее даже — снова заметил), что, хотя этот мир и не имел настоящего пространства, такого, которое мы воспринимаем посредством зрения и осязания, чем-то вроде пространства он все же располагал, так как в некотором смысле эти живые шутковины двигались относительно меня и относительно друг дружки. Судя по всему, «пространство» этого мира состояло всего из двух измерений, обладавших совершенно разными свойствами. Одним из них было очевидное измерение тональности, или модуляции, на едва уловимой «клавиатуре» этого мира. Другое воспринималось лишь косвенно. Оно соответствовало слышимой близости или отдаленности одного и того же инструмента в обычном мире. Точно так же, как мы видим вещи близко или далеко благодаря цвету и перспективе, и в этом странном мире определенные характеристики тембра, гармоник, обертонов передавали ощущение «близости», а другие — ощущение «дальности». Специфическая крикливость, зачастую вкупе со звонкостью звука, означала «близкий»; неизменная ровность, или призрачность тембра, как правило, в сочетании с тусклостью, означала «далекий». Объект, отступавший в это «горизонтальное» (как я его называл) измерение, постепенно терял свой насыщенный тембр, а также детальность и четкость. В то же время он стано-

вился все менее и менее слышимым, а в итоге сделался и вовсе неразличимым на слух.

Следует добавить, что каждый звуковой объект также обладал собственным характерным тембром, почти как если бы каждая вещь в этом мире представляла собой тему, исполняемую одним и тем же инструментом. Но вскоре я обнаружил, что в случае живых шутовских тембр-диапазон каждой из них крайне широк, так как эмоциональные изменения могут сопровождаться далее более значительными изменениями тембра, чем те, которые различают наши инструменты.

В противоположность неоднородному, но практически неизменному фону или ландшафту, эти живые шутовщины находились в постоянном движении. Всегда сохраняя свою индивидуальность, свою базовую идентичность тоновой комбинации, они могли отдаляться или приближаться в «горизонтальном» измерении, перемещаясь вверх и вниз по всей звуковой шкале. Кроме того, они находили удовольствие в непрерывной волнообразной игре музыкальной жестикуляции. Очень часто одно из этих созданий, путешествуя вверх-вниз по шкале, сталкивалось с другим. Тогда либо оба они взаимопроникали и скрещивались между собой, словно поперечные волны в море, либо происходила взаимная корректировка формы, позволявшая им протиснуться один мимо другого без «столкновения». И столкновение в этом мире во многом походило на диссонанс в нашей музыке. Иногда, во избежание столкновения, созданию достаточно было немного изменить свою звуковую форму, но порой ему приходилось отскакивать, так сказать, в другое измерение, которое я называл «го-

ризонтальным». За счет этого он на какое-то время становился неслышимым.

И тут меня — с все той же странной фамилльярностью — осенила другая мысль: я и сам имел «тело» в этом мире. Оно было «ближайшим» из всех звуковых объектов. Оно располагалось так «близко» и было столь явным, что я заметил его, лишь когда оно пришло в действие. Это произошло совершенно неожиданно. Одно из движущихся созданий нечаянно столкнулось с нижней частью моего музыкального тела, в результате чего я ощутил внезапную острую боль. Тотчас же, за счет рефлекторного движения, а затем и целенаправленно, я подкорректировал мою музыкальную форму во избежание дальнейшего конфликта. Тем самым я открыл, или переоткрыл, эффективность преднамеренного действия в этом мире. Кроме того, я не смог удержаться от порывистого музыкального жеста, который, как я уже знал, являлся выразительным речевым сигналом. Фактически, на языке того мира я воскликнул: «Черт возьми, да вы мне палец отдавили!» Налетевшее на меня создание ответило извиняющимся бормотанием.

Некто новенький, возникший из безмолвной дали, присоединился к моим веселым спутникам. Это существо показалось мне крайне притягательным — и мучительно знакомым. Ее (это была она) гибкая фигура, ее лирические, хотя и немного сатирические движения превратили джунгли в Аркадию¹³. К моему удовольствию, я обнаружил, что знаком ей и не совсем противен. Игриво поманив к себе, она втянула меня в игру.

¹³ Здесь: идиллический край невинных наслаждений.

Впервые я не только изменил положение моих музыкальных конечностей, но и задвигался всем телом — как в измерении тональности, так и в «горизонтальном». Как только я приблизился, она со смешком от меня ускользнула. Я последовал за ней, но очень скоро она растворилась в джунглях и в отдаленности тишины. Естественно, я был решительно настроен преследовать ее до конца: я не мог уже жить без нее и в изысканной гармонии двух наших натур представлял себе восхитительные креативные потенциалности.

Позвольте вкратце объяснить вам способ передвижения в этом мире. Я определил, что, вытянув музыкальную конечность и «зацепившись» ею за звуковую модель какого-нибудь неподвижного, отдаленного предмета, в одном измерении или же другом, я цеплялся за сам предмет и мог подтягивать к нему все мое тело. Затем я мог перебрасывать другую конечность к еще более далекой точке. Таким образом, я был способен перемещаться в этом лесу звука со скоростью и безошибочностью гиббона. Всякий раз, когда я куда-либо двигался — в том или ином измерении, — это мое движение, по внутренним ощущениям, казалось мне всего лишь противоположно направленным движением окружавшего меня мира. Близкие предметы становились еще более, или же, напротив, менее близкими; далекие — не столь далекими, или же отдалялись еще больше и исчезали из виду. Точно так же мое движение вверх или вниз по музыкальной шкале представлялось мне понижением или повышением тональности всех прочих предметов.

В движении я не испытывал ни малейшего сопротивления со стороны других предметов — разве что в столкновениях, вызванных отсутствием гармонии, которых я, как правило, избегал за счет изменения формы. Я обнаружил, что некоторое несоответствие между мною и всеми прочими сулит лишь легкое сопротивление и никакой боли. Разумеется, подобные контакты могли быть и приятными, но резкие диссонансы были сущей мукой, долго выносить которую не смог бы никто.

Вскоре я понял, что существуют пределы моего возможного движения вверх-вниз по шкале. Опускаясь на десятки октав ниже моего обычного состояния, я начинал ощущать подавленность и вялость. На протяжении всего того времени, пока я с трудом продвигался вниз, мой дискомфорт лишь усиливался, - но лишь до того момента, пока, в некоем экстазе, я не взлетал снова к моему естественному музыкальному уровню. Высоко воспарив над этим уровнем, я сначала чувствовал приятное возбуждение, но по мере того, как число октав возрастало, накатывало головокружение, и вскоре я опускался к тем немногим октавам, коими характеризовалась моя привычная среда обитания.

В «горизонтальном» измерении пределов для моих возможностей передвижения, похоже, не существовало, и, главным образом, именно в этом измерении я и пытался разыскать исчезнувшую нимфу, продираясь сквозь постоянно меняющиеся звуковые ландшафты. Иногда они развертывались в вереницы отдаленных, смутных, музыкальных предметов или же в «тоновые» аллеи, глубокие и высокие, раскрывающие сотни октав

как над, так и подо мною. Иногда, по причине густой музыкальной «растительности», вид сужался до небольшого, не более чем в пару октав высотой, туннеля, весьма затрудняя мне продвижение вперед. Иногда, чтобы разойтись с непроходимыми предметами, мне приходилось взбираться в сопрано либо, напротив, опускаться в басы. Порой, на пустынных участках, я был вынужден перепрыгивать с одной жердочки на другую, образно выражаясь.

В конце концов я начал уставать. Движения стали замедленными, восприятие — неотчетливым. Более того, сама форма моего тела потеряла что-то из своей приятной законченности. Инстинкт подтолкнул меня к поступку, который удивил мой рассудок, но который я совершил без малейшего колебания. Приблизившись к неким небольшим, но ароматным музыкальным предметам, безусловно, очень простым, но энергичным и стойким образцам тембра и гармонии, я просто-напросто их поглотил, то есть разломил звуковую модель каждого из них на более мелкие части и инкорпорирует все это в мою собственную гармоничную форму, после чего, посвежевший, двинулся дальше.

Вскоре я столкнулся с толпой разумных существ, суматошно несшихся мне навстречу и налетавших, в этой их спешке, друг на друга. Их эмоциональный тембр выражал такой страх и ужас, что ими заразилась даже моя собственная музыкальная форма. Поспешно сдвинувшись на несколько октав в направлении басов во избежание встречи с этой неистовой оравой, занимавшей в основном верхние звуковые частоты, я окликнул их, спросив, чем вызвано это беспорядочное бегство. Когда

они проплывали мимо, я различил лишь один крик, который можно было бы перевести так: «Большой и Страшный Серый Волк!»

Страх покинул меня, так как я уже понял, что это всего лишь кучка очень юных существ. Успокоительно рассмеявшись, я поинтересовался, не встречалось ли им разыскиваемое мною очаровательное создание (Те легкость и сладость, с которыми мне на ум, когда это потребовалось, пришло ее музыкальное имя, вызвали у меня улыбку). Ответом мне был лишь еще более громкий вопль инфантильной печали, с которым они растворились в далекой дали.

Встревоженный, я продолжил мое путешествие. Спустя некоторое время я оказался в огромной пустынной зоне, где услышал очень отдаленное, но зловещее рычание. Я остановился, чтобы прислушаться к нему получше. Ко мне приближалось нечто. Его обрисовывавшаяся вдали форма была слышна четко и ясно. Вскоре я понял, что это не просто ребяческое пугало, но огромный и свирепый зверь: конечности продвигали его, громящего в басах, вперед с поразительной скоростью. Его жесткие звуковые усики, мелькавшие то тут, то там в высоких частотах, выискивали какую-нибудь жертву.

Осознав наконец, какая судьба, должно быть, постигла мою дорогую спутницу, я ощутил тошноту и слабость. Все мое музыкальное тело затрепетало от страха.

Прежде чем я решил, что делать, зверь заметил, скорее даже — *услышал*, меня, и начал надвигаться на меня с грохотом и ревом поезда, или подлетающего артиллерийского снаряда. Я побежал, но быстро понял,

что меня настигают, и погрузился в дебри хаотичного звука, который услышал впереди и в самых высоких частотах. Постаравшись как можно лучше приспособить мою форму и цвет к окружающей дикой местности, я продолжил взбираться наверх. Тем самым я надеялся не только спрятаться, но и уйти за пределы досягаемости усиков зверя. Будучи уже на грани обморока вследствие головокружительной высоты, я облюбовал насест, интегрировал мои музыкальные конечности со структурной расположенных по соседству неподвижных предметов и, закрепившись таким образом, замер в ожидании.

Зверь теперь двигался гораздо медленнее, вынюхивая меня по мере приближения. Вскоре он остановился прямо подо мною, в глубине нижних частот. Теперь его тело отчетливо слышалось как мрачная какофония рычания и отрывки. Его жесткие усики двигались подо мной, словно раскачивающиеся верхушки деревьев под человеком, взбирающимся на крутой утес. Все еще выискивая, он прошел подо мною. Я ощутил такое облегчение, что на мгновение потерял сознание и успел сползти на несколько октав вниз, прежде чем пришел в себя. Движение выдало мою позицию. Хищник вернулся и начал неуклюже карабкаться ко мне. Вскоре высота воспрепятствовала его подъему, но он добрался до меня одним из усиков, одним воющим арпеджио. Я отчаянно попытался забраться еще дальше в дисканты, но лапа монстра уже впилась в звуковой образ моей плоти. Нестово отбивающегося, меня потянуло вниз, в удушающие басы, где звуковые клыки и когти принялись свирепо рвать меня на части.

И тут внезапно я проснулся в концертном зале от громкого скрипа беспорядочно выдвигаемых стульев. Публика уже расходилась.

Семя и цветок

*Бог посеял семя, и вырос цветок.
Свят Господь, и мир Его цветок.*

Жил-был бедняк, у которого было поле, где он и трудился с утра до вечера. Была у него дочь, единственный и любимый ребенок. На закате, после работы, он посмотрел на поле; и полумрак упал на него, смотрящего, и появились звезды. Божий цветок висел над ним, но он этого не знал. Однако он позвал дочь из дому, погладил ее рукой по головке и сказал: «Поле дает хороший урожай; я куплю три пары туфель и чулок». Она принялась веселиться во мраке, и он увидел в ней Бога.

На рассвете с востока пришла армия и опустошила поле. Солдаты сожгли дом и имущество, жестоко надругались над девочкой. Придя в ярость, мужчина убил троих их них, но оставшиеся проломили ему череп и бросили, полуживого, в траву у дома. Покончив со всем, они ушли, и девочка умерла.

Мужчина пролежал в траве весь день, ни о чем не догадываясь. Но вечером он открыл глаза и увидел небо. И одна яркая звезда принесла ему успокоение, поэтому он позабыл о своей боли, думая лишь о Боге. Но затем он повернул голову, увидел девочку и все вспомнил. Он

подполз к ней и принялся целовать ее волосы. И он дал обет.

И потому, когда рана зажила, он поспешил стать солдатом. Он ушел с товарищами на большую войну, ни на миг не забывая о дочери. Он с наслаждением убивал врагов изо дня в день, до тех пор, пока не упился их кровью.

Как-то он наткнулся на одного умирающего, и это оказался враг. Враг сказал: «Побудь со мной, умоляю, пока я не умру». Он остался стоять над врагом, глядя на него хмуро, но тот сказал: «Преклони колени, умоляю, и возьми мою руку». Он опустился на колени и взял руку врага в свою, ожидая смерти. Враг сказал: «У меня двое мальчиков и любящая жена». Они помолчали. И враг умер.

Мужчина оставил его для воронья и муравьев, но ушел опечаленным. Совершенно пав духом, он прилег на землю и увидел сонмища муравьев, убивавших друг друга; но рядом с ним росло большое и старое дерево, с несметным количеством листьев. Ветер гулял в листве, производя один громкий звук. Звук этот умиротворил мужчину, и тот уснул.

Проснулся он ночью, когда небо уже покрылось мириадами звезд. Шелест листвы казался песней всех этих звезд. И земля тоже пела, и жизнь повсюду; и армии пели, и мертвые пели. И он услышал свою дочь, исполнявшую в этом хоре главную партию. И слушал мужчину эту песню до самой зари, до тех пор, пока не взопло солнце. А с восходом солнца он встал и дал обет.

Он вернулся к своим товарищам и сказал: «Братья, убивать — это грех; умереть — и то лучше. Давайте пой-

дем к нашим братьям и заключим мир». Но они возражали: «Уж не хочешь ли ты убедить миллионы? Нет, мы должны охранять землю». Но когда поступил приказ наступать, мужчина не поднялся в атаку. Это увидел какой-то офицер и окликнул его. Но мужчина сказал: «Брат, убивать — это грех; уж лучше умереть». Офицер глубоко опечалился и убил его.

* * *

*Бог посеял семя, и возжелало оно стать красивым.
Цель всех Душ — красота этого цветка.*

Жил-был юноша благородных кровей, который не желал убивать. Враг восстал против его народа, и все его друзья стали солдатами, но юноша остался дома, скорбя и тоскуя, и один выходил в поле. Но враг истребил скот и урожай и вырезал людей; и юноша утратил душевный покой, так как стал сомневаться. Поэтому он отправился в горы, чтобы расспросить Бога. Он увидел кукурузные поля, небольшие домишки, далекий город и сказал себе: «Пусть я потеряю душу, но мы должны спасти людей».

С тяжелым сердцем спустился он с горы и стал солдатом. Он повел людей в бой, и те погибли. Но после сражения он отошел в сторонку и, бросившись на землю, принялся оплакивать убитых и раненых. «О Боже! — молил он. — Избавь меня от убийства, ибо душа моя слабеет!»

Но он снова пошел в бой, и случилась кровавая резня. Когда все закончилось, он стоял среди убитых, думая:

«Что есть смерть? Что есть зло в ней? Смерть — это глубокий сон; а боль — это грезы. Где жизнь, там всегда есть раздор, а следовательно, растет и душа. И цель всех горестей — Бог».

Много еще раз он водил людей в бой, принуждая себя. Он думал лишь о людях и правом деле и не желал видеть мертвых. Он совершал подвиги и благие дела и был любим.

Однажды, когда он повел людей в атаку, один отказался. Он попытался на него надавить, но мужчина сказал: «Брат, убивать — это грех; уж лучше умереть». Опасаясь, как бы семя разложения не дало новых всходов, и битва не оказалась проигранной, офицер убил мужчину, но в душе его поселилась печаль.

Он вернулся в сражение, и с ним они одержали победу. Тысячи врагов были убиты и вынуждены спасаться бегством, а юноша стал великим военачальником, почитаемым всеми солдатами. Но он жил во имя правого дела; и жил в тоске и печали.

Так случилось, что как-то темной ночью принесли труп его друга. Думая о друге, он вышел под дождь и ветер. Дождь хлестал ему в лицо, на небе не было ни единого просвета, но он помнил звезды, желая их. Шквальный ветер в дугу гнул деревья, забрасывая его сорванными листьями и ветками, и он прокричал, обращаясь к Богу: «Чего ты хочешь от меня? Уж лучше умереть, чем убивать!»

Утром к нему привели юношу, якобы вражеского шпиона. Но он заглянул этому юноше в глаза и не обнаружил в них вероломства. «Убийца! — бросил ему пленный. — Мое дело — заключать мир между народа-

ми. Люди проклинаят войну: они проклинаят тебя». Но офицер приказал отпустить юношу, сказав тому напоследок: «Раз уж убивать — это грех, брат, уж лучше умереть». На этом офицер вышел из палатки и застрелился.

* * *

*Бог посеял семя, будучи уверенным в цветке;
Но человек должен сомневаться до тех пор, пока не
раскроются почки.*

Жил-был смышленный юноша, искусный сталевар. Как-то он разругался с мастерами, да так сильно, что те принялись ему угрожать. Но он посоветовал товарищам держаться его, сказав: «Правда на моей стороне», и те прекратили работу, послушавшись его. Месяц спустя они пришли к нему и сказали: «Мы изнываем от скуки», но он ответил: «Наше дело правое», и они ушли. Прошел еще месяц, и они снова явились к нему со словами: «Наши жены и дети умирают от голода», но он сказал: «Наше дело правое», и они ушли. Но спустя еще один месяц они пришли и сказали: «Мы сломлены; они победили». «Даже если вы умрете, - ответил он, - все равно наше дело правое». Но они вернулись к своей работе, покинув его.

Юноша кочевал из города в город в поисках работы и правды. И так уж случилось как-то ночью, перед самым рассветом, что, зачитавшись некой книгой, он настолько устал от ее мудрости, что открыл окно, посмотрел вверх и увидел, меж крыш и дымовых труб, звезду. Он

подумал: «Звезды разбросаны тут и там без всякой цели; люди разбросаны тут и там, и нет никакого Бога. Звезды не налетают одна на другую, но вот люди друг с другом сталкиваются; я наведу на земле такой же порядок, какой существует на небесах».

Но две великие армии вышли с востока и с запада, и юношу забрали в солдаты. Но забравшим его он заявил: «Все народы есть один-единственный, так что воевать глупо; я не стану». На него сильно осерчали, но убедить не смогли. Поэтому его отвезли на рудники, где могли принудить к работе. Он вкалывал под землей с утра до вечера, и тьма вошла в его душу. Он сказал себе: «Войну придумали богачи, чтобы люди не восстали. Смерть богачам, ворам и убийцам!»

Юноша сбежал с рудников и пошел в народ, проповедуя мир. Но враг схватил его как шпиона и привел на допрос к офицеру; и юноша проклял офицера, от имени всех народов. Но офицер даровал ему свободу, сказав: ««Раз уж убивать — это грех, брат, уж лучше умереть». Потом офицер застрелился, чем несказанно обрадовал юношу. Но солдаты плакали над телом своего командира, как дети, потому что любили его, и юноша почувствовал себя пристыженным.

Через обе противоборствующие армии продрался он к границам своей собственной страны, немало озадаченный как поведением офицера, так и поведением Бога. Теперь сидел он на обочине дороге и вглядывался в голубое небо, выискивая там Бога. Мимо проезжали повозки, груженные людьми и их пожитками; последняя едва тащилась, так как лошадь была совсем уж старенькой. В повозке ехали старик и девушка, которая и пра-

вила лошадию. Юноша пристроился рядом с этой последней повозкой и спросил: «Кто вы такие будете?» Девушка посмотрела на него, и увидел он, что она святая. Но она отвела от него взгляд и сказала: «На нас напал враг». И так ему стало их жалко, что он воскликнул: «Да будет он проклят, этот враг!» Но она промолвила: «Кто ты такой, чтоб проклинать его?» «Я — человек мира», — ответил он. Но она заглянула ему в глаза и спросила: «Ты в этом уверен?»

Юноша удалился в недоумении, глубоко сочувствуя старику и девушке. Весь день напролет он думал о ней, и всю ночь. И казалось ему, что стоит он среди звезд, направляя их в нужные стороны, и подошел к нему офицер, раскаявшийся в том, что одну звезду он увел с пути истинного. По этой причине, как следует отчитав офицера, он послал его в ад. Но тут перед ним выросла девушка и, осыпав его упреками, сказала: «Его кровь на тебе, как и кровь моего отца. Это ты убил их вследствие излишней самоуверенности. Мелкая душонка, играющая в Бога, вот ты кто!»

Утром юноша стал солдатом, сражающимся за свой народ. Он лишился гордости и сделался смиреннейшим из смиренных. И когда наступила зима, он пошел в бой и сражался с охоткой.

* * *

*Бог посеял семя: медленно расцветает цветок,
Бог сорвет его, когда пожелает.*

Жил-был один дряхлый старик, за которым ухаживала дочь. Сидели они как-то вечером на крыльце своего дома; старик рассказывал о своих лучших годах, а дочь что-то шила. Но тут пробежал кто-то мимо дома, крича: «Враг! Враг идет!» Старик вскочил в гнев и воскликнул: «Разрази их Господь!» Но дочь увела его в дом, и начала готовить к поездке, и вытащила она из сундука все их сбережения, девять золотых монет, и, завернув их в носовой платок, спрятала на своем теле. А потом в дом, ища увеселений, ворвались вражеские солдаты и обрадовались, увидев девушку. Но она встала перед ними и сказала: «Друзья, все, что у нас есть — ваше, но мой отец и я принадлежим не вам, но Богу». Они увидели, что она свята, и стало им стыдно; но они предложили ей уехать, вместе с отцом и всем домашним имуществом, так как вскоре здесь должно было разразиться сражение. Поэтому она запрягла лошадь в повозку, усадила в нее отца, собрала все домашние вещи и тоже погрузила их в повозку. Затем она уселась рядом с отцом, и они отправились в путь.

На следующий день на дороге они встретили юношу, который не был солдатом. Она наверняка знала, что он не трус, но человек мира, и в душе она уважала его за это, а потому запомнила.

Проведя в пути пятеро суток, они прибыли наконец в отведенное им место. Им выделили землю и деревянную хижину, и они начали там обживать. Девушка придала внутреннему убранству дома приятный вид и засадила огород овощами. Ей приходилось работать и в поле, так как все молодые люди были на войне. Но те, что работали вместе с ней, смотрели на нее с подозре-

нием, так как она любила повторять: «Уж лучше бы все они были людьми мира!»

Вместе с зимой пришли жуткие холода и снега, и старик тяжело заболел. Уже стоя на пороге смерти, он сказал: «Бог накажет врагов, которые принесли нам все это». Но она ответила: «Увы, они тоже божьи дети, и Он любит их». И она добавила: «Помнишь, того юношу мира?» И ответил ей отец: «Хотя реки волеют кровь в моря, и люди будут умирать, как осенние листья, хотя на всех землях воцарятся разруха и хаос, на нашей планете все равно будет полным-полно людей мира».

Он положил свои руки на руки дочери, благословляя ее, и сказал: «Бог нуждается в таких, как ты, дорогая моя доченька». С этим он умер, и она долго еще в одиночестве рыдала над его телом. Затем она укрыла его чистым холстом и просидела с мертвецом до рассвета, думая о смерти.

Как-то весенним вечером, когда она возвращалась домой с полей, перед ней вдруг возник тот юноша, который когда-то сказал ей: «Я — человек мира». На сей раз речь его была такой: «Из-за тебя я стал солдатом, так как меня мучила совесть. Из-за тебя я отбросил все мое самодовольство и сражался с охоткой. Но как-то раз, с мечом наперевес, я гнался за одним человеком, и он оступился и упал. И у меня не поднялась рука поразить его, потому что он лежал на земле. Невыразимый ужас убийства овладел мною, и я рванул оттуда со всех ног, будто сумасшедший. Я навсегда покончил с военной службой, пусть даже это будет стоить мне жизни. Должен признаться, я искал тебя, искал долго и упорно». Теперь уже девушка задумалась над его словами и

поняла, что в ней пробуждается любовь к нему. И они целую вечность бродили по полям, не желая расставаться; но в итоге пришли в ее сад и долго стояли среди его зелени. Она сказала: «Видишь звезды; они тоже божьи дети. Они уж точно любят и не убивают». Но он рассказал ей о звездах, о том, что — они большие солнца и миры; и она спросила: «Но те, что живут в этих мирах, как там они?» Она вскинула руки к небесам, приветствуя эти народы, и сказала им: «Братья и сестры, которых я не знаю, работаете ли вы, плачете, любите? Тогда и я люблю вас. Вы ненавидите, убиваете и воюете? Я все равно вас люблю». Потом они какое-то время стояли молча перед величием звезд и тайной друг друга. Он промолвил: «Я не знал, каким может быть Бог, пока ты его не показала. Он есть величие всех звезд и душа одной девушки».

А потом за ним явились люди и арестовали как дезертира. Они сказали: «Храбрецы умирают, а ты прячешься у шлюхи». Юноша пришел в ярость и набросился на них с кулаками. Но силы были не равны; они убили его и унесли тело с собой.

Девушка так и осталась стоять на садовой тропинке, среди зеленых насаждений. Снова и снова воздымала она руки к небесам и тамошним народам и кричала им: «Плачьте, плачьте со мной, вы, люди! Они забрали моего друга». Но сама она не плакала. Просто стояла, переводя взгляд со звезды на звезду, крайне удивленная смертью, и близкое присутствие друга наполняло ее великим ужасом, к коему примешивалась необъяснимая радость.

*Бог посеял семя. И оно не обманет ожиданий.
Пусть даже осенью листья вянут.*

Земля стала полем боя, а города — грудями руин. Все мужчины сражались: ни один не работал. Солдаты были голодными и обессиленными, но все равно продолжали сражаться. Повсюду, непогребенными, валялись трупы женщин и детей, и все равно рождались младенцы. Чума пожирала народы; земля обезумела.

Война становилась все ожесточеннее и ожесточеннее, и ни одной из сторон не удавалось одержать верх. Начались народные бунты и общественные беспорядки. И все равно во всех землях находились мужчины мира, работавшие против войны, и женщины мира, не желавшие рожать сыновей лишь для того, чтобы те затем гибли в этой мясорубке. Солдаты стали общаться с врагами и дружили с ними между сражениями, хотя по приказу командования снова бросались в бой — убивать. Каждый говорил себе: «Война — это Ад, в котором нет ничего хорошего». Но соседу он говорил: «Мы страдаем за правое дело». И так война уничтожала все вокруг, и зло распространялось по всей земле.

Была на поле боя одна женщина, ухаживавшая за ранеными. Нещадно палило солнце, а запасы воды уже кончились. Раненые начали бредить, но ничего нельзя было с этим поделать. Женщина хлопотала над каждым, но все это время из головы у нее никак не шла одна мысль: «Почему мужчины готовы столько терпеть войну, но ни на что не отваживаются ради мира?»

Огромная масса людей бежала в их сторону, гонимая врагом, убивавшим всех, кого удавалось настичь. Женщина смотрела на них с сочувствием, но остановить не могла. Яростная толпа пронеслась мимо, оставив ее с новыми павшими. Но спустя какое-то время, ведя пленных, вернулись враги. Они хотели схватить ее, но ее обуял гнев столь благородный, столь священный, что они не посмели. Она вскричала: «Друзья, вы же все ненавидите войну, почему вы должны сражаться? Уж не сошли ли вы с ума — ведь можете любить, а вы все равно убиваете? Или вы трусы, раз не осмеливаетесь бросить ваше оружие? Весь земной шар хочет мира, и весь земной шар боится. Посмотрите на это поле брани, ваших рук дело! Что, довольны? Да вы же ненавидите это занятие, да, ненавидите, потому что вы люди, а не волки! У всех вас есть жены, и матери, и любимые, да и дети вам верят. Как можете вы убивать под чистым июньским небом? О, мы все сейчас не видим Бога, и потому нет в нас радости. Но Бог по-прежнему живет в каждом, кто любит; он — в сердце каждого. Бросьте ваше оружие, бросьте! Уж лучше умереть, чем убивать. Уж лучше умереть людьми мира, чем жить воюя. Если вы так поступите, то и другие последуют вашему примеру, а за ними, глядишь, и все остальные, и война закончится».

Вокруг нее уже собралась толпа, и каждый знал, что она говорит правду; так как в душе каждого ее голосу отвечал другой голос, в каждом говорил Бог. Гул одобрения поднялся в толпе, и все принялись бросать оружие, и началось всеобщее веселье. И тогда женщина предложила им разойтись по деревням и селам, призы-

вая к миру. И сказала она: «Большинство из вас будут убиты, но это — во имя мира».

Внезапно их атаковал неприятель, и они позволили себя одолеть. Большинство были быстро уничтожены, но умерли, превознося мир. Враги были так потрясены этим, что вскоре перестали убивать и, тоже побросав оружие, стали людьми мира.

Все это смешанное сонмище разбрелось по округе, убеждая людей прекратить войну. Многие были преданы мученической смерти, но они умирали в радости. И люди были готовы слушать, а потому речи эти стали распространяться. Наконец было достигнуто соглашение, что в определенный день вся война прекратится, все оружие будет собрано вместе и уничтожено. И в этот день это было сделано. Каждый дал обет, держа руку того, кто прежде был ему врагом. Все армии разошлись по домам, и был там праздник.

Затем мужчины начали снова отстраивать то, что было разрушено, и пускать в ход великие мирные предприятия. Повсюду, где прошла война, по-прежнему были невзгоды и страдания, но появилась и надежда. Люди, как и раньше, ссорились и пытались захватить все, что находилось в пределах их досягаемости, но пробудился и новый дух. Сердца людей очистились для начала новой эры — эры познания Бога, эры радости.

Женщина вернулась в свою деревню и обустроила для себя там дом. Она выращивала зелень для продажи и держала домашнюю птицу. Каждую неделю, с полной корзиной, она ходила на рынок. Соседские дети любили ее и называли уменьшительными именами. И часто по ночам она ходила в сад смотреть на звезды и расспра-

шивать их о своем погибшем друге. Зная все о звездах, она называла их самыми причудливыми именами и научилась слушать музыку, которая есть песнь всех этих звезд. И она познала своего друга, который оказался Богом. Затем, когда радость вернулась в этот мир, она умерла.

Бог посеял семя, и вырос цветок.

Свят Господь, и мир Его цветок.

Дорога в медпункт

В Бельгии, в два часа ночи, водитель санитарной машины вылез из-за баранки и широко зевнул. Дождь шел не переставая уже целые сутки, и крутом было очень влажно. Но вот наконец западный ветер начал победоносно преследовать тучи, насланивая их хаотичные компании одну на другую. Внезапно засветила луна. Белые разрушенные дома с одной стороны улицы, жмущиеся, словно овцы, друг к дружке, смотрели в направлении востока и осветительных снарядов. Темные разрушенные дома с противоположной стороны вырисовывались на фоне неба силуэтами разбитых стен и балок. Какое-то время водитель просто стоял наблюдая: он начал вздыхать, но успешно перевел вздох в новый зевок и вернулся к машине, чтобы подготовить ее для приема двух лежачих больных. Затем он пересек то, что когда-то было детской площадкой, направляясь к медпункту, некогда — школьному подвалу. До чего же медленно сегодня выносят раненых! Он осмотрел новую дыру, образовавшуюся там, где снаряд прошел через здание. Постоял рядом с грудой обломков, глядя на луну. Прямо над головой проплывало тяжелое белое, вертикального развития, облако. Он смотрел вверх, на его края, словно стоял у подножия некой нелепой воздушной пизанской башни, бесконечно долго падающей на

него через явно столь же глубокое, что и вселенная, небо. Луна взидала на него взглядом столь выразительным, будто отчаянно пыталась сообщить какую-то хорошую новость. На миг он замер, очарованный этой внезапной красотой, но потом опомнился и адресовал луне сдержанный зевок.

Вынесли раненых; стонущего и безмолвного; лицо первого было искажено судорогой и наполовину прикрыто пледом, лицо второго - полностью замотано белыми бинтами. Носилки быстро поместили в салон, водитель и санитар-носильщик заняли свои места, и старенький автобус потащился по улице.

Стоны первого прекращались, лишь когда автомобиль, угодив на очередной ухаб, превращал их в крики. Второй лежал тихо. «Тыловая крыса, вот я кто, - размышлял водитель. — Что еще должны обо мне думать эти парни?» Стонущий был старым священником, для которого война являлась неуместной, последней главой к жизни, состоявшей из сбора урожая и воспроизведения потомства. Она была нелогичной, но он не жаловался. Не будучи человеком отважным, он никогда не уклонялся от того, чего от него ожидали. Теперь он лежал, погруженный в свою боль, и молил о конце поездки, или же о том, чтобы затеряться среди абсурдных видений посевных полей, скота и разрывающихся снарядов, но снова и снова обнаруживал себя в огненной печи страданий. Второй лежал тихо; никто не знал, где витает его душа, над землей или же высоко в небе. «До чего же скверная это игра! — думал водитель. — Почему я давным-давно не записался на службу?» Он не исповедовал антивоенные принципы и питал отвращение к

тем, кто заявляли, что они пацифисты. Война, возможно, была ужасной ошибкой, но его друзья-солдаты в Галлиполи и Фландерсе умирали с честью. Многие отличались на полях сражений. Уж лучше совершить ошибку и страдать вместе с соратниками, чем быть хлыщом-одиночкой. Для него война не являлась научной ненавистью; это была любовь, сошедшая с ума. Англия нуждалась в нем, и Англия представлялась чем-то гораздо более близким, чем Бог. К тому же, кто сказал, что воевать — неправильно? Самое лучшее достигается в сражениях, да и Бог победил Сатану. Будь Бог пацифистом, они бы имели сейчас Потерянный Рай!

Так размышлял шофер, ведя машину по залитым лунным светом широким улицам. У госпиталя автомобиль разгрузили, и на его глазах раненых занесли внутрь, где они присоединились к десяткам таких же, как они сами.

Теперь, в первых лучах зари, водитель спешил обратно. На востоке сверкало розовато-красное зарево, словно никакого зла никогда и не выходило из того квартала, словно ненависти никогда и не было в этом мире. В этот волшебный край он и ехал, переполняемый утренней радостью. Но приятный вид окрестностей не поколебал его решимости. Несомненно, несомненно, он должен записаться на службу и отдать жизнь вместе с друзьями. Красный Крест — крест недостаточно тяжелый для такого, как он. Заря поглотило то, что оставалось от ночи, и теперь все небо было в огне. Он должен стать солдатом, должен. Кто он такой, чтобы судить, когда столько более достойных мужчин без колебаний уходят на войну? Его квакеры-родители, конечно,

сильно огорчатся, но он просто обязан это сделать. Ему и самому было нерадостно от мысли о родительской печали. В конце концов, война - действительно отвратительная штука. Фактически, его решимость уже начинала превращаться в разочарованность. Некий тайный голос говорил: «Ты будешь сражаться только потому, что тебе стыдно не сражаться. Ты будешь сражаться за свой собственный душевный покой, не за победу, не за правое дело. Тебе не обрести даже того душевного покоя, который ты ищешь». Ослепительное солнце выглянуло из-за восточной облачной гряды, и деревья, поля, сверкающий канал, казалось, вдруг засмеялись, столь яркими они внезапно стали. «О Боже, вот это мир!» — громко воскликнул водитель, прогрохотав мимо. Солнце и сельский ландшафт, вне всякого сомнения, вторили тайному голосу, которым он позволил себе их озаботить.

Он слышал, как кто-то говорил, что, точно так же, как частное убийство вышло из моды, так когда-нибудь выйдет из моды и война, и что эта Война есть всего лишь красный рассвет новой эпохи, в которой на многие потемки прольется свет. Безусловно, раз уж Мир и Добрая Воля не могут быть сегодняшней идеей, они могут стать идеей завтрашней. Горе тем, кто, имея хоть самое слабое подозрение об этой великой завтрашней идее, изменяют ей ради самых высоких сегодняшних идеалов. Судьба пожелала, чтобы он мельком увидел этот рассвет раньше его сражающихся друзей: горе ему, если он закроет глаза.

По возвращении он не выглядел счастливым, довольным или хотя бы позитивно настроенным, но был

абсолютно уверен в том, что сражаться не станет. Его новая мировоззренческая концепция (которая, впрочем, отнюдь не нова) была крайне смутной, но все же то была концепция, и ей следовало хранить верность. Возможно, в конечном счете он совершал ошибку, но ошибку благородную. Он не должен отступать от этого видения, пусть даже и с риском для жизни собственной души.

Водитель загнал машину на место, проковылял в лагерь, вытащил из постели лучшего врага, убедил щенка облизать заспанное лицо повара и приступил к утреннему туалету. Снова и снова заходил он на эту целину сомнения, и с каждым разом концепция прояснялась для него все больше и больше.

И разве он такой один?

Старик в Новом мире

В 1943 году Артур Кёстлер попросил Стэплдона написать что-нибудь для планируемой им к выпуску антологии утопической прозы. «Старик в новом мире» привел Кёстлера в полный восторг, но прочие представленные на рассмотрение работы надежд не оправдали, и, решив, что мировая война стерилизовала утопическое воображение, он отказался от проекта. История Стэплдона, встроена в мировой порядок конца двадцатого века, — это его самая обезоруживающая вылазка в утопизм. Его верность утопическим идеалам отчетливо проявлялась в нескольких его книгах 1930-х годов, включая «Пробудившийся мир» (1934) и «Новую надежду для Британии» (1939); отчетливыми, хотя и темными, полосами утопизма испещрена вся его художественная проза, особенно «Последние и первые люди», «Странный Джон», «Создатель звезд», «Темнота и свет». Но «Старик» дает снисходительное, искаженно-комическое представление об утопии, чего нет ни в одном другом беллетристическом произведении Стэплдона, и поднимает увлекательные вопросы о различиях между теми, кто борется за построение утопического общества, и теми, кто уже живет в утопии. Эти две стороны, поданные здесь в виде диалога между старым коммуни-

стом и молодым летчиком, Стэплдон часто называл в своих сочинениях перспективами революционного и святого. Собственную точку зрения автора на утопию определить не так-то и просто. Он вкладывает частичку себя как в революционный, так и в святой голос, но космический скептицизм речи Шута является отличительной чертой той мировоззренческой концепции, к которой Стэплдон возвращался раз за разом на протяжении всей своей жизни. В конечном счете рассказ был опубликован в 1944 году в виде небольшой брошюры международного ПЕН-клуба — всемирной ассоциации писателей.

Старику чрезвычайно польстило внимание правительства, выславшего за ним в Нортумберленд специальный самолет, который должен был доставить его на великое празднование в Лондон. Родившемуся во время Первой мировой войны, сейчас ему было уже под девяносто, хотя он и сохранял еще, как ему хотелось верить, поразительно ясный ум. Сегодня ему предстояло занять свое место среди почтенной, но неуклонно редющей группы Отцов революции. Торжества проходили по случаю Процессии народов, которую организовывали каждый год в каком-нибудь избранном городе мира в ознаменование учреждения Нового мирового порядка, установленного тридцать лет тому назад и спустя двадцать три года после окончания Второй мировой войны. На сей раз новый характер празднику и его завершающей церемонии должно было придать специальное обращение к молодежи, так как сегодня человечество отмечало также «Двадцать пятую годов-

щину Первого поколения Нового мира», молодых людей, родившихся спустя пять лет после окончания мировой революции, когда уже начала действовать Новая образовательная политика. По счастью, именно Лондону выпала честь принимать гостей великого праздника в этот особый год. Британская столица безусловно заслужила данную привилегию, так как подсократившееся население Британии добилось значительного улучшения своего благосостояния, взяв курс на заботу о молодом поколении и его образование.

Когда небольшой двухместный самолет, легкий и маневренный, беспечно приземлился на лужайку, старик сунул в карман книжку, вышел из дому и забрался на пассажирское сидение, приветствовав молодого пилота. Самолет вертикально поднялся над деревьями, а затем плавно заскользил вперед, складывая лопасти винта и убирая их в фюзеляж. Знакомый ландшафт разгладился в зыбучий зеленовато-коричневый лоскутный ковер.

Старик с удовлетворением обнаружил, что урчащий звук современного малолетного самолета практически не препятствует беседе. Легкий разговор ни о чем вскоре установил дружеские отношения с его спутником, но пропасть между пожилым революционером и этим молодым продуктом Революции неизбежно сохранилась. Сложность была обусловлена не только годами. Сама духовная структура стариков и новой молодежи характеризовалась неким неуловимым различием, различием столь глубоким и чреватым столь серьезными последствиями, что у человека старшего поколения могло сложиться впечатление: в основе этих молодых умов лежит иная, нежели его собственная, биохимическая

структура. Конечно, они всегда были уважительны и даже дружелюбны — в наносной манере, но, казалось, постоянно от чего-то удерживались. «Словно потакают ребенку, который появился на свет недоношенным и никогда уже по-настоящему не повзрослеет», — подумалось старику. Когда же они давали волю своим чувствам, что случалось нечасто, то несли поразительный вздор. В связи с чем вставал вопрос: насколько вообще целесообразной была эта Новая образовательная политика? Но насколько тогда целесообразна сама эта современная Англия? Или весь Новый мир? В чем-то он, конечно, великолепен, но слишком много странных новых ценностей витает в воздухе. Старик относился к ним с подозрением. Что ж, возможно, то зрелище, свидетелем которого ему предстоит стать, прольет какой-то свет на этот вопрос. Прошел слух, что на церемонии будут представлены потрясающие нововведения, призванные показать, что новый и относительно молодой президент Всемирной федерации и многие его коллеги одобряют те получившие широкое распространение изменения, что происходят сейчас в жизни человечества, и намерены им благоприятствовать.

Втайне старик рассматривал эту вылазку в Лондон как нечто большее, нежели приятную увеселительную прогулку за счет правительства. Это была инспекционная миссия. Он являлся эмиссаром из прошлого, получившим предписание оценить достижения настоящего. Ему предстояло определить: с максимальной ли пользой те поколения, что пребывают сейчас во цвете лет, используют ту великую возможность, которую завоева-

ли для них, после десятилетий кульминации и героической борьбы, предыдущие поколения?

Он решил начать свое расследование с молодого летчика.

— Как это, должно быть, чудесно — быть молодым в эти времена процветания, — сказал он, — когда все хлопоты и тревоги уже позади.

Молодой человек бросил на него быстрый взгляд и рассмеялся. Придя в некоторое замешательство, старик задумался: а осознает ли вообще эта новая молодежь, воспитанная с такой нежностью и на основе научного подхода, какой была та варварская дореволюционная эпоха? Парню определенно следовало преподать этот суровый урок, судя по всему, пропущенный им в детстве.

— Теперь уже, — заметил старик, — никто не живет в страхе войны, тирании или голодной смерти; того, что ты будешь гнить и разлагаться и ничего не сможешь с этим поделать, или что тебя заставят работать до тех пор, пока ты не умрешь, изнуренный и обессиленный. Мировой стандарт жизни высок, и даже отсталые народы уже приближаются к общему уровню. Все, полагаю, живут довольно-таки насыщенной и приносящей удовлетворение жизнью. Когда вы, молодежь, встанете у руля, серьезных проблем уже не будет, так что вам останется лишь поправлять то, что нуждается в улучшении. Что еще можно желать?

Молодой человек ответил после долгой паузы.

— Новые времена, новые идеи, новые проблемы, — сказал он.

И вновь наступила пауза, нарушенная уже пожилым.

— Естественно, когда внутриатомная энергия начнет широко использоваться в коммерческих целях, мы окажемся в самой гуще новой промышленной революции, но...

— Я об этом не думал, — сказал летчик, — хотя, при правильном использовании, через пару лет внутриатомная энергия наверняка изменит наше существование самым невероятным образом. Возникнут новые практические навыки, новые социальные группы, совершенно новая структура экономической жизни. Мы согреем Арктику, охладим тропики, придадим новый вид континентам, зальем водой пустыни, и у каждого появится личный ракетоплан для путешествий на значительные расстояния. В самом скором времени мы уже будем исследовать планеты. Но даже при столь грандиозных экономических изменениях мы сможем обойтись без великих потрясений, если...

— ... если социальная дисциплина будет поддерживаться на должном уровне, — закончил за него собеседник.

— О, конечно же будет. Это не проблема. Сегодня опасность заключается скорее в том, что крайне удачная всемирная идеология столь беспощадно подавляет наш разум, что вскоре мы растеряем всю силу *радикальной* самобытности, самобытности, не входящей в общую систему культуры. Если это случится, мы окажемся не в состоянии справляться с обстоятельствами, которые требуют *радикальных* инноваций. Внутриатомная энергия вполне может оказаться среди этих обстоятельств. Новые достижения психологии обучения безусловно входят в их число. В ваши дни требова-

лись дисциплина и единство, тогда как сегодня — разнообразие, оригинальность и полное выражение. Тогда было жизненно необходимо научить людей чувствовать общность и жить ею, отказываться от всего ради борьбы за нее. Но это сражение было выиграно. Теперь мы должны поощрять индивидуальность, помогать ей развиваться, раскрываться, проявляться в как можно большем количестве новых форм. Наши руководители, похоже, не осознают, насколько это важно. Их мышление осталось на уровне старого полупервобытного до-революционного человека.

— Я и сам такой, согласен, — вставил старик.

Молодой человек рассмеялся.

— Разумеется, находились и такие, которые опережали свое время. Но большинство все же были полудикарями, рассудок которых с самого их рождения искажали и деформировали невежественные, извращенные родители и учителя, враждебная экономическая среда и культура, поощрявшая своекорыстие и карьеризм.

— Выражений вы не подбираете, — хохотнул старик, — но все сказанное вами — правда.

— Дело в том, — продолжал летчик, — что люди могут гораздо сильнее отличаться друг от друга, чем человекообразные животные, и в то же время — гораздо лучше понимать и обогащать друг друга. В общем-то, практически все постреволюционные человеческие существа превосходят в этом отношении, в силу своей большей сознательности, людей дореволюционных. События дореволюционного периода многих заставляли более глубоко постигать самих себя и свой мир, и Новая образовательная политика очень сильно помогла в этом

плане молодежи. Но между нашей образовательной системой и устаревшей попыткой нашего правительства держать нас всех в узде имеется ужасное противоречие. Все это выглядит как-то глупо, ребячливо. Сегодня никто не хочет быть антисоциальным, так зачем их дисциплинировать? В прежние времена экономическая система *вынуждала* людей быть эгоистичными и антисоциальными, но система нынешняя ни к чему такому не подталкивает. Как мне представляется, сегодня своекорыстие возможно разве что в виде эгоистичного соперничества в системе социального обеспечения.

— В общем и целом — все верно, — сказал старик, — но мы должны помнить основы человеческой природы. В сущности, мы все еще заботящиеся лишь о себе и своих интересах животные, и общество вынуждено уравнивать наш закоснелый индивидуализм строжайшей дисциплиной. В конце концов, общность *подразумевает* некоторое сдерживание стремлений к безудержному самовыражению. Об этом забывать не следует.

— Да мы и не забываем, но сообщество, настоящее сообщество людей, сознающих как свои достоинства и недостатки, так и слабые и сильные стороны окружающих, *подразумевает* также и реальные различия, иначе это будет уже муравейник. И для реальных индивидов дисциплина должна самодисциплиной, не то она разрушит саму себя. И потом, Новая образовательная политика замышлялась для того, чтобы вывести новый вид человека — неизвращенного, обладающего собственной индивидуальностью и все такое. Она уже многого добилась, но когда будут усовершенствованы новые методы психосинтеза и телепатического воздействия,

зайдет еще дальше. Возможно, ее достижения будут даже большими, чем те, на которые вы сейчас рассчитываете. Возможно, ее успех вызовет необходимость новых общественных принципов, новой революции. В ваши дни, полагаю, жизненно важными вопросами были вопросы экономические, теперь же — психологические.

Наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенным урчанием самолета и звуком воздушных потоков. Далеко внизу и чуть левее серебристой змейкой струились воды Тайна. Сквозь чистую атмосферу новой, не задымленной Англии можно было рассмотреть города и доки, имевшие очертания столь же резкие, что и макет, стоящий на расстоянии вытянутой руки.

Гибкий ум старика всегда был открыт для новых идей, чем он втайне гордился, и молодой собеседник дал ему нечто такое, что заслуживало серьезного осмысления. В полном молчании старик долго обдумывал услышанное, пока самолет, плавно скользя вперед, оставлял позади одно графство за другим. Наконец он пришел к убеждению, что эти новомодные идеи на самом деле крайне опасны. Пареньку следовало указать на это.

— Вы, молодые, столь счастливы в вашем мире, — сказал он, — что, вероятно, не осознаете, насколько тонка обличовка цивилизации, как легко она снова может разрушиться, если не оберегать ее крайне ревностно и заботливо.

— Мы полагаем, что *ваше* поколение было столь несчастливо в годы вашей молодости, что вы даже пред-

ставить себе не можете, сколь многообещающие произошли изменения.

Старик тяжело вздохнул и сказал:

— Если позволите, я оживлю для вас прошлое.

— Давайте! — согласился юноша. — Те башни, что виднеются внизу, это еще только Рипон. Времени у нас предостаточно.

Старый революционер начал свою лекцию:

— Главным результатом Первой мировой войны стала новая Россия, первое за все время существования человечества государство, задуманное и регулируемое для благосостояния обычных людей. Уже одни только дисциплина и смелое планирование могли породить ту великую революцию и защитить ее от финансистов как Старого, так и Нового Света. В годы моей ранней молодости, между Первой и Второй мировыми войнами, русские терпеливо и решительно выстраивали свое новое Общество, да и в других странах люди повсеместно, пусть и слепо, цеплялись на самые разнообразные маломальские свободы — свободу покупать и продавать, свободу взбираться на плечи своих же товарищей за счет власти денег, свободу пропагандировать ложь, глупость и ненависть, свободу национальных суверенных государств от всяческих попыток установления всемирного порядка, свободу каждого отдельного человека разрушать себя, бесцельно растрачиваясь по мелочам при наличии денег и склонности к саморазрушению. Все это вы и сами знаете из исторических книг, но, возможно, вы не осознаете другого: каково это было — быть молодым в то время. Вам никогда не ощутить воздействия смертоносного мира на молодые, энергичные

умы, не испытать, каково это — остаться без работы, не оказаться посреди той вонючей, смрадной, ядовитой мглы, что проникала в наши сердца и уничтожала нашу человечность.

— Честь и хвала русским, столь блистательно разрушившим чары, и вам с вашими товарищами-революционерами, сражавшимся против этого пагубного влияния. Но... так уж вышло, что к нам обстоятельства были более благосклонны. Мы не отравлены. И поэтому...

Старик, похоже, уже и забыл о том, что намеревался лишь ознакомить своего спутника с историей, а не читать ему проповеди.

— Информация о России, — перебил он молодого пилота, — постепенно распространялась. Вместе с углубляющейся нищетой приходило все более и более твердое убеждение в том, что всего этого разброда фактически можно было избежать. По крайней мере, Россия знала, как с ним справиться. И когда в конечном счете разразилась Вторая мировая война, люди сказали, что после *этой* войны уж точно наступит новая эра. Стремление к более гуманному порядку, стремление к свету проявилось сильнее, чем когда-либо прежде.

Старик на какое-то время впал в задумчивость, из которой его вырвали слова пилота:

— Стремление к свету! Да, оно действительно усиливалось, становилось все более и более ощутимым. Ну и дальше? — Казалось, он подбадривает ребенка, не до конца рассказавшего домашнее задание.

— Что было дальше, — сказал старик, — вы знаете не хуже меня. Мы выиграли войну — и лишились мира и

спокойствия. Но о чем вы, молодежь, похоже, забыли — и в этом мне видится опасность! — так это о том, почему мы лишились мира и спокойствия. Мы лишились их потому, что во всем отказались от многообещающей дисциплины военного времени. Господи! Как сейчас помню, сколь безумные надежды мы связывали с этим миром! Что больше никогда к власти не придут бандиты! Что больше никогда миром не будут править деньги, во все внося разлад и беспорядок! Что повсюду, во всех без исключения странах, начнет применяться Атлантическая хартия! Люди действительно верили в то, что бремя старой системы можно будет сбросить так просто! К сожалению, они забыли, что все зависит от американцев, что эти бывшие первые поселенцы все еще живут в девятнадцатом веке. Американские толстокумы вполне были в состоянии поддержать наших нетвердо стоящих на ногах капиталистов-правителей и предотвратить нашу революцию.

— И однако же на первых порах, — заметил молодой человек, — американцы буквально завалили Европу продуктами и товарами, не рассчитывая на их оплату. Благородный поступок, не так ли?

— Разумеется, — согласился старик. — Но только если не принимать во внимание, что американские воротилы, крупные бизнесмены, вернувшие себе прежнее влияние после заката политики Нового курса, использовали всю мощь этих кладовых и складов для того, чтобы поставить целые толпы своих людей во главе служб, занимающихся организацией общественных работ для безработных по всей Европе. Эти «освобожденные» американцы обустроивались здесь в качестве сво-

его рода аристократии — большей частью доброжелательной, но темной, глубоко невежественной. Во имя свободы и милосердия они установили деспотизм, по своей жесткости почти сравнимый с гитлеровским!

Пилот рассмеялся.

— И вы еще утверждаете, что причина всех бед кроется в отсутствии общественной дисциплины!

— Мой дорогой мальчик, — воскликнул старый революционер, — я выступаю за согласованную дисциплину под надзором всего общества во избежание порядков, *принудительно введенных* его, этого общества, частями. Что, согласитесь, совершенно разные вещи! Да вы только представьте себе, что случилось потом: американские боссы испугались до смерти, когда побежденные немцы перешли от нацизма к коммунизму, а итальянцы и большинство прочих европейских наций последовали их примеру. Дабы во что бы то ни стало остановить коммунизм, янки пришлось использовать всю мощь, все запасы своих продуктовых хранилищ. Неистово, из всех сил они проповедовали свою драгоценную, но уже отжившую свое либеральную демократию. Индивидуальная инициатива, частное предпринимательство, свобода мысли и прочие старые слоганы звучали по всей Европе, и ни одна живая душа в них не верила. Но в них верили сами американцы, которых их боссы убедили в том, что их миссия — вести человечество в рай. Будучи божьими созданиями, они должны были исполнить свое предназначение. Старая, старая история! Конечно, многие американцы, должно быть, знали, что все это — лицемерие, но в отношении широких слоев американского общества такой подход всегда

срабатывал, так что они поддерживали своих боссов, вследствие чего работа по спасению Европы в конце концов превратилась в обычное коммерческое предприятие. Вместо того чтобы снова поднять европейскую промышленность на ноги, американские заправилы ослабили ее настолько, чтобы она оказалась уже не в состоянии конкурировать с их собственной, и они смогли взять Европу под жесткий контроль, и все — из-за коммунизма.

— Все верно, — вздохнул молодой человек, — все верно. Но к чему вы ведете? Мы все знаем, что случилось. Америка, в которой, кстати, вскоре господствовали уже не *финансисты*, а новый правящий класс квалифицированных менеджеров и специалистов, вступила в конфликт с Россией, где правил все тот же класс, уже, впрочем, изменивший свою идеологию. Между этими двумя правящими кликами разгорелось соперничество за контроль над Европой, а также над Японией и Китаем. Американские боссы стремились к всемирной торговой империи, тогда как лидеры России были решительно настроены сразу же после возмещения убытков, причиненных войной их стране, вернуться к первоначальной политике раздувания глобальной коммунистической революции. Очень скоро, конечно же, до них дошло, что американские боссы собираются контролировать всю планету, поэтому они начали потихоньку сворачивать свои колоссальные восстановительные работы, перейдя от них к перевооружению. Тем же, разумеется, занимались и американцы. Но я по-прежнему не улавливаю ход вашей мысли...

— А вы подумайте, что все это означало с точки зрения средств к существованию, — сказал старик. — Подумайте обо всех тех социальных напастях, через которые пришлось пройти нам, в Британии, главной из которых была неизбежность войны. После Второй мировой войны в Британии сначала была предпринята отчаянная попытка выработать новое социальное устройство — с безопасностью, здоровьем, образованием и досугом для каждого гражданина. Но, естественно, вскоре все это было уничтожено нашими денежными кругами при помощи их старших американских братьев. Наши финансовые магнаты энергично пропагандировали «свободу», отмену введенных на период военного времени ограничений в отношении частного предпринимательства, возврат к добрым старым временам и тому подобное. Вместо того чтобы позволить правительству реорганизовать всю нашу систему производства и облегчить условия жизни, взяв курс на бережливость и в то же время доступное для всех здравоохранение, они попросту закрыли заводы, оставив без работы миллионы трудящихся. Повсюду, в любой части страны, можно было увидеть заминированные фабрики, заброшенные шахты, улицы полуразвалившихся домов, запущенные, лежащие в руинах города. Некоторые населенные пункты совершенно опустели. Те, что еще функционировали, были населены немногочисленными одетыми в лохмотья, больными, по большей части — среднего возраста, людьми, уже ни на что не надеющимися. Некоторые мальчики и девочки, которым приходилось жить среди этого преобладания взрослых, выглядели гораздо старше своих лет, суровыми и мрачными. Мы все ощу-

щали себя не иначе как крысами, не имеющими возможности покинуть идущий ко дну корабль — как сейчас помню это тошнотворное чувство! Изо дня в день мы просыпались с осознанием того, что угодили в ловушку, так что проповедовать революцию — будь то для стариков или же для молодежи — было все равно что призывать человека, по самую шею увязшего в трясине, подняться на гору для того, чтобы полюбоваться рассветом. Система социального обеспечения распалась, свирепствовали болезни, рождаемость упала до предельно низкого уровня. Люди убивали своих детей — из жалости, а затем убивали себя. Британцы едва ли замечали распад собственной империи, так как у каждого имелись свои заботы, гораздо более серьезные. На земле царил ад, если такое вообще возможно. Всеобщее отчаяние разлагало наш моральный дух. Слишком часто надежды вспыхивали с новой силой и разбивались на части. Слишком часто земля обетованная возникала, казалось бы, совсем близко — но лишь для того, чтобы тут же исчезнуть. Стремление к свету всегда было слабым и неустойчивым, но тут оно и вовсе зачихло, словно молодое растение, над которым пронеслась слишком суровая выюга. Падал и уровень личных отношений. В своих обычных контактах друг с другом люди становились менее ответственными и более бессердечными, менее добрыми и более злопамятными. От одного только воспоминания об этом меня бросает в холодный пот ужаса.

— И что дальше? — спросил пилот с легкой улыбкой.

— Дальше? Да вы и сами знаете. Ко всему этому добавился страх ожидаемой Мировой войны. А страто-

сферные ракетопланы и ядерные бомбы сулили нечто гораздо более скверное, чем прошлая война.

— Однако же, — прервал его молодой человек, — Третьей мировой войны так и не случилось. Почему? Вы забываете кое-что крайне важное. Вы забываете, что, когда обе стороны уже объявили мобилизацию, и война могла начаться в любую минуту, произошло нечто такое, что едва ли могло произойти в любой другой период истории. Как вы помните, правительственная пропаганда войны так и не стала популярной ни с одной из сторон, и в решающий момент — опять же с обеих сторон — народ решительно выступил против войны и социального роботизма. Кто был за это ответственен? Ну как же — новые «агностические мистики», разумеется. Они начали всемирную забастовку в Америке и России. Пару десятилетий назад пацифисты уже пытались остановить войну народными протестами, но потерпели полнейшую неудачу, так как условия еще не были подходящими. Однако новой группе, в которую входили не пацифисты в узком смысле этого слова, но социальные революционеры, движимые неким религиозным мотивом, условия благоприятствовали, и потому она своего добилась. Вероятно, вы слышали эту историю: готовые умереть за новую надежду, они все побросали свои инструменты, отказавшись подчиняться приказам. Должно быть, тысячи угодили за решетку, сотни были убиты. Но вскоре правительства самых разных стран обнаружили, что к мятежу присоединились и их вооруженные силы. Затем случилась Американская революция, большие перемены произошли в России. Движущей силой протестного движения — что вам, не-

сомненно, известно — стало странное объединение летчиков, квалифицированных рабочих и... агностических мистиков. Вам едва ли знакомы эти современные святы, но именно они подняли людей на восстание и не давали ему угаснуть. Вы, конечно, помните, что где-то в глубине людских умов давно уже, многими десятилетиями, зрели перемены. Этот сдвиг, если можно так выразиться, произошел еще в годы Первой мировой войны, устойчиво прогрессировал в период между войнами, но отчетливо проявился лишь после Второй мировой войны. Нарыв назревал и прорвался у молодых бойцов, сражавшихся в этой войне, в особенности у летчиков, а также у всех угнетенных народов Европы, в оккупированных частях России и Китая, чуть позднее — и в проседающей от тяжкого бремени проблем Британии. Две очень непохожие группы, бойцы и сломленные, вновь открыли для себя силу товарищества, как русские во время из первой революции. Но на сей раз эта сила была открыта с гораздо более глубоким осознанием ее значения — столь многое произошло с момента того, предыдущего пробуждения. Она сей раз эта сила развилась в очищенное и прояснившееся *стремление к свету*, как вы сами это назвали; стремление к более гуманному образу жизни, рациональному уму, уважающему интересы всех и каждого цивилизованному обществу и творческому подходу во всех областях человеческой деятельности.

— В принципе — ничего нового, — заметил старик.

— О нет, кое-что новое там все же присутствовало, — сказал молодой летчик. — Этим новым была духовная любовь к подобному образу жизни как *абсолютное*

благо, а не просто как средство достижения социального процветания. К тому же любовь эта была в некотором роде мистической, потому что хотя эти люди и не связывали себя обещанием верить в конечную реальность, а в большинстве своем и вовсе не имели отношения ни к какой организованной религии, они с полной уверенностью *чувствовали*, что каким-то образом, который они не могли определить на уровне интеллекта, борьба за свет как раз таки и является истинным смыслом и целью всего сознательного существования. И поддерживая себя в жестком режиме подготовки к этой борьбе, они обнаружили — выражаясь их же словами — «мир, превосходящий всяческое понимание». Это почитительно агностическое, хотя и глубоко мистическое *ощущение*, разрушающее иллюзии и распространяющееся, словно огонь, от сердца к сердцу, быстро стало новой психологической установкой.

Беспокойно ерзавший на своем сиденье старик решил-таки оспорить услышанное.

— Минутку, минутку! К чему вы клоните? Это мистическое ощущение, как вы его называете, было всего лишь субъективной стороной объективного давления обстоятельств, которое и дало людям понять, что они должны сплотиться или погибнуть. Разумеется, я знаю, что ваши мистики, в большинстве своем, сделали верный выбор, встав на сторону будущих победителей, знаю, что они создали обнадеживающую, хотя и сомнительную идеологию, придали революции новый мощнейший импульс, но...

— Они играли ведущую роль в подготовке Американской революции, — сказал пилот, — что и предотвратило войну.

— О, да, — согласился старик. — И все же...

— А также инспирировали перемены в России, которые едва не привели ко второй Русской революции. Благодаря им Россия стала цитаделью нового агностико-мистического коммунизма, та самая Россия, которая была оплотом и предыдущей разновидности коммунизма.

— Постойте! — воскликнул старик. — Пусть русские и увлекались, хотя не так уж и сильно, мистицизмом, в новом мировом порядке не было практически ничего мистического. Эти десять лет революций привели к образованию отвечающей здравому смыслу всемирной федерации социалистических государств, которая никоим образом не является чем-то напыщенным или же высокопарным.

— Вы правы, — сказал молодой человек. — Дело в том, что, если новый мощнейший импульс этой мировой революции придали агностические мистики, то собственно созданием нового порядка занимались уже профессиональные революционеры. Их работа состояла в том, чтобы успешно завершить большие экономические и социальные преобразования и обеспечить безопасность установленного режима, поэтому они сосредоточились, что мне представляется вполне разумным, на самодисциплине для своих многочисленных сторонников и предписанной дисциплине для оппонентов. Но когда новый порядок был уже твердо установлен, потребовалось нечто иное, но ваши старые

воины революции, — молодой пилот улыбнулся спутнику, словно извиняясь, — этого так и не осознали. Всю мощь нового религиозного чувства, благодаря которому народ и поднялся на революцию, вы использовали лишь на словах. Для вас оно являлось лишь ободряющей порцией рома, придающей простым людям хмельной смелости. Вы не смогли понять, что то было реальное, истинное пробуждение, которое должно было породить глубокие и продолжительные изменения образа жизни всего человечества, а вместе с ними — и трансформацию и всего характера вашего нового мирового порядка.

— Да нет, почему же? Мы это поняли, — сказал старик, — и мы увидели в нем как хорошее, так и опасное. Оно напоминало первую умеренную дозу двух древних социальных ядов, индивидуализма и суеверия. Возьмем, к примеру, излюбленное словечко ваших друзей — «инструмент». Они не говорят, что индивид — это «инструмент» общественного прогресса; нет, им этого мало. Они говорят, что индивиды, вся человеческая раса в целом, являются «инструментами» для соответствия «духу». Это чистое суеверие.

— Говоря, что человечество — это инструмент, — ответил пилот, — мы говорим нечто такое, что ваше поколение почти неизбежно гонит от себя, отбрасывает, полагая лицемерием. И, конечно же, мы не можем доказать это на уровне интеллекта. Но интеллект не может это и опровергнуть. Фактически, это и не нуждается в доказательствах. Это ясно как день, как дважды два четыре. И раннему агностическому мистицизму, поглотившему вашу Новую образовательную политику, уда-

лось открыть молодежи на это глаза. Мы, — объявил юноша с улыбкой, свидетельствующей о том, что его следующую ремарку не следует воспринимать как помпезную или оскорбительную, — сейчас являемся первым полноценным, неущербным, образно выражаясь, поколением и первым поколением, обладающим даром предвидения. Это, конечно, не наша заслуга, а стариков; но такие уж мы есть, и именно такими нас и следует воспринимать, а не пытаться навязать нам тривиальную дисциплину, которая была уместна в эпоху социальной незащищенности, но давно уже устарела.

Оба какое-то время молчали. Старик смотрел, как под самолетом пробегают, разворачиваясь перед ними и свертываясь после них, словно большая карта, зеленые луга. С этой высоты Англия выглядела почти такой же, какой была в годы его молодости, но как же изменились англичане, особенно новая молодежь!..

Вскоре, вспомнив о своем первоначальном намерении, он попросил спутника:

— Расскажите мне о себе. Помогите понять, что же вы за сверхлюди такие — нынешняя молодежь!

Пилот рассмеялся. После небольшой паузы он сказал:

— Ну, мне двадцать три года, я профессиональный летчик, студент университета. Изучаю биологию. Моя специальность — полеты птиц и насекомых. Я производу телекино съемку птиц в полете и микрокино съемку насекомых. Но вообще-то меня уже начинает все больше и больше интересоваться психология, и когда я стану слишком старым для первоклассных полетов, возможно, вполне сгложусь и для какой-нибудь психоло-

гической работы. Если же нет, стану обучать летчиков. Полтора года назад я женился. Моя жена, конечно же, фактически сверхдевушка. Ей тогда было двадцать, а сейчас мы уже ждем ребенка. Она учится в Лондонском педагогическом колледже, но вот-вот переберется в их родильный дом. После родов она вернется к занятиям и педагогической деятельности — будет работать сначала на половину, а затем — на три четверти ставки. Колледж располагает своими собственными яслями и детским садом, так что помощь ей обеспечена. У нас квартира в пяти минутах ходьбы оттуда.

— Довольно-таки ранний брак, не так ли? — заметил старик.

— Не для нашего времени. И не только потому, что страна нуждается в детях, но и с индивидуальной точки зрения. Мы отдаем себе отчет в том, что без опыта продолжительного партнерства сегодня невозможно жить полноценной жизнью. Хороший брак — это микрокосм всего коллективного опыта. Конечно, если он потерпит неудачу, мы сможем расторгнуть его, признав ошибку; но неудачи он не потерпит. Разумеется, на первом месте у нас стоят другие дела, а со временем появятся и новые. Но мы на самом деле принадлежим друг другу нераздельно, поэтому решили узаконить эти отношения. К тому же мы хотим, чтобы наши дети знали: мы с самого начала были друг в друге уверены.

А моногамия-то восстанавливается, подумал старик. Странно! Единственный снобизм типичного современного молодого ума заключался в снобизме счастливых молодоженов, уже ставших родителями. Но быть уверенным друг в друге в двадцать с небольшим лет! Рис-

кованное начинание, ничего не скажешь. И однако же... возможно, Новая образовательная политика, с ее мелочной заботой об эмоциональном развитии и новыми методами психосинтеза, действительно произвела более глубоко знающий себя и других и устойчивый в душевном отношении тип. Новая молодежь, похоже, и впрямь обладала внутренней стабильностью и гармонией, которых так недоставало молодым в его собственные ранние дни. Моногамия, когда она работает, несомненно, придает обоим партнерам нечто необычайно ценное, нечто уравнивающее и укрепляющее. Мысленно он обратился к прошлому, вспоминая приятные, но мучительные и эфемерные моменты собственной жизни. Как поверхностно он и дорогие его сердцу люди знали друг друга! Припомнил он и свой поздний, отчаянный, бездетный брак и бурное расставание.

Самолет пролетал уже над окраинами Лондона, и внимание старика привлекло впечатляющее зрелище гигантского города, расширяющегося под ним и простирающегося во всех направлениях, чтобы постепенно раствориться затем в летней дымке. Ни малейшего дыма не наблюдалось. Каждое из видневшихся внизу зданий отчетливо вырисовывалось в лучах утреннего солнца, словно аккуратный кристаллик среди тысяч ему подобных. Все это единое целое, походившее на кристаллизированный и покрывшийся зеленой плесенью большой лоскутный ковер, в действительности состояло из множества парков, садов и длинных рядов деревьев, тянувшихся вдоль новых широких бульваров. Темза казалась яркой лентой, позаимствовавшей цвет у

голубого неба. Пока самолет описывал круг, мало-помалу снижаясь, старик подмечал знакомые местные ориентиры: башню нового здания парламента (бывшие строения были разрушены в ходе волнений), древний купол собора святого Павла, громаду строений университетского колледжа. Теперь он мог различать даже машины, движущиеся по улицам. Лодки на Темзе выглядели маленькими плавунцами. Башни и шпили резко устремились вверх, когда аэроплан опустился до уровня флюгеров. Выпустив вперед лопасти винта, он покружил там и сям, словно выбирающая цветок пчелка, пока пилот выискивал подходящую посадочную площадку, после чего приземлился в специально выделенном для стоянки самолетов и уже битком набитом небольшом парке, по-прежнему называвшемся Лестерсквер.

Так как немного времени до того момента, когда ему надлежало занять свое место среди Отцов революции, старик пробился сквозь оживленную толпу к набережной и своему любимому кафе. Во все свои редкие визиты в Лондон он поражался контрасту между современными, имеющими здоровый и свежий вид лондонцами, столь хорошо, хотя и просто одетыми, и лондонцами времен его молодости, внешний облик которых варьировался от откровенной убогости через патетическое и неудачное имитирование элегантности до вульгарной претенциозности. Теперь же даже в Ист-Энде убогость не проявлялась ни в домах, ни в одеждах. Исчезли трущобы и их обитатели. Легкий, едва уловимый контраст ощущался и между лондонцами прежними и нынешними. В сравнении с этими весьма самоуверенными и

приветливыми лицами, комбинированный портрет бывших людских масс, воскрешаемый его памятью, выражал измученную, озабоченную, скрытую, иногда даже озлобленную раздражительность, в которой лишь на мгновения вспыхивало врожденное дружелюбие.

Он пересек широкую лужайку, примыкающую к Темзе, и оказался у своего кафе, прикутившегося у самой кромки воды. Оно стояло почти на том же месте, где когда-то, давным-давно, возвышалась Игла Клеопатры, теперь возвращенная на родину. Здесь он, опять же — давным-давно, будучи безработным юнцом, плевался в Темзу, одержимый презрением и яростью ко всей вселенный. Теперь, зайдя в яркое небольшое строение и опустив монетки в соответствующие отверстия автоматов, он получил кофе и кексы, после чего вышел с подносом на террасу через выходящие на реку двери. Практически единственным, что связывало его с прошлым, был купол собора святого Павла, находившегося довольно-таки далеко вниз по течению реки, но отчетливо различного и выглядевшего серебристо-серым в условиях чистой атмосферы. Конечно, был еще мост Ватерлоо, открытый как раз таки в годы его молодости и, несомненно, являвшийся тогда предвестником нового порядка. Южный берег, раскинувшийся по ту сторону стороны почти прозрачной реки, с ее бездымными буксирами и вереница барж, прогулочными лодками и длинными обтекаемыми общественными пассажирскими судами, изменился значительно. Там, где некогда располагалось беспорядочное скопление ветхих домов, сильно поврежденных войной, теперь стояло относительно строгое строение из стекла и бетона — офис

специальных представителей Всемирной федерации в Британии. Над зданием развевался большой флаг, демонстрируя белую сферу на светло-голубом фоне — почти уже легендарную эмблему лояльности человеку. Она давно уже стала фокальным символом того страстного увлечения гуманностью, которое, после стольких десятилетий трагедий и героизма, наконец поднялось в неудержимом потоке и основало Новый мир. Чуть выше по течению, там, где когда-то находился железнодорожный мост, ведущий к вокзалу Чаринг-Кросс, старик увидел — и с пару минут просто им любовался — большой новый автомобильный мост, перекрывавший реку единой лучковой арку, сооружение которой стало возможным лишь с появлением новых синтетических металлов. За мостом он разглядел уже попадавшуюся ему сегодня на глаза башню нового здания парламента.

Старый революционер имел все основания гордиться этим новым Лондоном, так как он тоже внес свой скромный, но полезный вклад в то, чтобы город стал таким, каким он сейчас являлся. Ему нравились не только новые широкие бульвары с их современными строениями, но и старые георгианские скверы. Новые архитектурные сооружения, по его ощущениям, смешались в монолитное единство с постройками былых времен, символическое единство новой жизни английского народа. И все же, пусть и немного нелогично, его одолевала тоска по старому задымленному, классовому, склонному к снобизму, филистерскому Лондону, Лондону, в котором, в конечном счете, юноши вставляли на путь возмужанию без всех этих современных изнеженностей. Но пора было двигаться. После непродолжи-

тельной, уложившейся в несколько минут, прогулки он занял зарезервированное за ним место в первом ряду установленной на новой лондонской Грейт-сквер трибуны, куда для завершающей церемонии должны были подтянуться участники процессии. Он поудобнее устроился среди других старых реликвий легендарного периода, ощущая себя одновременно и почетным гостем, и своего рода выставочным экспонатом. Духовые инструменты возвестили о приближении процессии. Вскоре первая национальная колонна появилась на Грейт-сквер, обошла площадь кругом и встала на предназначенное ей место. Как и предполагал старик, то оказались китайцы, возглавившие шествие на правах старейшей мировой цивилизации. Колонна за колонной, на площадь появлялись представители всех наций.

Как обычно, каждый из национальных контингентов нес свой национальный флаг. И зачем только, подумал старик, люди продолжают цепляться за эти глупые и довольно-таки опасные местные эмблемы? Тем не менее каждая нация выставила, и на почетном месте, рядом со своим собственным флагом, простое знамя Всемирной федерации. Некоторые из участников марша были одеты в их сельскохозяйственную, промышленную или иную профессиональную униформу. Этих униформ в мире, конечно же, стало значительно больше после того, как стремление к социальной сплоченности заняло подобающее ему место в умах людей, и во время тревожного периода реорганизации мирового порядка необходимость экономии лишь усилила эту тенденцию. Но сегодняшняя процессия включала множество демонстрантов в диверсифицированных и сти-

лизированных индивидуальных костюмах. Как всегда, национальные колонны принесли с собой инструменты или продукты своих наиболее характерных национальных сфер деятельности. Связанные в снопы хлеба, корзины фруктов, рулоны ярких тканей и шелков, научные и оптические приборы, глянцевитое электрооборудование, модели кораблей и самолетов несли на плечах либо везли на тракторах, которые сами по себе являлись экспонатами. Некоторые народы умышленно больше делали на культуру больший упор, нежели на промышленность, в частности немцы, гордо демонстрировавшие свои книги, музыкальные инструменты, картины, скульптурные композиции.

Согласно договоренности все народы должны были быть представлены в определенной, хотя и приблизительной, пропорции к их нынешней численности населения, вследствие чего среди демонстрантов преобладали смуглые, «желтые» или черные лица. Но колонны Северной Америки, Северной Европы и Европейской России наглядно показывали, что белокурый тип по-прежнему является важным фактором в человеческом сообществе.

В конце длинной процессии шли небольшие колонны трех народов-хозяев данного мероприятия — английского, шотландского и валлийского. Бурный восторг и неподдельное ликование у зрителей вызвал тот факт, что во главе каждой из этих небольших групп шагала шеренга молодых мам с грудными младенцами на руках. Позади них маршировали три шеренги детей постарше, затем няни и работники служб опеки и попечительства, за которыми следовали учителя в сером тви-

де, ставшем униформой всех вовлеченных в процесс образования и теперь являвшемся самой почитаемой одеждой на Острове. Потом шли Юные пионеры, мальчики и девочки, экипированные для уборки урожая, земляных работ, посадок леса и тому подобного. За ними шествовали представители университетов и технических колледжей и, наконец, всегдашние шеренги характерных для Острова промышленности и сельского хозяйства. Предоставив материнству и образованию почетное место в своих колоннах, британские народы продемонстрировали всему мир тот факт, что они успешно препятствуют убыли своего населения, и что вся их экономика сознательно направлена на создание образцовых будущих граждан.

Все это было восхитительно. Но не обошлась церемония и без новшества — новшества, которое (пусть оно и удостоилось аплодисментов и восторженных возгласов зрителей) возмутило старика до глубины души. Согласно официальной программе это нововведение было придумано группой молодых французских писателей и артистов; и власти, после внимательного изучения, утвердили его как «символ нового поиска индивидуальности, начавшегося во всех частях земного шара». Социальная гармония, утверждала программа, уже установлена, так что человечество может немного ослабить свою дисциплину и посмеяться над своими, с таким трудом завоеванными триумфами, не принижая, однако же, героического самопожертвования основателей Нового Мира и не подрывая лояльности его нынешних сторонников. В программе ничего не говорилось об острейшем конфликте мнений, который предшествовал

официальному утверждению нововведения, конфликте, приведшем к добровольной отставке целого ряда высокопоставленных персон.

Дерзкая инновация заключалась в следующем. Некоторые национальные колонны сопровождали два или три не прикрепленных к ним индивида, задачей которых было дурачиться и так и сяк рядом с демонстрантами и даже в их рядах. Большинство колонн обошлись без этих странных сопровождающих; но помимо французов, тщательно все продумавших и исполнивших задуманное с присущей им изысканностью, это нововведение согласились принять и кое-какие другие нации, вместе являвшие собой довольно-таки странную компанию. Русские, с их склонностью к самокритике и балетным талантом, китайцы с их юмором, ирландцы, приветствующие любую возможность проявить непочтительность по отношению к власти, и англичане, чья презентация была скорее веселой, нежели тонкой, — только эти народы обнаружили в себе достаточно любопытства и силы духа, чтобы подставить себя под беспощадный огонь самокритики.

Все эти комедианты были одеты в стилизованную и экстравагантную версию какого-нибудь наряда, известного на их родине. Все, что совершенно очевидно, намеревались изобразить распущенную индивидуальность обычного человека. В своем поведении они сочетали жесты и мимику ставшего уже почти легендарным киноактера Чаплина с отличительными признаками привилегированных средневековых шутов. Порой они просто семенили, восторженно и нелепо, рядом с колонной, забегая то с одной ее стороны, то с другой,

тщетно пытаюсь соответствовать жестко регламентированному поведению своих товарищей; порой, словно разрываясь между чарами группы и личным влечением, они вдруг выделявали неудачный антраша, а затем сконфуженно снова переходили на шаг, пытаюсь с превеличенно восторженным видом подстроиться под общий ритм. Иногда они останавливались, чтобы пошутить с отдельными зрителями, а затем с отобразившимися на лице волнением и раскаянием поспешить вернуться на свое место. Время от времени один из них пристраивался к руководителю колонны, имитируя его полную важности осанку и военную поступь. Судя по всему, эти клоуны прошли тщательный отбор и были высококвалифицированными артистами, так как они ухитрялись подметить даже мельчайшие машинальные, назойливые или заносчивые маньеризмы предводителей и спародировать их в уничтожающем, но в то же время доброжелательном стиле. То было отчасти легкое, но иногда и сокрушительное имитирование, с которым дети зачастую воздают должное старикам, и отчасти — дружеское осмеяние, с которым взрослые могут померить кипучий энтузиазм молодых. И таков был их артистизм, что, несмотря на критику отдельных лидеров и всеобщее исступление, никому даже и в голову не пришло усомниться в полном принятии ими духа всего праздника.

Своей поразительной кульминации это дерзкое нововведение достигло во время завершающей церемонии, которая проходила также на Грейт-сквер. Как обычно, последние из национальных колонн поприветствовали высоких официальных лиц и проследовали на отведен-

ное им на площади место. Знаменосцы в надлежащем порядке вынесли флаги всех наций на свободное место перед помостом, и все вместе поклонились до земли перед великим «Штандартом человечества», затем встали по стойке смирно в ожидании окончания церемонии. Один за другим главы наций поднимались на помост, отвешивали глубокий поклон президенту Мира и протягивали ему книгу, в которой были перечислены достижения каждого отдельного народа за прошедший год. Затем последовали обычные радиообращения высокопоставленных чиновников, завершившиеся речью президента Мира, в которой тот подробно разобрал современное положение дел в обществе и состояние человеческого рода в целом.

Происходящее на помосте, как и вся процессия, естественно, транслировалось по телевидению. Но завершающую церемонию решено было показать крупным планом, чтобы весь мир смог рассмотреть ее в подробностях. На этот самый момент, когда взоры всего человечества были устремлены на поднимавшихся на помост мировых лидеров, и пришлось самое дерзкое из нововведений этого празднества. Среди великих мира сего каким-то образом затесался один из придворных гаеров, принц шутов, облаченный в одежды, символизирующие Обывателя. Этот индивид был в совершенно ином гриме, нежели его более скромные коллеги по ремеслу; и несмотря на искрометный юмор, во всем его перформансе чувствовалось нечто печальное, жалостное и заторможенное. По большей части он просто стоял, глядя на приветствующих зрителей представителей наций или слушая их выступления, но время от време-

ни начинал расхаживать взад и вперед по помосту, поигрывая шутовским скипетром, к которым был привязан воздушный шарик с весьма приблизительно нанесенными на него контурами континентов. Иногда же, слушая речь, он, молча и украдкой, с отсутствующим видом, принимался имитировать жесты оратора или отходил в сторону, чтобы спародировать какого-нибудь аплодирующего сановника. Так, посредством своей деликатной и мимолетной мимики, он раскрывал уязвимые места тех политических звезд, среди которых находился. Почти все они с честью выходили из данного испытания, порой даже любезно подыгрывая шуту, но когда кому-то, после его очередного колкого выпада, не удавалось скрыть свое чувство обиды, Шут, замечая это, тотчас же переставал дурачиться и, вскинув брови, отворачивался.

Очевидно, именно это самое удивительное новшество и действовало расслабляюще на толпу, тем более что у большинства зрителей имелись с собой карманные телевизоры, на экранах которых они могли видеть детали этих небольших драм столь же отчетливо, как и старик со своей привилегированной позиции среди Отцов революции. Он тоже реагировал на артистизм Шута, но с чувством вины, словно наслаждался чем-то тайным и непристойным. Такое потворство индивидуальному таланту — пусть оно и было восхитительным — должно было не только неизбежно подорвать авторитет тех, кого Шут высмеивал, но и привести к всеобщему ослаблению социальной фибры. Можно, конечно, было бы сказать, что только сильное правительство способно позволить себе подвергнуться подобной критике. Лишь

умное правительство, и такое, которое может рассчитывать на лояльность умного и довольного населения, могло бы увидеть в случившемся источник силы, а не слабости. Более того, лишь такое правительство, которое почувствовало изменившееся настроение народов мира и пожелало определить уровень их поддержки, озаботилось бы тем, чтобы подставиться под этот невероятно эстетический комментарий. По здравому размышлению, старик вынужден был признать силу этих аргументов, но новшество попирало эмоциональную привычку того, чей рассудок сформировался в более примитивную эпоху.

Трагическому инциденту еще предстояло произойти. Он был из тех, которые показывают, за счет своей очевидной власти над собравшейся толпой, всю ту необычайную перемену, что случилась с человечеством за последние десятилетия. Раньше население ни за что бы не поняло, и уж тем более не прониклось бы им, этого имеющего столь суровое значение символа. Президент Мира подходил к кульминационной точке своей речи. Он пространно рассуждал о неслыханном улучшении жизненного уровня обычных людей во всех землях и восхвалял достижения перспективы человечества при этом новом режиме. Его, конечно, часто прерывали аплодисменты. После самой громкой из этих вспышек, и в тот самый момент, когда установилась тишина, и президент уже собирался продолжить, Шут выступил вперед, положил руку ему на плечо и мягко оттеснил оратора от микрофона. Что самое поразительное, президент, неловко улыбнувшись, уступил ему место. И никто не посмел вмешаться.

Придвинувшись к микрофону, Шут обратился к миру.

— Счастливые, счастливые существа! — сказал он, и все впервые слышали его тихий голос. — Счастливые, счастливые существа! Но смерть ходит за вами по пятам. Завоеватели мира, но песчинки среди звезд! Мы лишь искры, что вспыхивают и угасают. Если даже как вид мы и выдвинулись, произойдя столь недавно от зверей и рыб, то вскоре все равно исчезнем. После нас наша планета будем вращаться миллиарды лет, и ничто не вспомнит о нас? Тогда зачем, зачем, зачем мы здесь?

Он умолк. Над всей Грейт-сквер пронесся звук, с каким ветерок проносится над полем созревшей кукурузы. То вздохнула толпа. С минуту-другую царили тишина и неподвижность, нарушаемые лишь легким шелестом флагов и шумом хлопающих крыльев парочки голубей, опустившихся на площадь.

Затем наконец Шут заговорил снова.

— Звезды не дают ответа. Но ответ лежит внутри нас, в каждом из нас по отдельности и в нашей общности в целом; так как в нашем человеческом сознании мы видим глубже, чем через телескопы и микроскопы. И из глубин каждого из нас, и из нашего сообщества в целом, возникает стремление; каким образом, мы не знаем, но стремление неумолимое. «Живите! Живите в полную силу!» — просит оно нас. — «Знать, любить, делать — вот музыка, которую я предписываю всем моим инструментам. Пусть на ваши песчинки прольется животительный поток этой музыки, гармоничной по природе своей и гармонирующей с песней всех сфер, которую лишь я один могу слышать». — Вот что приказывает оживающее внутри нас стремление. И мы, маленькие

человеческие инструменты, пусть смерть и настигнет нас неизбежно, и пусть наш вид эфемерен, мы должны подчиниться. Слабы мы, и слепы, но Невиданное наполняет нас музыкой.

И снова тишина заполнила Грейт-сквер, еще более продолжительная. Шеренги колонн и окружающие их зрители стояли неподвижно, удерживаемые Невиданным. Наконец Шут, понутив голову, исчез из виду, и президент, после некоторого замешательства, вернулся к микрофону и сказал:

— Наше празднование обнаружило неожиданную, но подходящую кульминацию. Я больше ничего не скажу, но ваши лидеры, которые также являются и вашими товарищами, поведут вас вперед, чтобы всегда звучала эта музыка, которая и есть человек.

Когда Президент сошел со сцены и удалился, толпа зароптала и вскоре потонула в океаническом громе аплодисментов. Когда наконец шум стих, многочисленные музыканты ударили по знакомым струнам, заиграв всемирный гимн, «Песнь человека», в то время как все собравшиеся встали по стойке смирно, приготовившись петь. Затем колонны, одна за другой, пришли в движение, развернулись и плавно вытекли с площади, а огромное сборище зевак рассеялось.

В глубокой рассеянности и замешательстве старик пробирался сквозь толпу по запруженным улицам, размышляя о странной сцене, которой только что стал свидетелем. К своему стыду он обнаружил, что по щекам его бегут слезы. О да, то был настоящий триумф драматического мастерства. Такая игра не могла не растрогать... Но она была опасна для духа Революции, и

изысканно вероломна. Президент Мира, человек, несомненно, слишком молодой для столь ответственной должности, должно быть, заранее знал о планируемом вмешательстве. Весь этот хитрый фокус был проделан лишь для повышения его популярности. Хуже того: это было возвращение к религии, доза того древнего опия, проницательно назначенная новыми правителями. Как знать, чем это все закончится? Но в глазах его стояли слезы.

История Джона

Начальная версия фантазии Стэплдона о расе «сверхлюдей» появляется в виде одиннадцатистраничной главы (в окончательной вариант романа, однако же, не вошедшей) в рукописи «Последних людей в Лондоне». В этой книге рассказчик с планеты Нептун отмечал присутствие среди «первых людей» современной эры неких физически странных, но чрезвычайно развитых психически существ, многие из которых содержались в психиатрических клиниках. Среди этих предшественников «*homo superior*» рассказчик особо выделяет одного (в 1935 году Стэплдон сделает его центральным персонажем своего рассказа «Странный Джон») и в общих чертах обрисовывает его историю жизни. Несмотря на то, что в ходе переделывания отдельной главы в законченный рассказ были добавлены многие детали, в «Истории Джона» сохраняется основной посыл романа: фантазию о биологической мутации вполне можно расценивать как сатирическую притчу о политике и нравственности.

За несколько лет до войны в Англии родился ребенок, уже самой природой наделенный выдающимися умственными способностями, восхитительной различительной способностью зрения и ловкостью рук, а также великолепными физическими данными. К тому же ему

посчастливилось иметь эрудированных родителей, уже имевших опыт воспитания двух старших детей.

Жизненный путь этого младенца, которого я буду называть Джоном, заслуживает того, чтобы быть описанным в деталях, но здесь я коснусь лишь основных его, этого пути, особенностей. Джон быстро раскрыл пораженным родителям свой незаурядный потенциал, так как в его случае медленное развитие физического облика сочеталось с удивительной психической скороспелостью. Рассматривая его младенчество, я нахожу, что эта скороспелость фактически была обусловлена не скоростью развития, но необычайно большим размером его медленно созревающего мозга. Еще даже не научившись ходить, он уже ползал по лужайке, самостоятельно изучая биологию маргариток, червячков и жучков. Пребывая все в том же ясельном возрасте, он задавал философские вопросы и смеялся над глупыми ответами тех, кто пытались ему помочь. В восемь лет, когда он походил скорее на пятилетнего ребенка с большой головой, он отличался жизнерадостностью, веселостью и озорством тринадцатилетнего школьника, уже начиная интересоваться тем, что могло бы увлечь молодого человека разве что лет двадцати пяти, а то и постарше. Ни в одну из школ его устроить не удалось, так что родителям приходилось обучать сына дома. Точнее даже будет сказать, обучался он сам, так как очень быстро проявил негибкую решимость следовать своим собственным наклонностям, используя отца и мать лишь в качестве ходячих справочников и библиографий. Им же, людям весьма искушенным в лучших идеях и взглядах современной цивилизации, хва-

тило ума помогать их третьему ребенку с покорностью и заботливостью. Его способности они благоразумно не афишировали и со всей присущей им тактичностью старались не допустить его возможных конфликтов с властями или общественным мнением. Однако по мере того как шли годы, Джон все больше и больше конфликтовал с самими родителями, так как, приобретая знания, а вместе с ними и уверенность в себе, он начал повсеместно продвигать идеи, являвшиеся совершенно невыносимыми для людей обычных, и ввязываться в авантюры самого дерзкого и предосудительного свойства.

В четырнадцать лет Джон решил, что ему предопределено сделать нечто важное, хотя что именно, он еще не знал. В любом случае, прежде всего он должен был стать независимым, в том числе и в финансовом плане. Его врожденная конституция тому определенно не благоприятствовала, но решив для себя, раз и навсегда, что он — человек уникальный, и представляющий для общества величайшую важность, он принялся преследовать личную выгоду с неумолимостью, которая шокировала бы даже самого циничного спекулянта. Описывать всю серию невероятных затей, благодаря которым этот восьмилетний с виду ребенок заработал целое состояние, я не стану — на это ушло бы слишком много времени. Эту сторону своей жизни он держал в тайне от родителей, полагавших, что во время его частых отлучек из дому, их сын невинно бродит по прилегающим холмам. Несмотря на весь его блестящий ум и поразительную проницательность, которыми он заметно выделялся на фоне ровесников, в душе он все еще оста-

вался ребенком, жаждущим, как и все мальчишки, приключений, в результате чего эта ранняя стадия его жизненного пути чем-то напоминала осовремененную и сильно преувеличенную версию истории Робина Гуда. Несколько затейливых ночных проникновений в дома богачей принесли ему кучу драгоценностей и столового серебра. С помощью мопеда он совершил с полдюжины дерзких грабежей на большой дороге. Во время одной из ночных вылазок его планы едва не сорвал телефонный звонок владельцу дома. Когда добропорядочный гражданин наткнулся в холле на Джона с его добычей, ужасный мальчуган заметил, что, так как сейчас он занят крайне важной работой и личность его не подлежит разоблачению, ему придется убить всякого, кто встанет на его пути, хотя и сожалением, после чего застрелил изумленного мужчину и растворился в ночи.

На счету Джона было уже не менее десяти громких ограблений, когда он счел это занятие слишком рискованным и переключил все свое внимание на торговлю. Дела он, конечно же, вел крайне искусно и был чрезвычайно изобретателен. Внимательно изучив всю ту домашнюю утварь, которой пользовалась мать, он изобрел целый ряд удивительно простых и полезных бытовых принадлежностей, после чего сам же их и изготовил — из дерева, металла, лозы или картона. Выправив необходимые патенты, он связался с фирмами-производителями и торговцами скобяными товарами — по почте, дабы его ребяческая внешность не породила неуместное любопытство. Некоторые из этих патентов он продал, другие сохранил за собой в надежде на будущий стабильный доход. Работал он, естественно,

вручную, но очень быстро. Как-то раз даже мать Джона прикупила в местном магазинчике парочку сыновних «творений» (естественно, не догадываясь об их происхождении), чем немало его позабавила.

Вскоре он прекратил данную практику, но продолжил получать возрастающие с каждым годом роялти с прежних изобретений. От нечего делать он написал и опубликовал несколько весьма оригинальных детективных романов, правда, уже не под тем псевдонимом, которым пользовался при заключении сделок. Эти произведения стали бестселлерами, принеся ему значительное состояние, которое он приумножил, издав в виде шуточной книги слегка подкорректированное описание собственной жизни и своей уникальной натуры. Сделал он это отчасти в надежде на то, что с ним свяжутся другие, подобные ему люди, если таковые существуют. Книга была переведена на несколько языков и в свое время действительно свела его с несколькими столь же одаренными индивидами.

В шестнадцать лет — хотя выглядел он гораздо моложе — Джон пережил духовный кризис, сопровождавшийся частыми уединенными медитациями и усердной учебой. Из этой фазы он вышел спустя полгода убежденным в том, что ему предстоит сыграть важную роль в жизни не просто одной планеты, но всей вселенной. Решительно настроенный найти новую, более здравомыслящую, более совершенную человеческую породу, отныне он во всех своих поступках руководствовался исключительно этой целью. Прежде всего нужно было выяснить, есть ли вообще в этом мире подобные ему люди. Будучи абсолютно убежденным в том, что нор-

мальный человек, настроенный как правило доброжелательно, пока все идет, как обычно, тем не менее вследствие недостатка воображения готов подвергнуть гонениям тех, кто нарушают общепринятые стандарты поведения, он постарался действовать не привлекая к себе излишнего внимания, вследствие чего не осмелился вступать в личный контакт с учеными, которые могли бы ему помочь. По почте, однако же, он навел справки о различных антропологических учреждениях — с нулевым результатом. Тогда он начал разъезжать по городам и селам Англии, выискивая столь же необычных людей, как сам. Именно так, и через свою автобиографию, он познакомился с несколькими несостоявшимися сверхлюдьми, но все они, в силу своей старости или убогости, уже не могли с пользой служить делу всей его жизни. Вскоре он нашел десятилетнего мальчика и трех девочек в возрасте от шести до двенадцати лет. Они были здоровыми и неиспорченными, и хотя дьявольской решимости Джона им явно не доставало, также, вне всякого сомнения, являлись продуктами высшей мутации. Он обсудил с ними свои, исключительной важности планы.

Немногим позднее он убедил родителей свозить его на континент — ввиду своей слишком юной внешности совершить подобное путешествие в одиночку он не мог. Объехав почти всю Европу, он обнаружил двадцать семь подходящих индивидов обоих полов в возрасте от шести до семнадцати лет. С этими он поддерживал связь на протяжении двух лет, последовательно разрабатывая с ними общую стратегию. Цель оной заключалась в том, чтобы основать крошечную колонию в ка-

кой-нибудь отдаленной части земного шара, где можно было бы избежать назойливого внимания обычных людей, которые — как это уже поняли юные искатели приключений — мало того что не стали бы в чем-либо помогать этому разумному сообществу, но и вообще бы никогда не позволили ему жить в своем мире. Это должна была быть колония тройного назначения. Первым делом, конечно, следовало изобрести независимое и гармоничное общество, основанное на тщательном изучении природы тех странных существ, коим предстояло его составить. Также было предложено создать, на основе тщательного анализа, совершенно новую культуру, которая, объединив лучшие культуры Первых Людей, могла бы подойти и незаурядному интеллекту нового человеческого рода. Наконец, в надлежащее время и после всестороннего исследования биологической природы различных членов, колония должна была породить новое поколение.

Многое предстояло сделать еще на предваряющей данное предприятие стадии. Все избранные должны были подготовиться к новой жизни. Каждому следовало стать экспертом в том или ином виде деятельности, который мог бы пригодиться в колонии, и досконально изучить лучшую культуру своего родного края. Таким образом одним пришлось стать сведущими в принципах сельского хозяйства, другим — рабочими-металлистами, архитекторами, мореплавателями. Некоторые были вынуждены приобрести все возможные знания медицины и биологии. Всем пришлось ознакомиться с трудами современных мыслителей и придать их идеям новый импульс за счет интеллекта высокораз-

витых существ. Особое внимание в этой связи наши искатели приключений уделили философской мысли Востока. Отчетливо сознавая все ошибки Запада, они предположили, что Восток, при всех его недостатках, не мог до конца растерять той способности проникновения в сущность, которой напрочь лишен человек западный. В силу вышесказанного некоторые из будущих колонистов были направлены в Индию и Китай для ознакомления с очень непохожими культурами этих стран и одновременно для поисков в восточных землях таких же одаренных индивидов. Джону и самому пришлось принять участие в этой столь важной работе. К этому времени он уже посвятил родителей во все, за исключением убийства, и рассказал им, что у него есть банковский счет и инвестиции на десятки тысяч фунтов. Озадаченные и испуганные, но в душе крайне гордые своим отпрыском, в конечном счете они согласились сыграть скромную, но эффективную роль в основании колонии. Прежде всего им пришлось «взять» сына с собой в турне по Востоку. Год спустя Джон вернулся, чрезвычайно впечатленный мудростью и безрассудством Индии, но слегка разочарованный тем, что ему так и не удалось обнаружить там столь же незаурядных, как он сам, особей. Впрочем, другого он и не ждал, учитывая все те трудности, с которыми пришлось столкнуться при поисках.

Когда Джону исполнилось двадцать, а выглядел он на четырнадцать, он спроектировал небольшое моторное судно, которое и было построено по его чертежам на одной из верфей, стоящих на реке Клайд. На этом катере он и дюжина ему подобных, как мужского, так жен-

ского пола, отправились исследовать южную часть Тихого океана. В результате продолжительных изысканий они все же наткнулись на подходящий субтропический островок, выкупили его часть у малочисленного местного населения и вернулись в Англию за оставшимися сотоварищами и необходимыми инструментами и материалами.

Наконец уникальная колония была основана. О ее ранних приключениях мне не следует здесь распространяться, хотя они и являют собой восхитительную эпопею, пронизанную отвагой и юмором, и одновременно наглядный пример относительной непринужденности, с коей любой высший интеллект способен преодолевать трудности (как практические, так и психологические), которые для обычного человека могут стать непреодолимой преградой. Здесь я вынужден ограничиться лишь следующим утверждением: после первоначального периода упорной работы небольшая колония превратилась в миниатюрную утопию, причем такую, в которой даже малейшая стагнация не представлялась возможной вследствие стремления к единой для всех всепоглощающей цели. Конечно, серьезного прогресса на пути к достижению этой цели — созданию новой человеческой расы и нового мира — можно было достичь лишь спустя множество поколений. Пока же колонистам приходилось заниматься кропотливым и изнурительным ручным трудом, постоянно призывая на помощь всю свою практическую изобретательность и деликатно налаживая личные отношения. Физически все члены данного сообщества являлись еще подростками, ментально же испытывали друг к другу жгучий

интерес — как в их телесной форме, так и в духовной индивидуальности. Пришлось разработать кодекс сексуальной нравственности, что вызвало неизбежные страдания. Больше всего поселенцев волновали такие вопросы: в каком возрасте должно начинаться размножение? Во сколько лет наступает дряхлость? Сулит ли медленное развитие долголетие? Как бы то ни было, они постановили, что каждый из колонистов должен будет уйти из жизни, когда станет тяжким бременем для колонии и для себя самого. Впрочем, в не меньшей степени этих застенчивых, хотя и не по годам развитых молодых людей возбуждала совместная работа по использованию их выдающихся умов в процессе осмысления тех культур, которые они привезли с собой из обычного общества, и разработки основ более высокой мудрости. Они поддерживали контакт с миром отчасти через радио и литературу, отчасти — через частые путешествия, но всегда под неусыпным контролем кого-нибудь из родителей или взрослых.

Очень скоро колония вошла в серьезный конфликт с внешним миром. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда рядом с островом пошло ко дну некое трамповое судно, снесенное ветром в сторону от обычных морских путей после отказа крыльчатого движителя. Пока экипаж отчаянно пытался выбраться на берег в условиях бурного моря, колонисты продумывали план действий. Если бы эти моряки спаслись и вернулись домой, они вполне могли проболтаться про кучку подростков, живущих на острове без взрослого контроля, совокупляющихся сколько душе угодно и уже рожающих детей. Второпях принятое решение было едино-

гласным: никто из судовой команды не должен выжить. Всех тех, кому удалось вскарабкаться на скалы, колонистам пришлось перестрелять.

Спустя несколько месяцев один из британских военных кораблей, инспектировавший удаленные владения Короны, с удивлением обнаружил остров, населенный не только туземцами, но и белокожими детьми странной наружности. Сначала капитан корабля предложил колонистам незамедлительно доставить их на родину, но те убедили его отплыть без них и ограничиться всего лишь докладом об увиденном. Шокированное британское правительство сумело предотвратить утечку данной информации в прессу, опасаясь скандальных публикаций о детском разврате на своей территории. В спешном порядке, с предписанием возвратить всех детей домой, к острову был направлен новый корабль. К удивлению властей судно вернулось без них. Из сбивчивых и путаных показаний капитана присутствовавшие на его перекрестном допросе сделали вывод, что лидер колонистов обладает буквально-таки гипнотическим даром убеждения.

Тем временем в самой колонии шли острые и беспокойные дебаты касательно возможных путей выхода из сложившейся ситуации. На их взгляд, их положение во многом напоминало положение первых поселенцев, очутившихся в населенных хищными животными джунглях, с той лишь разницей, что в данном случае хищники располагали ружьями и довольно-таки рудиментарной силой воображения. Словом, колонисты решили, что какая бы экспедиция ни прибыла на остров, они пока довольствуются одними лишь призывами

к ее воображению. В надлежащее время прибыл новый корабль. Ее командир не был расположен шутить с ними шутки, но допустил ошибку, когда согласился осмотреть колонии перед ее эвакуацией. Он и сопровождавшие его офицеры вернулись на судно в крайне расстроенных чувствах: этим великим детям удалось убедить их, что, исполнив полученный приказ, они совершат преступление против чего-то чрезвычайно ценного, пусть они и не представляют себе это «что-то» со всей ясностью. Нарушив приказ, капитан вывел корабль в открытое море и вернулся домой без колонистов. На родине его ждал военный трибунал, после которого он застрелился.

К несчастью для колонии, об этой небольшой проблеме британского правительства узнала русская разведка. Там сочли, что спасение молодых людей от притеснений британского империализма могло бы иметь пропагандистскую ценность, в соответствии с чем была направлена экспедиция с предложением основать колонию на одном из русских островов в северной части Тихого океана. Проведав про этот маневр, британское правительство решило действовать быстро и энергично. На остров, арестовать детей, был послан более непоколебимый, более суровый офицер. Он обнаружил в гавани торговую шхуну, а на берегу, куда он высадился во главе небольшого отряда матросов, — большевистских шпионов, пытающихся насильно увезти детей.

Джон и его спутники прекрасно понимали, что, стоит им угодить в лапы той любой из этих групп весьма заурядных субъектов, стоящих гораздо ниже их по уму и развитию, как можно будет навсегда забыть не только о

свободе, но и о разработке подходящих для их природы социального устройства и культуры, — они будут постоянно, на каждом шагу, вызывать у своих хозяев раздражение. В целом русские внушали больше надежды, нежели британцы, так как русские намеревались восстановить колонию, но та несомненно попала бы под жесткий большевистский контроль. В любом случае было ясно, что британцы их не отпустят, но поднявшись на борт британского судна, они фактически тотчас же стали бы пленниками, возможно, даже навечно. Похоже, их грандиозная авантюра подходила к концу, и теперь им оставалось только одно: рассказать миру свою историю и завершить ее столь драматичным образом, чтобы на нее невозможно было не обратить внимания. Так она соединится с познаниями обычных людей, и если, что представляется вероятным, природа когда-нибудь произведет другие высшие мутации, эти их духовные преемники извлекут пользу из их участи.

В то время как британский корабль вставал на рейд, Джон и его друзья рассказывали русским о своем предприятии, подтверждая его документами. Когда, в сопровождении матросов, явился британский капитан, Джон попытался воздействовать на него, как и на его предшественников, всей силой своего убеждения. Капитан прервал его на полуслове и приказал арестовать всю компанию, включая русских. Колонисты тут же повыхватывали пистолеты, пригрозив, что убьют себя, если к ним кто-нибудь хотя бы даже прикоснется. Двое матросов подошли к ближайшему пареньку. Тот пустил себе пулю в лоб. Матросы попятились, но капитан рывкнул на них, и они ринулись на одну из девочек, да-

бы отобрать у нее оружие, но опоздали: она вышибла себе мозги. Джон снова пустил в ход свою гипнотическую, дьявольскую силу убеждения. Капитан отдал новый приказ об аресте, но, что-то неободрительно бормоча себе под нос, матросы не решались сдвинуться с места. Тогда капитан сам сделал пару шагов в направлении Джона. Стоявшая рядом с ним девушка застрелилась. Капитан попятился, матросы уже открыто роптали, выражая протест. Вступив в переговоры с Джоном и остальными колонистами, капитан предложил им отправиться на корабль мирно, своим ходом, — никто, по его словам, не желал им вреда. Ответ Джона привел моряков в еще большее волнение. В ярости капитан выхватил автоматический пистолет, прострелил руку стоявшего рядом с ним мальчика, не позволив тем самым тому воспользоваться своим оружием, и схватил паренька. Точным выстрелом Джон снес мальчугану полчерепа. Тогда капитан решил применить новый метод. Выставив часовых у дверей строения, он вернулся на корабль и по радио связался со своим правительством, описав в закодированном сообщении текущее положение и запросив дальнейших инструкций. Ответ был следующим: живыми или мертвыми, но доставьте детей обратно.

По возвращении на берег с другой группой матросов, более бесчувственных, он с удивлением обнаружил, что один из часовых отошел в сторону, позволив детям сбежать. Он поспешно поймал со своими новыми моряками. Какого же было его изумление, когда бывшие часовые, наплевав на дисциплину, окружили его, вступившись за детей! Он приказал заключить их под стра-

жу. Что до этих странных подростков, то удерживать их в заключении представлялось уже практически невыполнимой задачей. После некоторых колебаний он решил положить конец всей этой скандальной истории. Заявив детям, что у него имеется приказ: вернуть их любой ценой, живыми или мертвыми, он снова распорядился арестовать их. Повторилась недавняя драма. Когда еще семеро подростков застрелились, включая молодую маму, убившую одним выстрелом себя и своего еще не родившегося ребенка, среди матросов (выбранных за их бесчувственность) поднялся недовольный ропот. Теперь уже и капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он не смог придумать ничего другого, как увести всех своих солдат на корабль вместе с арестованными русскими «шпионами». Забрав стоявшие на причале шхуну и моторную яхту, он объяснил по радио правительству, что не может исполнить полученные указания вследствие мятежных настроений команды, и вышел в море.

Похоронив своих мертвых, колония вернулась к обычной жизни, прекрасно осознавая, что добытые столь дорогой ценой победы не могут отстрочить конец навсегда.

Между тем изумленным британским властям не терпелось уничтожить колонию до того, как Россия раздобудет конкретные доказательства скандала. Легкий намек нужным людям — и к острову, «для торговли», подошел один пользовавшийся дурной славой пароход. Вскоре, однако, выяснилось, что отнюдь не торговля является его истинной целью: к берегу с него причалили несколько шлюпок с бандитами и убийцами всех рас

и национальностей, судя по внешнему виду. На сей раз колонистам пришлось применить оружие не против себя самих, но против захватчиков — с тем эффектом, что последние вынуждены были погрузиться обратно в шлюпки и выйти в море.

Последовал месяц передышки, во время которой заметно сократившейся колонии удалось укомплектовать радиопередающую станцию и начать рассказывать по радио свою историю. К несчастью, история эта оказалась столь невероятной, что те немногие, кто ее услышали, сочли ее дурной шуткой. Уже на вторые сутки трансляции власти позаботились о том, чтобы весь этот фантастический вздор был заглушен другими станциями.

Наконец к острову подошел более крупный корабль, и куча вооруженных пулеметами головорезов высадилась на берег. Джон и его друзья отступили в небольшую, ими же и построенную крепость, откуда за счет своего скудного боезапаса на протяжении трех дней отбивали атаки противника. Но в конечном счете, когда у каждого их выживших осталось всего по одному патрону, они застрелились.

Так, как и во всех прочих случаях биологической истории, более развитый вид не устоял перед более приспособленным к выживанию в условиях современной ему среды.

Суть

Одно из наиболее лиричных автобиографических эссе Стэплдона объединяет воспоминания и предвидения в то философской, то страстной фантазии об идентичности, времени, любви и судьбе. Написанное Стэплдоном незадолго до его шестидесятилетия, «Суть» выдает страх перед старостью и дряхлостью, отходя от творчески неприемлемого обаяния желаемого личного бессмертия. В отчаянной борьбе за прямоту и честность, глубоко неуверенный в самом себе, автор вторит призыву шекспировского короля Лира: «Кто может рассказать мне, кем я стал?» Отмечая различия между собой и женой («ты» во второй половине «Суты»), Стэплдон развивает в микрокосме собственного брака свою любимую тему «личности-в-обществе» и одну из своих излюбленных метафор: симбиоз. Слегка исправленная часть «Суты», впервые напечатанного в 1945 год в некой малоизвестной газете, годом позже вошла в качестве одной из «интермедий» в роман «Из смерти в жизнь».

Я! Я! Я!

Но какой он, этот «я», на самом деле?

В мимолетный миг со мной случается нечто, но лишь на мгновение. Со мной, со мной, со мной! Но какой он

— я? Мои пальцы поигрывают карандашом. Я поймал их на этом. Теперь они остановились, словно виноватые школьники. Я ли это играл, или же только мои пальцы? В данный момент меня мучает головная боль, моя собственная, так как никто не может разделить ее со мной. Мне хочется пройтись по холмам, но вместо этого я должен ехать в город. Я хочу то одного, то другого, и я делаю то одно, то другое, но какой он — я?

Одни говорят, что я — всего лишь пожизненная непрерывная цепь всего того, что случается со мной, и что делаю я сам; последовательный ряд динамических изображений, пробегающих по киноэкрану, каждое из которых состоит из тысячи статичных картинок, хотя медленный взгляд зрителя и смешивает все это в движение и жизнь. Но какой он — этот я, для которого данные смешение и движение и происходят? Являюсь ли я всего лишь экраном, всего лишь отдельным человеческим телом, с поросшей волосами головой и вздернутым носом? Странно, что тело способно улавливать мгновение и распознавать пролетающую птицу, развевающийся флаг, взрывающуюся бомбу!

Другие утверждают, что я — продолжительный (и несомненно — вечный) дух, обитающий в этом теле. По их словам, именно потому, что я — дух, именно потому, что я не являюсь продуктом времени, я и способен удерживать прошлое и настоящее вместе, ощущая движение и изменение, сохраняя в пределах моего исчезновения все мои прошлые «теперь», навсегда минувшее настоящее. Дым от моей сигареты плавно, чуть колышась, устремляется вверх, потом распускается в

сплетенные струи клуба. Все это я волшебным образом удерживаю внутри моего «сейчас».

Но как же сам я, мое подлинное «я»? Могу ли я быть уверенным, что я есть нечто большее, нежели небольшой дымок сознания, тянущийся за не совсем еще угасшим телом? Когда огонь потухнет, не станет ли это моим концом?

Но как-то же я отсчитываю дни, измеряю года! Вчерашние голоса, вчерашние приветствия и споры теперь эхом отдаются в моей памяти. Если вернуться назад, отойти от разрывов бомб нашей нынешней войны, то я помню разрывы снарядов другой войны, теперь уже ставшей частью истории. Возвращаясь в еще более отдаленное прошлое, я вспоминаю, как был школьником в Итоне, с заляпанным чернилами отложным крахмальным воротничком и страстно увлекавшимся коллекционированием различных моделей кораблей. Стал ли бы, сегодняшний я, носить этот воротник, увлекаться коллекционированием? Безусловно, то был совсем другой человек, чьи впечатления я так или иначе унаследовал, словно старый фотоальбом, полный невероятных дядюшек, тетюшек, дедушек, бабушек и прочих прародителей, выраженных так, будто их фотографировали на каком-то маскараде. Я сегодняшний страсти к судомоделизму не питаю; меня интересует философия, люди и прочие высокие проблемы. И тем не менее даже теперь, уже совсем седой, когда я вижу, как мальчишки управляют своими изящными или безвкусными судами в парковом озере, я всегда останавливаюсь, чтобы понаблюдать за ними. Тот ребенок все еще живет во мне; я был и остаюсь тем ребенком. Да, и даже еще

большим ребенком. Я, и никто другой, будучи совсем еще малышом, оставил мокрое пятно на колене какого-то нянчившегося со мною в викторианской гостиной посетителя. О да, это был я, потому что я это помню.

Очень скоро, если только какой-нибудь несчастный случай или же судьба не оборвет внезапно мою жизнь, я, которого интересуют главным образом человек и космос, утрачу контроль над моим взрослым мышлением и погружусь во второе детство. Высокие темы окажутся мне не по силам. Я стану делиться воспоминаниями с окружающими и повторять мои анекдоты. Моего слабого запала будет хватать лишь на сердечность и сон, да еще на ту пищу, которую я смогу переваривать. Чтобы я, да стал столь жалким созданием? И однако же я несомненно таковым стану; так как это тело, некогда сосавшее молоко, а теперь уже вышедшее из поры расцвета и уже начинающее мало-помалу разрушаться, удерживает свое прошлое в своем вечно исчезающем настоящем. Я и есть эта идентичность, тела и познания.

Идентичность? Какая идентичность проявляется во мне пусть хотя бы на одно-единственное мгновение, не говоря уж о целой жизни? Я всегда в ссоре с самим собою. Я жажду вызова, но цепляюсь за безопасность. Я хочу сосредоточить все мои силы на какой-нибудь великой задаче — и однако же то и дело растрачиваю себя по мелочам. Я решительно настроен быть ответственным гражданином, но в то же время полон не меньшей решимости избежать всяческой ответственности. Я желаю участвовать в жизни сплоченного сообщества, но ревностно защищаю мою собственную индивидуаль-

ность и все делаю один, без какой-либо поддержки. Я непоколебимо посвящаю себя духовной дисциплине и высокой религии, но остаюсь непримиримым скептиком; да, и я прикрываюсь цинизмом, избегаю труднопреодолимых проблем, приятно провожу время.

Похоже, я всего лишь утоптанная арена, на которой вот уже полувекa денно и нощно сражаются сотни гладиаторов и диких зверей, и ни те, ни другие не могут одержать победу. В один момент мне кажется, что мною всецело владеет чудовищный голод, в другой — страх, в третий — интеллект, или молчаливое почитание, или неприкрытое похабство. Ни один из этих притворщиков не является мною в большей степени, чем какой-то другой. Даже мой эгоизм, этот могущественный командир, с его буйной бандой разбойников, даже он на самом деле не есть я.

Естественно, он — не я, так как я уже пробуждаюсь. Я, истинный и основной я, прихожу в движение и пробуждаюсь. И как я смеюсь над всей этой ерундой! Ведь сейчас я уже наверняка знаю, что вокруг этой арены и гладиаторов, над ними, есть нечто более похожее на меня, чем любой из них. И сами они, уже одним только актом неповиновения, будут иногда вынуждены признать, пусть и нехотя, что именно я — я! — являюсь их законным правителем. Так как я более пробудившийся, нежели они, более проницательный. Я постоянно и самостоятельно, и в полной мере, желаю того же, что они, с этими их шорами на глазах, ищут столь гипнотически, столь пристрастно, столь противоречиво.

Тогда какой же я на самом деле? Безусловно, я постоянно стремлюсь к тому, чтобы стать полноценным ду-

хом; я желаю осознавать, любить, создавать; желаю делать все это со всей добросовестностью. Когда разыгрывается аппетит, я, основной я, желаю непривязанности, философской отчужденности. В самый кризис и буйство любовной близости позвольте мне спокойно контролировать действо! Точно так же, когда мною овладевают великие абстракции и универсальные принципы, я, истинный я, желаю в полной мере ощущать мимолетный миг в его открытии ближайшей или удаленной реальности. Позвольте мне в любых обстоятельствах быть в полной мере осведомленным о каждом многообразном, происходящем со мной. Позвольте наслаждаться интонациями голоса и всеми их смысловыми изысканностями. Позвольте не пропустить ни радугу на крылышке мухи, ни темные глубинные течения моих собственных желаний, ни грозовой разряд, выявляющий судьбоносную историческую картину или же ужас далекого поля боя. Даже если эти события причинят мне боль, позвольте мне не пропустить их сущность. Позвольте оказаться достаточно сильным для того, чтобы выдержать ее и внимательно изучить. Даже если это убьет меня, позвольте до конца видеть ее ясно и беспристрастно, потому что я, настоящий я, хочу неизменно (но как же неэффективно!) воспринимать реальность такой, какая она есть в действительности, — как во всей ее космической форме, так и в сердце электрона; как в структуре человеческого общества, так и в сердце человека; как в Иисусе Христе, так и в странном Гитлере, мучителе и мученике.

Но быть просто осведомленным недостаточно само по себе. Я хочу еще и верной оценки: ненавидеть, где дей-

ствительно надлежит ненавидеть, любить, где должно любить, почитать, где следует почитать. Я ненавижу жестокость уличного мальчишки по отношению к коту, но я не стану ненавидеть самого сорванца. Я ненавижу гитлеровские массовые пытки, но не самого Гитлера, бездушные финансиста, но не самого этого человека. Я люблю полет ласточки и сама ласточка; случающийся у мальчугана проблеск нежности и самого мальчугана. И я, истинный я, всегда буду почитать то, что для краткости называю Духом, этот источник всего чистого познания, всей любви и всего смелого творчества. Но я также поприветствую — просто потому, что должен — без бунтарства ужасное Иное, по-видимому, скрывающееся за громадностью и запутанностью космоса, за звездными потоками и фасетками глаза пчелы, за обширной конечностью пространства и тайной скачка электрона; то столь чуждое нам Иное, которое, судя по всему, порождает как свет, так и тьму, как Дух, так и его врага.

Но даже с этим запутанным приветствием в сердце я хочу бороться за один лишь Дух, и изо всех моих сил, постепенно, к сожалению, убывающих.

Мне противостоит великая реальность, громадная и завуалированная. Ее сердце не обнажается в электроде, как не проявляется в гигантском танце галактик и ее форма. Но есть одно познание, которое, как мне кажется — о, лишь кажется! — приближает меня к ней и обеспечивает ее понимание. Похоже (хотя, возможно, мне это лишь почудилось), я дохожу до нее в любви, и тогда у меня возникает уверенность, что даже темное, чуждое нам Иное обладает духовным началом. Телескопы, микроскопы и толстые книги по социологии

рассказывают о многом, но поверхностно. Внутреннего контакта я достигаю лишь в общности с другим живым индивидом, так как наша связанность сокровенна. Каждый из нас является для другого посланником из отдаленной реальности, радушно принятым в цитадели своего «я»; воспринимаемым ангелом всегда недостижимого Бога. По крайней мере, так это все мне представляется. Безусловно, я не должен в это верить, потому что поверить в это — значило бы предать целостность интеллекта; но в то же время я должен быть справедливым по отношению к тому острому, настойчивому ощущению, что в любви я приближаюсь к сути вещей.

Из двух миллиардов человеческих существ большинство находятся за пределами моего воображения. Они просто пятнышки или предвестники на моем горизонте, в лучшем случае — полезные либо пагубные вещи, доступные моему восприятию, но непроницаемые для моего воображения. Некоторые, хотя и очень немногие, конечно же, становятся для меня частично живыми, сталкиваются со мной как человеческие особи. Эти — мои знакомые, и среди них есть такие, которых я ощущаю как врагов, потому что они противятся моим заветным желаниям, или же потому, что от них «фонит» антенна моего разума, или же потому, что они слишком приставучие. Но другие, опять же, очень немногие — вы, мои настоящие друзья, живете более основательно в моем воображении, как и я — в вашем. Несмотря на наши различия и шероховатости, мы более глубоко ощущаем, что мы — заодно, будь то в наших скрытых корнях или в наших цветах (а может, и в том, и в другом); будь то в наших безотчетных потребностях или же

в наших самых продуманных целях (а может, и в том, и в другом). Наши различия, наши прекрасные различия забываются, пока мы живем в гармонии в наших корнях или же в наших цветах.

А ты, ты, та единственная и неповторимая, которую я люблю больше всех? Даже ты в действительности чрезвычайно далека от меня, ты, мой дорогой центр другой вселенной. Пусть ты — и самое ближайшее из всего, что меня окружает, иногда ты все же озадачивающе далека. На протяжении скольких десятилетий мы сливаемся в радостном, живительном, нерасторжимом симбиозе! И однако же даже сейчас иногда я не знаю, что ты чувствуешь, о чем думаешь. Ты склонна к действию, я — к созерцанию; ты — к реагированию на ту незначительную частность, которая нуждается в твоих услугах, я (и фатально!) — к всеобщему и обширному. Несмотря на то, что наши умы чаще всего движутся в одинаковом ритме, словно слившаяся в танце пара, иногда мы все же отдаляемся друг друга на расстояние вытянутой руки, или же сбиваемся с ноги, или же разлетаемся в стороны, разрубленные каким-то внезапным разногласием. Сколько раз я говорил тебе: «Поторапливайся, нужно успеть на поезд», а ты отвечала: «У нас еще куча времени»; или я: «Ну вот, уже опоздали», а ты: «Поедем на следующем». (Даже в Аду ты была бы оптимисткой!) Но в итоге, конечно же, благодаря некой черной магии, которую ты всегда была вынуждена применять в подобных случаях, на поезд мы успевали и сидели бок о бок молча, ожидая, пока он тронется.

Наше несходство то и дело уязвляет, даже бесит; но это не так и важно. В конечном счете оно — безусловно

обогащение, мучительное, но в итоге приятное участие каждого в своеобразии другого.

Даже в самом остром разногласии, когда я причиняю тебе столь сильную боль, разве мы не становимся более реальными друг для друга? В конце концов мы срослись еще более прочно. Вследствие этого разлада мы теперь знаем друга лучше, любим друг друга сильнее. Теперь мы более тесно и нерушимо «мы».

Конечно, каждый из нас по-прежнему «я», а другой — «ты», далекий центр другой вселенной, но все больше и больше, и теперь неразрушимо, мы оба вместе — тоже «мы», единственный, хотя и наделенный двумя разумами центр общей для нас обеих вселенной. Вы видим мир вместе. Теперь уже ни один из нас не смотрит на него лишь в одиночестве, с одним-единственным восприятием, исключительно как на изображение с равномерным фоном. Теперь мы видим его во всех подробностях, стереоскопически. С нашим общим бинокулярным зрением каждый смотрит на все вещи с наших двух отличающихся точек зрения.

Наше своеобразие столь же драгоценно, как и наш союз, а наш союз — как наше своеобразие. Без глубокой гармонии, в наших корнях и в наших цветах, разве смогли бы держаться вместе? И как бы мы возбуждали, «зажигали» друг друга без нашего различия?

Ничто в моем мире не идентично чему-то из твоего мира. Цветы, поэмы, люди — все они в наших мирах разные. Вот, к примеру, «краснота» — разве она для меня то же самое, что и для тебя? Вероятно, во многом — да, так как мы все же схожие организмы; но, возможно (как знать?) твое «красное» это то, что я называю

«зеленым». Какая разница? Это различие вечно будет несущественным для нас, раз уж оно незаметно. Но справедливость, красота, правда и хорошая шутка имеют значения, которые мы можем разделить друг с другом, и — как выяснилось — никогда не будут идентичными для нас обоих. И пусть у нас есть общие друзья, они никогда не являются для нас одними и теми людьми. Хотя друзья каждого — это друзья обоих, друг, любовник одного также и неизбежно — возможный антагонист другого. Пренебрежение этими нашими различиями, неуловимо преследующими нас на каждом шагу, внезапно выступающими вперед или огнем преграждающими дорогу, может привести к катастрофическим последствиям. Слепая любовь — это уже не любовь.

Мы действительно навсегда особые, навсегда разные, навсегда в какой-то мере противоречивые; но с несовпадением даже более гармонизированном в этом «мы», которое является для каждого из нас чем-то значительно бо́льшим, чем «я»; возможно, даже еще бо́льшим. Как центры познания мы остаемся бесконечно индивидуальными; но участвуя в нашем «мы, каждое «я» пробуждается до более широкого, богатого «я», чье главное сокровище — уже не «я», но «мы». И потому «я» без «тебя» есть лишь нечто изорванное и косматое, убогое и полуслепое, всего лишь фантом, чье воплощение имеет смысл только в «нас».

Это драгоценное «мы», которое мы постигли вместе, этот сплоченный союз в различии, это сообитание и общность двух духовных начал, никогда не расщепится на этой планете. Рано или поздно один из нас умрет,

после чего наше «мы», даже не сомневаюсь, какое-то время еще будет жить в оставшемся в живых как нечто дорогое сердцу, но уже не развивающееся. Когда умрет и другой, оно исчезнет из этого мира.

Некоторые нас уверяют, что мы снова встретимся в чудесном раю, где будет жить вечно и счастливо. Может быть, может быть. Каким-то странным и изощренным образом, слишком сложным для объяснения, это утверждение может оказаться правдой; но правдой лишь в качестве притчи, а не в привычной для всех нас манере успеваания на поезд, собирания дров для костра, готовки, стирки, словом, всего того, что представляет собой тот единственный уровень жизни, который имеет хоть какое-то значение для меня и тебя. Нет! Давай не будем цепляться за бессмертие, торжественно обещать ему наши сердца. Нам так много всего было дано — может, не стоит просить большего? Давай не будем настаивать на вере в это только потому, что нам этого хочется. Давай лучше допустим, что если смерть — это действительно конец, то оно и к лучшему. Давай будем готовы к внезапному разрыву связующего звена от смерти одного из нас или же его медленному распаду от дряхления нас обоих. Давай предвкушать вечный сон. Когда мы устали, сон — это конечное блаженство. Спящие, мы пребываем вместе в одной постели; и когда мы умрем, мы по-прежнему и навеки будем вместе в одной и той же маленькой вселенной, хотя, возможно, и спящие крепким сном. Но быть может, в конечном счете, умирает лишь дорогое и привычное «я» каждого, и в нашей аннигиляции нечто жизненно важное и вечное расправляет крылья и устремляется в свободный полет.

Тогда уж наша любовь действительно примет самый что ни на есть завершенный вид.

Но даже если смерть — абсолютный конец нас, наша любовь все равно не была напрасной, так как она оставила небольшую яркую отметину в существующем мире — в наших детях, друзьях и всем том, чему мы малодушно служили. Более того, даже если она эфемерна, она также, до известной степени, и вечна — в том смысле, что всегда существует во вселенной. Когда все звезды станут холодными круглыми камушками, это «мы», этот маленький цветок, столь яркий и столь недолго живший среди звезд, останется навсегда, будет жить вечно, хотя и в прошлом. Так что, в некотором роде, мы все же получим нашу неотъемлемую частицу вечности.

Но что оно означает, это великое слово — «вечность»? Не является ли оно лишь ложным символом, не имеющим какого-либо значения в реальности, но обладающим предательской властью над нашими сердцами; простым амулетом, за который цепляются обреченные на смерть, испуганные люди, представ перед «расстрельной» командой? Или же это истинный, хотя и смутный, знак для той реальности, до которой человеческий мозг едва ли дотянется, даже если встанет на цыпочки? Является ли временной коридор неполной, внутренне противоречивой и иллюзорной видимостью той вечной действительности, которую человеку никогда не постичь? Кто знает? Уж точно не мы!

Но одно мы все же знаем наверняка. Наша любовь означает нечто возвышенное, так как «я», открывающий вместе с «тобою», в качестве «нас», более полноценную жизнь, открываю также и то, что каждый про-

будившийся «я» во всех галактиках и на протяжении всех эпох живет жизнью, в которой его «я» всегда превращается в «мы» — будь то с одним возлюбленным, или же с несколькими близкими друзьями, или же в сплоченном коллективе коллег по работе, или же в гармоничном мире, или же (как знать?) во всеобъемлющей космической республике. А быть может (как знать, как знать?) — и в каком-нибудь мистическом союзе непритязательного индивида с неким скрытым, всепроникающим «Ты». Такой, безусловно, и является цель — в малом или же в большом, в доме, бригаде рабочих, компании, городе, всеобщем братстве; или же, возможно, если правы праведники, в смерти отдельного духа, переходящей в некую великую жизнь Бога.

Но сколько миллионов во всех землях, во всех мирах так и не достигают этой консумации! Им недостает не только возвышенного блаженства мистического, но даже дружеской любви. Либо в душе, вследствие собственной извращенной натуры, либо в силу разрушающих обстоятельств, но они обречены на одиночество, и именно из-за этой их внутренней опустошенности, или же из-за тех страданий, которые причиняет им варварский мир, они затаптывают друг друга, словно скот, в панике уносящийся из горящего леса.

Ужасны — и непонятны для нас — неисповедимые пути темного Иного.



Содержание:

Сэм Московиц	
Олаф Стэплдон: жизнь и творчество	5

Sam Moskowitz
«*Olaf Stapledon: The Man Behind the Works*»
в книге: *Olaf Stapledon «Far Future Calling»*,
1979, Publisher Oswald Train.

Пламя	67
<i>The Flames: A Fantasy, 1947</i>	

Рассказы:

Современный волшебник	183
<i>A Modern Magician, первая публикация 1979</i>	
Восток — это Запад	201
<i>East Is West, 1934</i>	
Взбунтовавшиеся руки	229
<i>Arms Out of Hand, 1946</i>	

Мир звука	261
<i>A World of Sound, 1936</i>	
Семя и цветок	272
<i>The Seed and the Flower, 1916</i>	
Дорога в медпункт	286
<i>The Road to the Aide Post, 1916</i>	
Старик в Новом мире	291
<i>Old Man in New World (1944)</i>	
История Джона	329
<i>The Story of John</i>	
(Глава исключенная из романа «Странный Джон», издано впервые в 1997)	
Суть	345
<i>The Core, 1945</i>	







Зарубежная



фантастика

Far Future Calling

Olaf Stapledon

Edited by SAM MOSKOWITZ
with a new authorized biography

